МАЙЯ и ДРУГИЕ
Майя Плисецкая • Элизабет Тэйлор • Марлен Дитрих
• Мэрилин Монро • Надежда Пешкова • Ольга Чехова •
Цара Леандер • Анна Ахматова • Татьяна Литвинова

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вашему вниманию представляется художественно-публицистический сборник историй из жизни и творчества знаменитых женщин.

- Майя и другие
  -
  - Позолота на пальцах
  - I. Легенда осени
    - Сергей Николаевич
    - Ричард Бартон
    - Эрик Ханут
    - Ютта Якоби
    - Симона Синьоре
    - Майя Туровская
    - Алла Демидова
    - Марфа Пешкова
    - Маша Слоним
    - Андрей Макаревич
  - II. Опасные связи
    - Диана Арбенина
    - Мария Голованивская
    - Виктория Токарева
    - Людмила Петрушевская
    - Рената Литвинова
    - Марина Степнова
    - Татьяна Толстая
    - Данил Гурьянов
    - Александр Кабаков
    - Михаил Шишкин
  - Наши авторы
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29

Майя и другие

© Сноб, 2015
© ООО “Издательство АСТ”, 2015
© А.Бондаренко, оформление, 2015

Позолота на пальцах

Фото: Юрий Феклистов

Этот снимок сделал мой друг Юра Феклистов ровно десять лет назад. Майя Михайловна Плисецкая собиралась отпраздновать свое восьмидесятилетие. И накануне по неистребимой женской привычке решила пройтись по магазинам, взяв меня в сопровождающие. После пятнадцати лет, проведенных в Германии, она почти не знала новую Москву.

Ей почему-то казалось, что именно я смогу стать ее гидом. Разумеется, я не мог ей отказать, хотя ненавижу ходить по магазинам. Но ради Плисецкой, как и половина мужского населения бывшего Советского Союза, был готов на всё. День был осенний, холодный. Она зябла в своей шубе. Ей ничего не нравилось. Цены привели в оторопь, а гулкие просторы Петровского Пассажа, как и театрально заснеженный Столешников переулок, показались чем-то вроде декорации, где мы почувствовали себя статистами, забредшими сюда из другого спектакля. И это было такое странное чувство, что М. М.

поспешила свернуть наш променад и вернуться домой.

Сейчас, когда я гляжу на эту фотографию, то вспоминаю слова Гюстава Флобера: “Не прикасайтесь к идолам! Их позолота остается на пальцах”. Лично я никогда не стремился к дружбе с великими. Одно дело, когда ты берешь интервью или находишься в зрительном зале по ту сторону рампы. И совсем другое, когда оказываешься вместе с ними в каких-то прозаических обстоятельствах, вроде этого похода по магазинам. Быт убивает любое величие, житейская близость лишает твоего героя или героиню магии исключительности и тайны. Лишь немногим удается оставаться на высоте своего мифа. Это происходит с теми, кто этим мифом нисколько не озабочен. Кто живет своей обычной частной жизнью, не ловя отражение в объективах, не начиная день с поисков собственного имени на страницах светской хроники или бульварных таблоидов, не подсчитывая лайки под очередной своей фотографией или высказыванием.

Такой была Майя Плисецкая. Это не значит, что ей было всё равно, как она выглядит или что о ней говорят. Она была абсолютной женщиной. Но поразительно, как при всей ее импульсивности и готовности к контактам, ей удавалось в любых обстоятельствах держать дистанцию и прямую спину, как умела она поставить всё на свои места и как четко провела линию судьбы от первых взмахов рук своего Лебедя до последних минут в мюнхенской больнице. С самого начала я хотел посвятить эту книгу ей, как раз к ее новому юбилею, который, увы, состоится уже без нее.

Но не только! Собственно, весь сборник “Майя и другие” был задуман как собрание женских историй и судеб, объединенных вокруг личности главной героини. Всё неожиданно сошлось, как в пасьянсе: и страстная любовь, и долгая дорога, и важные короли с тузами, и опасные дамы с марьяжным и другим интересом. Хотелось, чтобы эти тексты читались не просто как документальная или художественная проза, а как некий инфороман, где чистая информация становится образом, как будто пронизанным светом большого искусства. Он идет от молодых лиц на старых фотографиях, от высохших чернил ахматовского автографа, подаренного Алле Демидовой, от этих драматичных судеб. Поразительно, как один сюжет пересекается с другим, чтобы потом отозваться в третьем и четвертом.

Сюжетные нити переплетаются, отражения в зеркалах двоятся

и троятся, дым от сожженных писем застилает глаза. И вот спустя годы посреди ночи в маленькой квартире на парижской авеню Монтень, выходящей окнами на фасад отеля Plaza Athenee, раздается телефонный звонок. Вначале один короткий. Потом три долгих, как условлено. И только после этого трубка будет снята.

Мы слышим знакомый голос. Ну, конечно, это она! Марлен Дитрих. Было бы странно, если бы в этой книге не прозвучало ее имя, если бы мы не постарались подойти ближе еще к одному мифу XX века. Впрочем, воспоминания Эрика Ханута о его телефонных разговорах со звездой скорее этот миф развенчивают. Старость, одиночество, немощь и… неотступный страх разрушить самое дорогое, что удалось сохранить ценою многолетних усилий и затворничества, – образ богини, легенду о великой Марлен Дитрих.

Символично, что все эти мемуары напрямую рифмуются и с сюжетами большинства рассказов, публикуемых в разделе “Опасные связи”. Диапазон авторов – от Людмилы Петрушевской и Татьяны Толстой до Виктории Токаревой и Марины Степновой. Преобладают женщины. За ними опыт. У них мужья, любовники, дети от разных браков. Им лучше знать, как спасать других. Мужчины предпочитают рассказывать о том, как спасались сами. Femme Fatale – это испытание не для слабаков.

Мне остается лишь сказать о тех, без кого эта книга не состоялась бы. И прежде всего, поблагодарить моих друзей Инару и Бориса Тетеревых, поддержавших замысел сборника к юбилею Майи Плисецкой. В 1996 году Борис был инициатором и устроителем ее прощальных гастролей в Риге. Для него это тоже в некотором роде дань памяти великой балерине. Наша особая признательность Эльвине Гилвановой, которая, узнав о том, кому будет посвящена книга, с трогательной готовностью предложила, чтобы возглавляемая ею Pnmum Agmen Group приняла участие в издании. Не могу не назвать имена тех, чьими советами, идеями, и помощью мне пришлось воспользоваться. Это Владимир и Людмила Шахмей-стеры, Мария Зонина, Юлия Лукина-Куранова, Игорь Оболенский. Отдельная благодарность замечательным фотографам Беттине Реймс и Сергею Берменьеву, которым суждено было стать авторами последних портретов Майи Плисецкой.

Ну что ж! Кажется, все на местах. Наши героини уже при полном параде. Они готовы, что сейчас прозвучит команда

“занавес”. Шоу начинается. Только, пожалуйста, не забудьте отключить мобильные телефоны. Эти женщины не любят, когда отвлекаются не на них.

Сергей Николаевич
Октябрь 2015

Фото: Jack Mitchell, Getty Images

Майя. Этот снимок был сделан в октябре 1961 года в загородном доме Эльзы Триоле и Луи Арагона “Мельница» под Парижем, где Плисецкая отдыхала после своих первых триумфальных выступлений в “Лебедином озере» на сцене Гранд Опера. Фото: Le Tellier Philippe/Getty Images

Майя и Пьер Карден на примерке костюма для балета “Анна Каренина”. Париж, 1972 г. Из архива Владимира Шахмейстера

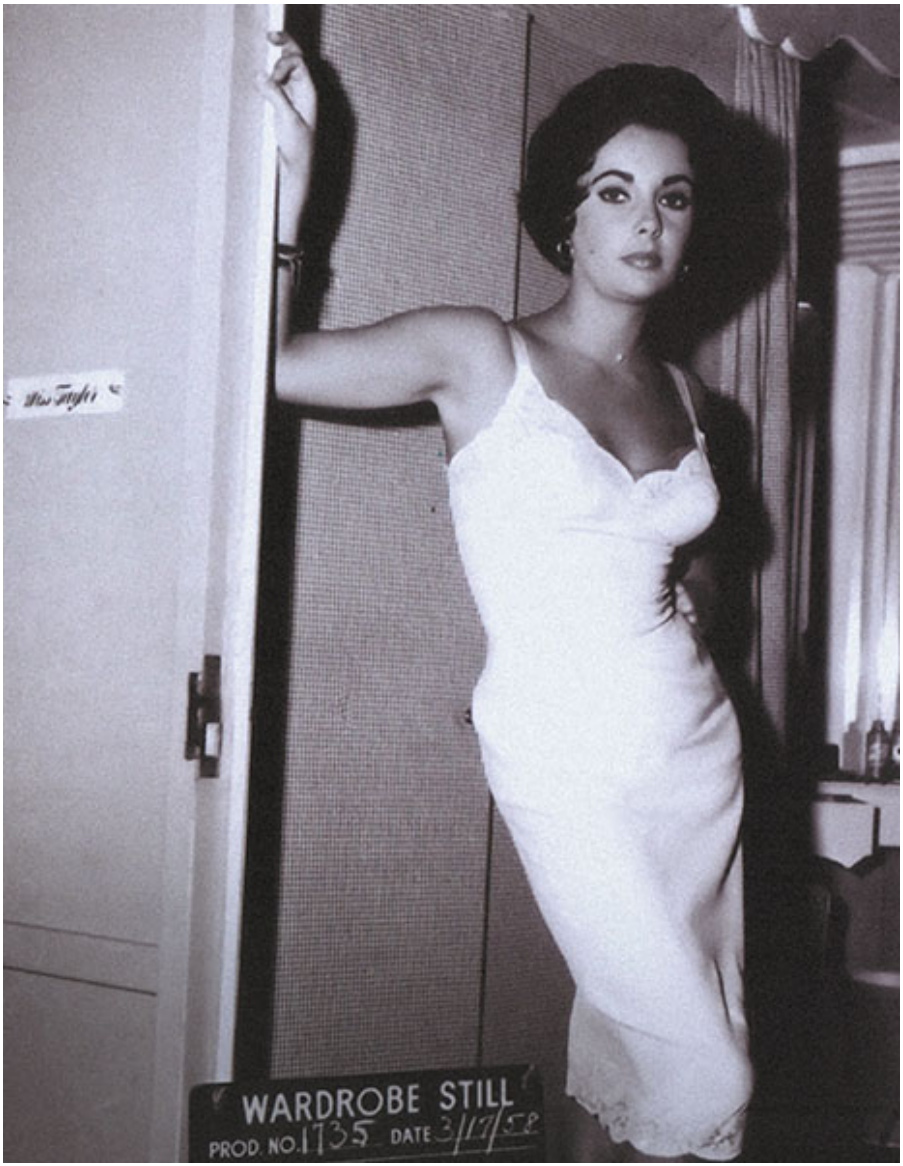
В платье от Pierre Cardin. Фото Беттины Реймс. Париж, 2005 г. Фото: Bettina Rheims

Вместе с Родионом Щедриным. Сидней, 1970 г. Из архива Сергея Николаевича; Сергей Берменьев

Последняя фотосъемка вместе. Фото Сергея Берменьева. Санкт-Петербург, апрель 2015 г. Из архива Сергея Николаевича; Сергей Берменьев

Майя Плисецкая и Элизабет Тейлор. Лос-Анджелес, март 1990 г. Из архива Владимира Шахмейстера

Элизабет Тэйлор в фильме “Любовь лучше, чем когда-либо”. 1952 г. Фото: Capital Pictures / Fotodom

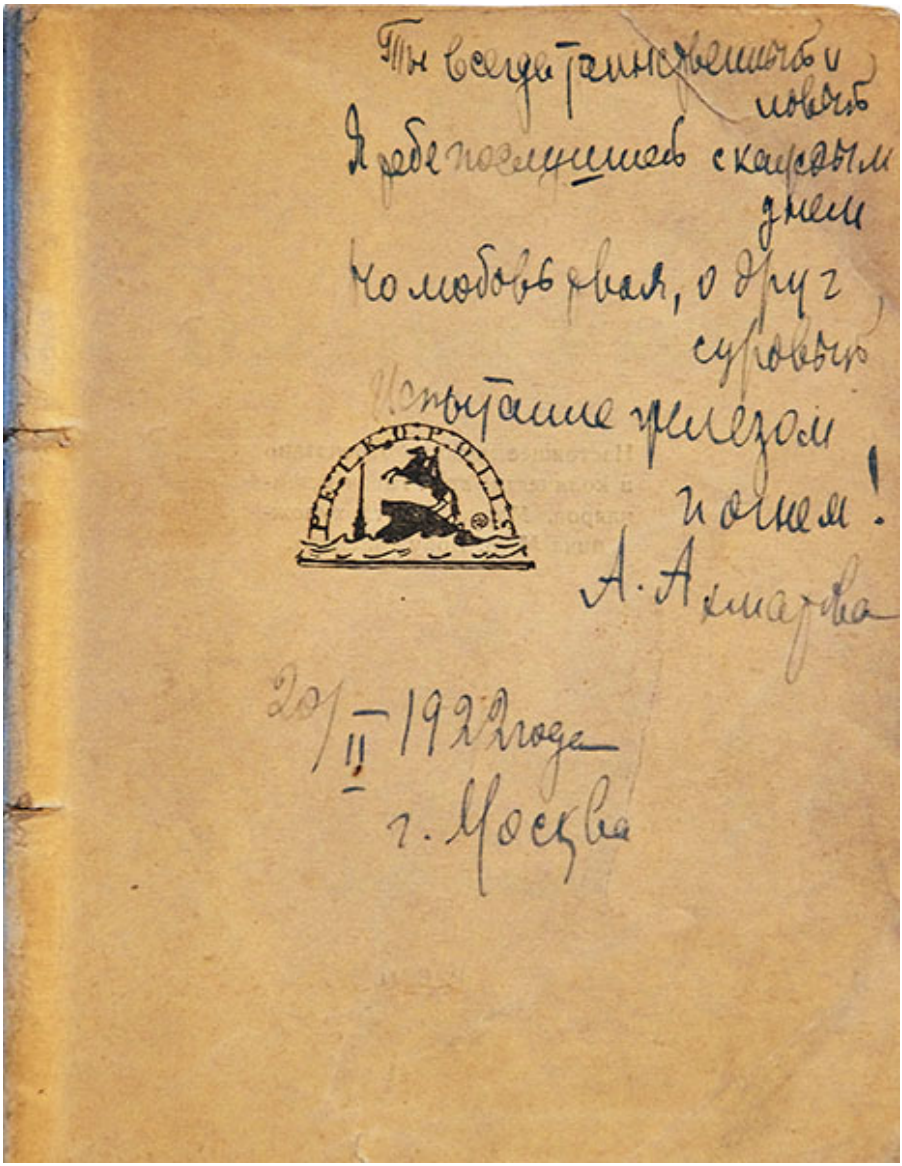


Фотопроба Элизабет Тейлор к фильму “Кошка на раскаленной крыше”. 1959 г. Фото: Capital Pictures / Fotodom

Самая знаменитая пара 1960-х годов в кино и в жизни. Элизабет Тейлор и Ричард Бартон в перерывах между съемками фильма “Клеопатра”. Рим, 1961 г. Фото: Getty Images

Лондон, март 1963 г. Фото: Getty Images

Лондон, март 1963 г. Фото: Getty Images

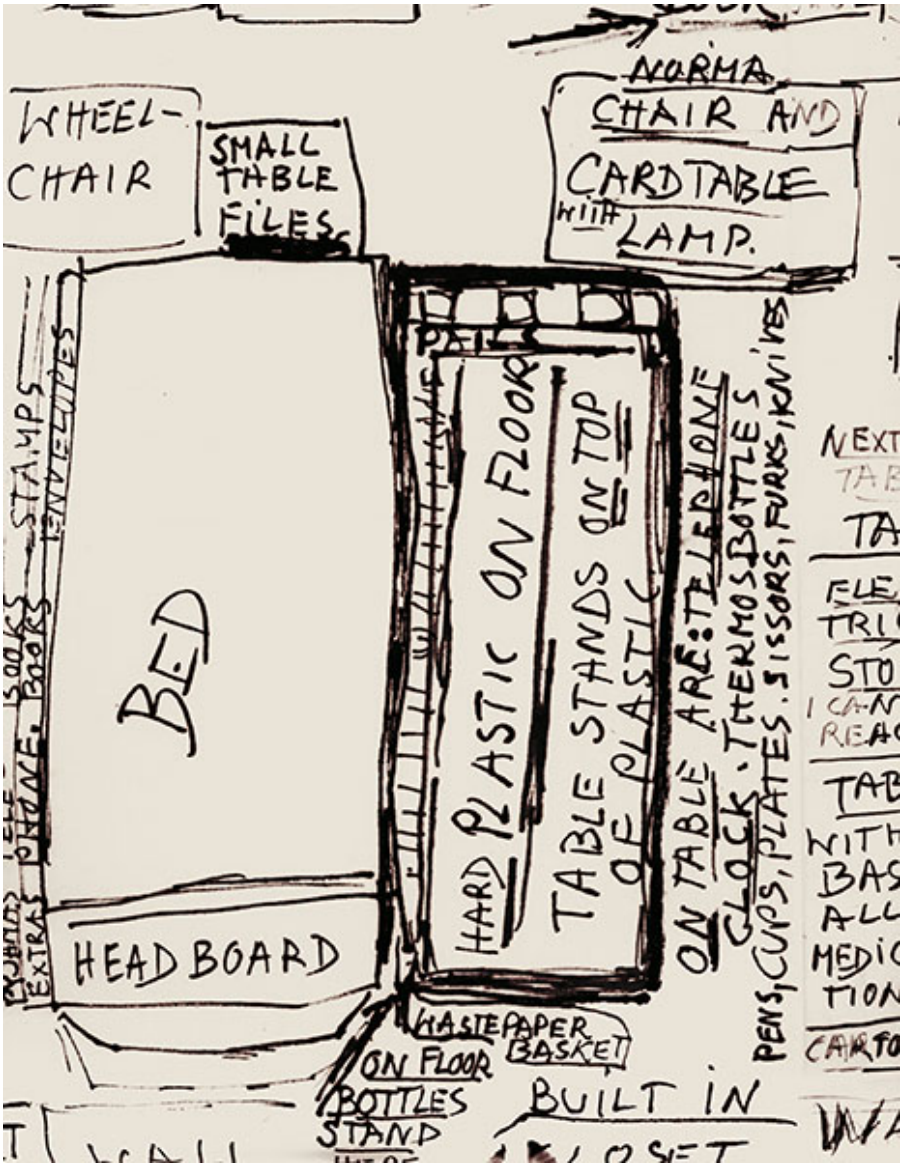


Ахматовский автограф на титульной странице сборника “Anno Domini MCMXXI” 1921 года заставил Аллу Демидову предпринять специальное историческое расследование. Кто является адресатом этого посвящения? Из архива Аллы Демидовой; Лев Новиков

Алла. Из архива Аллы Демидовой; Лев Новиков

Марлен Дитрих в своей гримерной. Нью-Йорк, 1963 г. Фото: Alexander Liberman

Марден Дитрих. Фото: Alexander Liberman



План комнаты в парижских апартаментах на авеню Монтень, 12, нарисованный самой Дитрих.

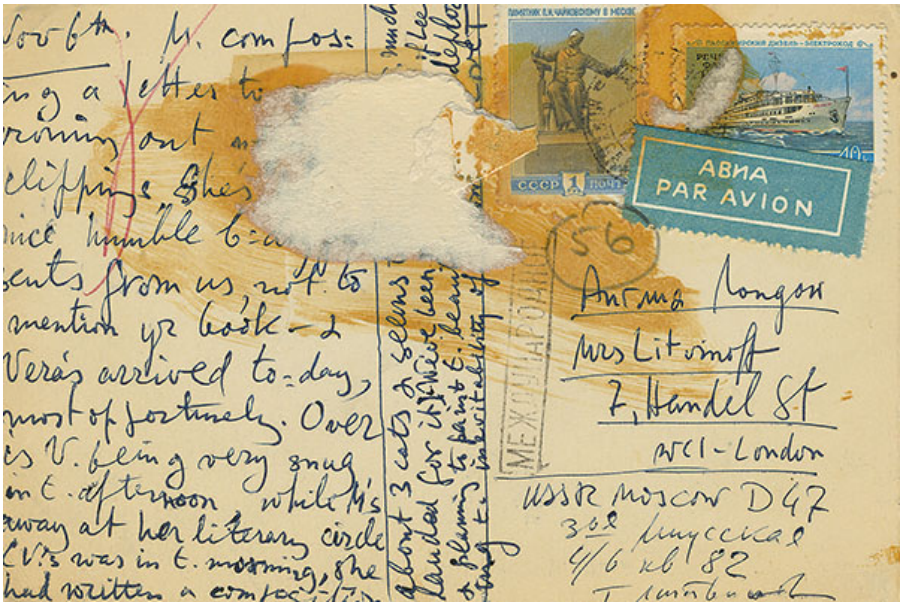
Дочь Екатерины Пешковой – Марфа. Жуковка, 1937 г. Из архива Марфы Пешковой

Марфа (справа) с мужем Серго и свекровью Ниной Берия. 1947 г. Из архива Марфы Пешковой

Надежда Пешкова, трагическая героиня кровавой саги 1930–1940-х годов. Из архива Марфы Пешковой

Татьяна Литвинова, дочь наркома иностранных дел СССР, художник, правозащитница, одна из заметных фигур диссидентского движения 1960-х годов. Из архива Маши Слоним

Открытки из архива Татьяны Литвиновой. Из архива Маши Слоним

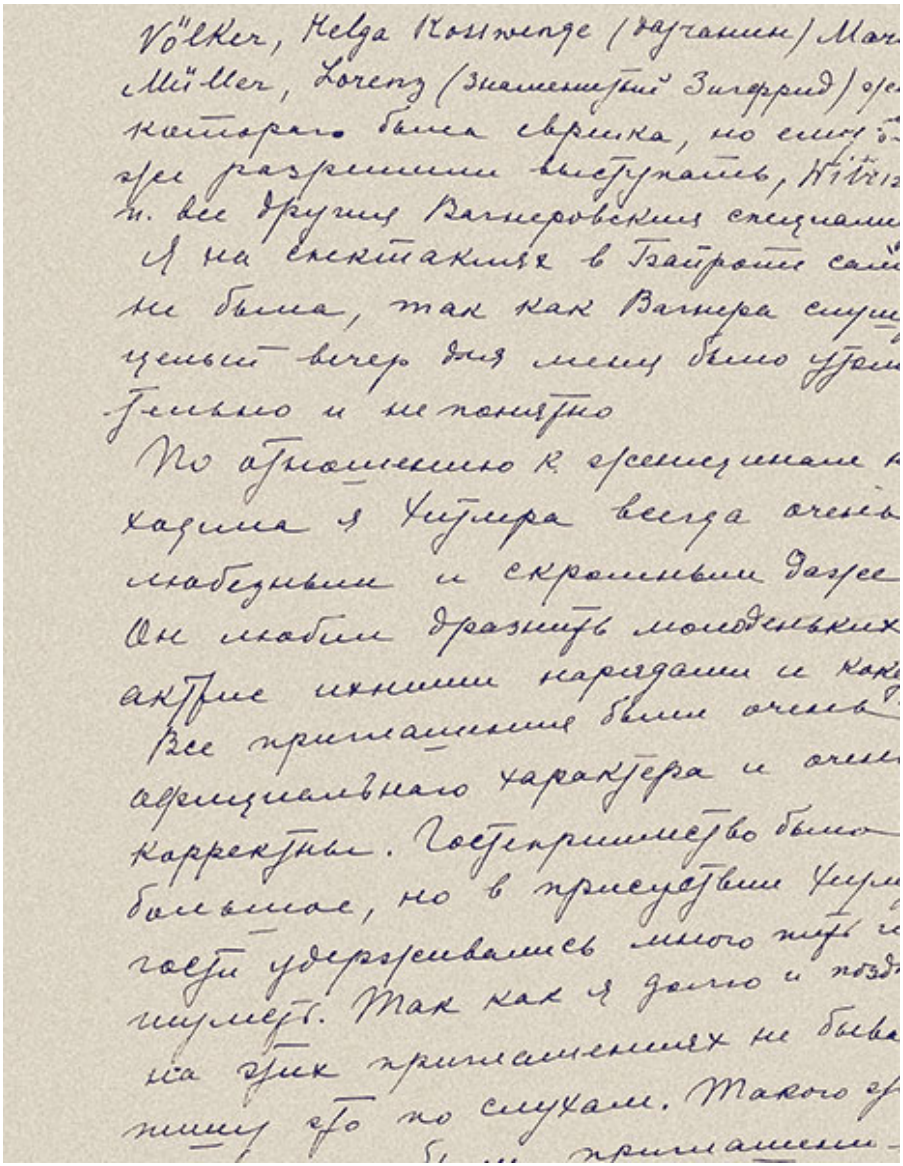


Открытки из архива Татьяны Литвиновой. Из архива Маши Слоним

Цара. Фото: AKG/East News; Ullsteinbild/TopFoto/Vostok

Цара Леандер, шведская дива, сделавшая блестящую карьеру в кино III Рейха. Была заподозрена в связях с иностранной разведкой, но успела покинуть Германию. Фото: AKG/East News; Ullsteinbild/TopFoto/Vostok

Ольга Чехова, звезда немецкого кинематографа, любимая актриса Адольфа Гитлера и тайный агент советской разведки. Из архива Майи Туровской



Оригинал объяснительной записки Ольги Чеховой из архивов КГБ. 1945 г. Из архива Майи Туровской

Фотосессию Брюса Дэвидсона можно было бы назвать по аналогии с пьесой Артура Миллера “До грехопадения”. Мэрилин Монро, Симона Синьоре с мужьями Ивом Монтаном и Артуром Миллером в бунгало отеля Beverly Hills, март 1960 г. Фото: Bruce Davidson/Magnum/East New

Фото: Bruce Davidson/Magnum/East New

Фото: Bruce Davidson/Magnum/East New

Фото: Bruce Davidson/Magnum/East New

Через месяц все только и будут говорить о романе главной голливудской блондинки с ее французским партнером по фильму Let’s make love. Фото: Bruce Davidson/Magnum/East New

Кадры из фотосессии для журнала “Сноб”. Декабрь, 2014 г. Фото: Ali Mahdavi

Рената Литвинова. Фото Али Мадави. Париж, октябрь 2014 г. Фото: Ali Mahdavi

Фото: Свиридова /РИА Новости

I. Легенда осени

Сергей Николаевич
Майя навсегда

В детстве я больше всего боялся, что никогда не увижу ее на сцене. Все-таки ей уже было немало лет, и все ее ровесницы давно сидели по домам или вели кружки бальных танцев при домах культуры. А она продолжала танцевать Одетту-Одиллию, Кармен и другие заглавные балетные партии. Случалось это, правда, довольно редко. Большую часть сезона она проводила где-то далеко, на гастролях, за границей, откуда то и дело доносились победные фанфары. Программа “Время” подробно рапортовала об очередной победе советского балета и его главной звезды, народной артистки СССР, лауреата Ленинской премии и т. д. Отсюда и стойкой ощущение, что она не здесь, не с нами. Что в любой момент может улететь, исчезнуть, истаять в воздухе, как виллиса из второго акта “Жизели”. Ведь танцевала же она Мирту, повелительницу виллис. И, говорят, гениально. Только никто этого уже не помнил, кроме старичков-балетоманов, так давно это было. В общем, надо ловить момент.

Я ходил мимо белых простыней театральных афиш, расклеенных по Кутузовскому проспекту, вчитывался в списки действующих лиц и исполнителей (тогда за месяц вперед вывешивали все балетные и оперные составы). Как правило, не находил ее имени и со спокойной душой отправлялся в школу, утешая себя, что наша встреча просто откладывается на неопределенное время.

Но однажды произошло то, на что я уже перестал надеяться: афиша извещала, что 6 апреля 1972 года состоится спектакль “Анна Каренина”. В главной роли она! Первая мысль – попрошу денег у мамы и сам поеду к кассам КДС и Большого. Однажды я уже стоял в длинной очереди, извивавшейся по подземному переходу к станции метро “Библиотека им. Ленина”. Вполне себе была приличная и, я бы даже сказал, одухотворенная очередь. Не за паласами стояли пять часов, за билетами в Большой. Правда, когда, наконец, меня допустили к заветному окошку, выяснилось, что больше половины названий из списка вычеркнута. Осталась одна только “Иоланта”.

– Но это же опера! – взвыл я.

– А на балет билетов нет, – срифмовала кассирша. – Кончились!

Так я и ушел с ненужными мне билетами на “Иоланту” и с чувством, что хоть ночь напролет стой у этих дверей, никогда

ничего тебе тут не обломится. В общем, ехать туда было бессмысленно. Знакомых в театральном мире у нас с мамой не было. Оставался единственный шанс – пострелять лишний билетик перед самим спектаклем. Это потом я овладел этим нехитрым искусством: посмотреть весело, улыбнулся дружелюбно и, придав голосу самый вкрадчивый и нежный обертон, спросить: “У вас не будет лишнего билета?” Но в 13 лет я стоял около обезвоженного бронзового фонтана в своей куртке на вырост, дубина дубиной, и смотрел, как мама носится по пыльному скверу, приставая к незнакомым людям с просьбой о билете на “Анну Каренину”. Теперь я понимаю, что в этой сцене было что-то от Достоевского: тень бездомной Катерины Ивановны Мармеладовой витала над нами, пробуждая то надежду, то отчаянье, то вызывая истерический хохот. Колонны Большого театра еле удерживали неистовый людской поток, рвавшийся к парадным дверям. Тогда еще не было металлоискателей и такого количества полиции, как сейчас. Стояли одни бывалые капельдинерши с программками. Но пройти мимо них не замеченным было невозможно.

В какой-то момент рядом с нами как будто из воздуха материализовался некий господин в котелке.

– У вас есть билет? – спросила мама и вцепилась в его рукав.

– Нет, но я могу вас провести в театр, – сказал господин, понизив голос до шепота.

– Не меня, сына, сына! – не веря своему счастью, взмолилась мама.

– Давайте сына.

– Сколько?

– Десять.

Мама достала розовую десятку с Лениным и отдала господину.

– Иди с ним, – скомандовала она.

Я пошел. Впереди маячило серое пальто и импортный котелок. Людские волны то прибивали меня к нему, и тогда я слышал запах его сладкого импортного одеколона, то разлучали, и мне казалось, что он сейчас исчезнет с нашей десяткой навсегда.

Господин оглянулся на меня только один раз, когда мы подходили к барьеру, отделявшему счастливых обладателей билетов от бушующего безбилетного моря. Невидимый кивок седой капельдинерше. Колючий взгляд в ответ. Она сделала вид, что меня не видит.

– А теперь марш на четвертый ярус, – прошептал одними губами господин и исчез, так же как появился.

Я буквально взлетел на последний ярус. Но там меня поджидало дикое разочарование. Краешек сцены, открывавшийся моему биноклю, был не больше спичечного коробка. Я спустился в бельэтаж в надежде пристроиться в одну из лож. “Ваш билет?” – спрашивали меня служительницы с ключом наготове. Все двери были наглухо закрыты. Звучал уже третий звонок, и опоздавшие зрители пробирались на свои законные места, а я все тыркался в запертые двери. Потом меня долго преследовал один и тот же сон: я в пустом театре, звучит увертюра, и я никак не могу попасть в зал, где сейчас должен начаться главный спектакль в моей жизни. И все, что мне дано увидеть, – это только гаснущие огни люстры в какой-то полуоткрытой створке немедленно захлопнувшейся двери.

Я поднялся на свой третий ярус. Там было душно и тесно. Я бросил на пол сумку, которая была со мной. А когда совсем потушили свет, встал на нее на колени. Теперь я мог видеть не только оркестровую яму и край сцены, но и кусок золотого занавеса, подсвеченного огнями рампы. Потом все погрузилось в кромешную тьму, под музыку занавес торжественно двинулся в разные стороны, открывая вид на пустоватую сцену с падающим бутафорским снегом, железнодорожными фонарями и группой артистов, которые что-то старательно выделывали ногами, изображая светское общение на вокзальном перроне. А потом я увидел ее.

ОГОНЬ НА ПЛОЩАДИ

Когда спустя тридцать четыре года в парижском кафе *De La Paix* я рассказывал Майе Михайловне Плисецкой о том, при каких обстоятельствах я впервые увидел ее, она почему-то совсем не растрогалась и не умилилась. Мне даже показалось, что мой рассказ ее немного расстроил. Полагаю, что за свою жизнь она слышала что-то подобное не один раз. Все эти чужие инфантильные переживания оставляли ее в лучшем случае равнодушной. В худшем – раздражали. То, что я так долго и любовно описывал, принадлежало ее давнему, глубоко спрятанному и уже почти забытому прошлому. А прошлое ее совсем не интересовало. Вот ни в каком виде! Она никогда им не жила, не дорожила и, похоже, не очень-то его любила.

Как все звезды, вышедшие на пенсию, она отдала ему дань, написав свою страстную и пристрастную исповедь “Я, Майя Плисецкая”, а спустя тринадцать лет даже присовокупила к нему еще что-то вроде обличительного постскриптума “Тридцать лет спустя”. Но это было вынужденное занятие от невозможности

чем-то еще занять себя, идущее от этой ее извечной жажды справедливости и чувства собственной правоты, которую уже никто не пытался опровергнуть, но и не спешил подтвердить.

Всей правды она сказать не могла, но и та, которую выдала в писательском запале, задела многих. Обиделась родня, которую она не пощадила, особенно девяностолетнюю тетку Суламифь Мессерер. Обиделись бывшие товарки по Большому театру за иногда небрежный, насмешливый тон. Обиделось семейство Катанянов за отсутствие ожидаемого панегирика в адрес Лили Брик. Точнее других резюмировала балерина Наталья Макарова, поклонница и почитательница М. М.: “Ей не надо было писать эту книгу. Понимаете, до этих мемуаров мы думали, что она – богиня. А теперь знаем, что она такая же, как и мы”.

И все-таки нет! Другая. Непредсказуемая, изменчивая, пристрастная, заряжающая всех вокруг своей неистребимой энергией, этим электричеством отчаянья и надежды. Где бы она ни появлялась, все взгляды прикованы к ней. Что бы ни говорила, всегда воцарялась какая-то предобморочная тишина, будто это не артистка балета, а пифия пророчествует и колдует прямо перед телекамерами.

Сама М. М. относилась к любым проявлениям массового психоза без всякого трепета. Мол, ну что опять от меня все хотят? “Мы, балетные, чуть лучше цирковых” (ее фраза!). В смысле, не ждите от нее каких-то философских прозрений и открытий. Любые восторги в свой адрес мгновенно гасила иронией или находчивой шуткой. Из всех слышанных комплиментов чаще всего цитировала слова академика П. Капицы, сказавшего ей после просмотра фильма-балета “Болеро”: “Майя, таких женщин, как вы, в средние века сжигали на площади”.

Ей нравилось играть с огнем. Она сама была огонь. И ее непокорные кудри, полыхавшие в молодые годы рыжим костром, способны были опалить любую самую скучную классику, поджечь самый рутинный спектакль, озарить самую унылую жизнь.

Может быть, поэтому ее любили так, как не любили никого и никогда из наших балетных звезд. Она была нашей свободой, гордостью, *infant terrible*, даже когда стала пенсионеркой всесоюзного значения.

До последнего часа в ней оставалось что-то неисправимо девчоночье, делавшее смешными и прелестными ее кокетливые эскапады, ее гримасы, ее шутки на грани фола. И даже в том, как она ела, ловко помогая себе пальцами, словно белочка лапками, было что-то очень трогательное и милое.

Ну да, конечно, до нее и долгое время рядом была Галина Сергеевна Уланова. Великая молчальница, балерина безмолвных

пауз и выстраданных поз, окруженная беспримерным поклонением и почитанием. Первая из советских балерин, познавшая на себе “бедствие всеобщего обожания” (Б. Ахмадулина). Но там все другое: загробная тишина, молитвенно сложенные руки, взгляд, устремленный или в небо, или опущенный долу, как на портретах средневековых мадонн, с которых она копировала свою Джульетту.

А Майя – это всегда взгляд в упор. Глаза в глаза, как в “Кармен-сюите”, когда кажется, что она сейчас прожжет белое трико тореро, танцующего перед ней свой любовный монолог.

Видела всех насквозь. Даже сама этого дара немного пугалась. “Ну зачем *Z* мне врет и думает, что я этого не понимаю?” – говорила она об одной нашей общей знакомой.

Обмануть ее было невозможно, юлить перед ней – бессмысленно. И даже когда делала вид, что не понимает – возраст, проблемы со слухом, нежелание обижать, – все видела, слышала, обо всем имела свое мнение. И не слишком церемонилась, чтобы высказать его вслух.

Финальный жест из “Болеро” – нате вам, берите, всей раскрытой ладонью вперед прямо в зал, – это тоже Плисецкая, не привыкшая ничего скрывать, никого бояться. А сама больше всего на свете любила дарить, одаривать, отдавать. В балетной истории навсегда останется эпизод, когда она пришла за кулисы к Сильви Гиллем, тогда еще юной, нескладной, но безоговорочно гениальной. Вынула из ушей бриллиантовые серьги и отдала их ошеломленной француженке.

– Это бижу? – пролепетала Сильви, не сразу сообразив, что держит в руках увесистые шесть каратов.

– Бижу, бижу… Носите на здоровье, – улыбнулась Майя.

На самом деле у этих бриллиантов был нехилый провенанс. Их получила на свою свадьбу с Осей Бриком в качестве подарка от свекра юная Лиля Каган. Не носила никогда, хранила про черный день. Бог миловал, день этот Лилю, похоже, при всех разнообразных ужасах нашей жизни миновал, а вот у Майи был совершенно отчаянный период, когда ее не выпускали за границу, день и ночь под ее окнами дежурила гэбешная машина, и настроение было такое, что прям хоть сейчас в петлю. В один из таких дней Лиля Юрьевна достала из потертого бархатного футляра заветные брюлики и подарила их Майе с тем же напутствием: “Носите на здоровье”.

– Если честно, я дорогие украшения никогда не любила, – признавалась она мне много позже. – Во-первых, это вечные нервы. Положила, спрятала, перепрятала. Куда? Забыла, уже пора на сцену. Возвращаешься, кольцо исчезло. Где кольцо? Нет

кольца. Это ж театр! Какие замки ни ставь, каких охранников ни заводи, а если кому-то очень надо, все равно упрут. Во-вторых, меня это как-то психологически угнетало. Вот сидишь на каком-нибудь приеме и думаешь только о том, что сейчас на тебе надета половина квартиры, или новая машина, или какая-нибудь крыша для дачи, которая протекает и ее пора ремонтировать. И как-то от этих мыслей не по себе становится. Вот Галя Вишневская разные бриллиантовые люстры в ушах обожала. И носила с удовольствием, насверкалась ими всласть. А мне недавно Щедрин купил самые простые пластиковые часы с черным циферблатом и большими белыми цифрами, чтобы глаза не ломать, и счастливее меня не было никого.

Вкусы, надо сказать, у нее были самые демократические. Могла гулять по Парижу с дешевой пластиковой сумкой *Tati* (“А почему нет? Я там кучу всего полезного покупала и себе, и в дом”). Могла бесстрашно признаться, что набрала лишних два килограмма (“Друзья из Испании прислали нам целую ножищу хамона. Просто не было сил оторваться! Так вкусно!”). Из всего российского глянца предпочитала “*Gala* Биография”, который регулярно покупала в Шереметево (“Очень познавательный журнал. Мы там с Родионом Константиновичем столько про себя нового узнали!”).

Мне нравилось в ней это отсутствие всякой претензии. Она, которая как никто умела принимать самые красивые позы на сцене, в жизни их старательно избегала. Точно так же легко обходилась без нарядов *haute couture*, парадных лимузинов, дорогих интерьеров – всего того, что ей полагалось по праву планетарной звезды и дивы. Единственная роскошь, в которой Майя не могла себе отказать, – это духи. Вначале любила *Bandit Piguet* и долго хранила им верность. Потом, когда духи перекупили американцы и, как ей показалось, изменили классическую рецептуру, перешла на *Fracas* той же марки. Пронзительный, тревожащий, драматичный аромат с душной нотой туберозы. Я отчетливо слышал его, когда она приглашала меня на свои чествования в разные посольства, где ей вручали очередные правительственные ордена. Можно было не видеть, где она находится, но нельзя было не уловить аромат *Fracas*. Она была где-то близко, совсем рядом. По заведенному ритуалу все приглашенные, покорно внимавшие речам послов и других начальников, напоминали мне тот самый кордебалет из первого акта “Анны Карениной”, который предварял своим танцем выход главной героини на заснеженный московский перрон. Собственно, мы и были этим самым кордебалетом, не слишком уже молодым, но приодевшимся и приосанившимся по случаю праздника нашей

Королевы. А она, как всегда, была самой молодой и красивой.

В Большом

В начале восьмидесятых у меня с Плисецкой была еще одна встреча, о которой мы никогда с ней не вспоминали. Для нее это был слишком незначительный эпизод, но для меня он значил много. К этому времени я уже успел закончить ГИТИС, писал про театр, где-то печатался. Моя подруга Катя Белова, сотрудничавшая с журналом “Радио и ТВ”, предложила подготовить репортаж со съемок балета “Чайка” в Большом театре.

– Заодно возьмешь у Майи интервью. Ты же хочешь с ней познакомиться?

Я согласился. Время было мутное, странное, неопределенное. Никто не верил, что эти старчество и ветхость, которые нами правили, когда-нибудь кончатся. Кто не исхитрился уехать по израильской визе или фиктивному браку, те пили по-черному, кляня на своих кухнях советскую власть и престарелых начальников. Лишь изредка всеобщую апатию и мертвенную скуку взбадривали новости на культурном фронте: то очередной скандал в Театре на Таганке, то бегство премьера Большого театра Александра Годунова, то санкционированные отъезды писателя Василия Аксенова и дирижера Кирилла Кондрашина, то разгром книги балетного критика Вадима Гаевского “Дивертисмент”. Но все это были новости, что называется, “для узкого круга”. А так озимые взошли, урожай убрали, план перевыполнили, погода на завтра… В дурной бесконечности одних и тех же новостей, озвученных официальными голосами Игоря Кириллова и Веры Шебеки, главных дикторов программы “Время”, было что-то даже завораживающее, иллюзорное и изнурительное. “Жизнь есть сон”. Почти по Кальдерону!

При этом повсюду бушевали страсти, которые спустя семь лет вырвутся наружу и снесут всю эту помпезную, но шаткую и гнилую конструкцию. Главным сюжетом в Большом была, конечно же, война, которую с переменным успехом вели его знаменитые солисты против своего худрука Юрия Григоровича. Если не вдаваться в тягостные подробности, то суть конфликта заключалась в следующем: Григорович, как прирожденный советский диктатор, хотел безоговорочного подчинения всех и вся. Никаких других хореографов, никаких рискованных экспериментов, никаких импровизаций и отступлений от заданного им канона. В середине семидесятых он решительно делает ставку на молодых исполнителей, оттеснив от главных

ролей своих признанных, но постаревших звезд. Звезды, как им и полагается, взбунтовались и пошли ходить по кабинетам Старой площади, благо у каждого были свои высокие покровители. Конфликт удалось на какое-то время замять: кому-то бросили кость в виде обещания собственной постановки, кому-то разрешили индивидуальные гастроли на Западе, а от кого-то откупились новой жилплощадью или гаражом для заграничного авто. Разные способы были утихомирить обиды и творческую неудовлетворенность. Но было понятно, что все это ненадолго и впереди всех ждут новые битвы и бои.

Плисецкая была в самой гуще этих сражений. Григоровича ненавидела люто. Даже имени его спокойно произносить не могла. Список его преступлений был нескончаем, но ничего конкретного припомнить сейчас не могу. Думаю, больше всего ее терзало то, что именно она когда-то была главным инициатором перехода Григоровича из Кировского балета в Большой. Своими руками она привела его к власти. И поначалу танцевала все заглавные партии в его балетах: Хозяйка Медной Горы в “Каменном цветке”, Мехнеме Бану в “Легенде о любви”, Аврора в новой версии “Спящей красавицы”… Но справедливости ради стоит признать, что Плисецкая не была его балериной. Для пластического языка Григоровича требовался другой женский тип. Ему не нужна была *prima-assoluta* с апломбом, характером и харизмой. Ему больше подходила самоотверженная техничка, готовая разодрать себя на части, чтобы угодить ему, выполняя все головоломные комбинации. Такой была Нина Тимофеева, ставшая эталонной исполнительницей всех главных женских партий в его спектаклях. К тому же балеты Григоровича в большей степени были ориентированы на мужской состав труппы. По своей природе они были предельно маскулинны, и женщине там отводилась вспомогательная, служебная роль. А потом появилась Наталья Бессмертнова – балерина с иконописным лицом послушницы, железной волей и стальным носком. Она завладеет вакантным местом жены и музы.

И вот уже на премьеру новой редакции “Лебединого озера” – главного русского балета, который Плисецкая танцевала больше двадцати лет подряд, – поставили не ее, а Бессмертнову. И хотя начальство спектакль не примет, обвинив Григоровича в упадничестве и велев переделать финал, это был первый сигнал, что расстановка сил изменилась и позиция Майи как абсолютной и единственной примы отныне недействительна.

За ней оставались ее балеты, ее мировое имя, ее престижная гримерка рядом со сценой. Ее нельзя было выгнать из Большого, – позолоченная медаль с профилем Ленина и звание народной

СССР еще какое-то время будут служить ей защитой. Но она знала, как легко соорудить из всего этого почетную ветеранскую резервацию, где лишь изредка – не чаще одного-двух раз в месяц – ей бы позволяли выходить на сцену, где ветшали ее спектакли, куда никогда не звали западных продюсеров и директоров фестивалей, куда под страхом увольнения не пускали молодых перспективных артистов. Расчет был один: рано или поздно она сама задохнется в душном, спертом воздухе резервации, сама уберется из театра под смешки недругов и шепот штатных балетоведов: “Плисецкая кончилась”.

Она сопротивлялась. Билась, бунтовала. Пыталась спастись то в хореографии Ролана Пети, то в свободном танце Мориса Бежара. Кидалась на защиту балетов, которые ей посвящал Родион Щедрин, как будто речь шла о детях, которых у них никогда не было. Эпопею с “Анной Карениной” я мог наблюдать в бинокль с четвертого яруса, история “Чайки” разворачивалась у меня на глазах.

На съемках “Чайки”

В феврале 1981 года по распоряжению самого С. Г. Лапина, всесильного председателя Гостелерадио, было принято решение сделать телевизионную версию нового балета и показать его в прайм-тайм, хотя, кажется, таких слов тогда не знали. Можно лишь догадываться, чего стоило М. М. выбить это разрешение. В ход пошло все: и имя Чехова, и авторитет Щедрина в качестве Председателя Союза композиторов России, и ее собственная юбилейная дата. В результате к Большому театру подогнали автобус, напичканный аппаратурой, в зале расставили камеры, а в центре партера на три съемочных дня воцарилась серьезная дама по фамилии Мачерет. Мне ее представили как опытного режиссера. Хотя, кажется, достаточно было одного взгляда на ее крашенную хной шевелюру и скучное выражение лица, чтобы сразу догадаться: “Чайка” с этой дамой никуда не полетит. Но это было понятно мне, притаившемуся в десятом ряду, а вот что видела Плисецкая на сцене, недовольно жмурившая глаза от направленных на нее софитов, не знаю. Может, как всегда, понадеялась, что ее энергия и страсть пересилят любую серость и мрак? Что музыка “Чайки” заставит воспарить даже самых безнадежных? Что ее руки, ее божественные руки удержат хрупкий спектакль от бездны забвения, куда кануло уже столько ее великих балетов?

А может, как всегда, ей было просто некогда вглядываться в чьи-то физиономии, просчитывать чьи-то козни, ждать удара в

спину. Уже много позднее я понял, что, несмотря на все разочарования и обиды, Майя была довольно доверчивым и даже в чем-то очень наивным человеком. Пусть каждый занимается своим делом, рассудила она. Она не будет диктовать, давить, лезть, указывать, как надо. Ей бы сейчас Нину Заречную станцевать и не сбиться.

Осознание надвигающейся катастрофы пришло, когда она села у монитора, чтобы посмотреть отснятый материал. Я видел только ее спину. Вначале как у первоклассницы, в предвкушении первого сентября. Потом спина стала испуганно-недоуменной, словно ее окатили ледяной водой. Потом гневной, готовой к немедленному резкому отпору. И наконец, сломленной, сдавшейся, несчастной.

“Это ужасно!” – скажет Майя и бессильно уронит голову на сложенные руки. Какое-то время все испуганно молчали, хотя на экране кто-то еще продолжал мельтешить и прыгать.

– Да ладно вам, Майя Михайловна, не так уж там все и плохо, – попытается вступиться за телевизионщиков исполнитель роли Тригорина Борис Ефимов. – Они там подмонтируют, подрежут, и будет красота.

Майя подняла голову, обвела всех присутствующих невидящим взглядом больных, воспаленных глаз и медленно произнесла: “Нет, Боря, красоты тут уже не будет”. Надо было видеть, как она молча поднялась по служебному мостику, соединявшему зал со сценой, как отчаянно запахнулась в черный с красным карденовский халат, как пересекла сцену с видом трагической героини, провожаемая нашими испуганными взглядами. При чем тут Чехов? Федра, Медея, Антигона – вот ее репертуар, вот подлинный масштаб. Только сейчас я начинаю понимать, как она мучилась от несоответствия, несообразности собственного дара и той реальности, которая предлагалась ей в качестве ежедневных обстоятельств, представлений о том, как надо и должно быть, и той картинки, которую увидела на мутном экране монитора.

Потом действительно все как-то смонтировали, затемнили где надо, подложили музыку. Получилось прилично. Сама Майя в красивом платье выступила перед началом, объяснив, почему она выбрала “Чайку” для балета. Откуда взялась эта странная, размытая пластика, которую она придумала. Оказалось, что все из детства, из военной юности. Это память о тех беззвучных диалогах, которые велись через стекло вагонов на бесконечных перронах и полустанках. Когда слова не значили ничего, но в запасе оставались два-три заветных жеста, улыбки, взгляды, способные выразить и радость, и горе, и надежду. Ими тогда и

обходились.

И Майя их тут же показала. Эту забытую азбуку разлук, встреч, прощаний, которую помнила только она одна.

…Незадолго до окончания съемок я все-таки набрался смелости и подошел к ней за кулисами с просьбой об интервью. Она устало отмахнулась. Не сейчас!

– А когда, Майя Михайловна? Мне же материал в редакцию надо сдавать.

– А мне кости пора сдавать, – отрезала она в своей неизменной “гомерической” манере. С этим аргументом спорить было бессмысленно. Репортаж про съемки “Чайки” ушел в печать без интервью с Плисецкой.

Аудиенции у королевы

Мне так и не удалось взять у нее интервью. Даже когда спустя двадцать лет мы познакомились и подружились. Такая мысль мне не приходила в голову: прийти к Плисецкой с диктофоном, сесть напротив и начать задавать вопросы про жизнь и творчество. Сама мизансцена казалась нам обоим какой-то фальшивой и глупой. Мы просто разговаривали без оглядки на будущую книгу или непременную публикацию. Ни одного ее слова без ее согласия я бы все равно не стал печатать. И она это знала. Поэтому общаться было легко. Мы сидели у нее в гостиной на Тверской улице среди ваз и банок с увядающими букетами и хохотали, как школьники на перемене. Иногда к нам заглядывал недовольный Щедрин, герр-учитель, и мы оба испуганно замолкали. Если он был особенно не в духе, мог даже изречь что-то вроде: “На сегодня аудиенция у Майи закончена”.

В том смысле, что мне пора валить. И тогда, давясь от смеха, мы шли прощаться в полутемную прихожую к лифту, где еще долго продолжали говорить задушенными голосами заговорщиков. Вообще музыка Щедрина и все, что с ней связано, было главным содержанием жизни этой пары. Все остальное просто не заслуживало внимания или шло каким-то беглым постскриптумом к его концертам, сочинениям, выступлениям, премьерам.

Где-то на сорок пятом году их совместной жизни он, наконец, ощутил себя полновластным хозяином и господином и наслаждался этим статусом, как крон-принц, получивший свою долгожданную корону. На моей памяти, Майя никогда ему не возражала. При всей своей природной строптивости и, как считалось, невыносимом характере, она была на редкость послушной женой. По крайней мере, в то последнее десятилетие,

которое я застал.

Другое дело, что по своему легкомыслию и простодушию она все время попадала в какие-то несуразные истории, которые Щедрину приходилось улаживать. Она была классической *trouble woman*. То она, не глядя, подмахивала свою подпись на контракте, из-за которого потом несколько лет приходилось судиться. То ее кидали очередные доброхоты-спонсоры, и Щедрин судорожно собирал деньги, чтобы расплатиться с кредиторами. А то на радость бульварным СМИ вдруг объявлялась некая лжедочь из Израиля. С ней тоже надо будет судиться, тряся разными экспертизами и справками, что Плисецкая никак не может быть ее матерью. Все это Щедрину приходилось брать на себя, доказывать, спорить, нервничать, срывать голос, нанимать адвокатов. Не говоря уже о практических и финансовых заботах, связанных с их непростой жизнью на три дома (был еще дом в Тракае, в Литве) и фактически на три страны.

Мюнхен стал их главным прибежищем. С его педантизмом, страстью к порядку и четкому расписанию, этот город подходил Щедрину идеально. А Майе? Однажды я спросил ее, почему из всех городов они выбрали именно Мюнхен?

– Там лучшее в мире нотное издательство, – с нескрываемой гордостью ответила она.

– Что ж получается, вы там живете из-за… нот?!

– Но это так важно для Родиона Константиновича.

Конечно, ей самой больше бы подошел Париж. Она его обожала. Несколько раз ее звонки заставали меня во французской столице, и когда я говорил, где нахожусь, она, которая никогда никому не завидовала, вдруг начинала звонко вибрировать: “Как же это красиво! Вы в Париже!”

На RUE Roi de Sicile

Париж нас в свое время и сблизил. Тогда я работал в журнале *ELLE* и в честь ее юбилея решил, что надо обязательно осуществить модную фотосессию. Плисецкая как воплощение классического гламура. Особого энтузиазма у начальства эта идея не вызвала. Разумеется, смущал солидный возраст модели, который противоречил всем законам маркетинга и российским представлениям о том, что возможно в глянце. Никакие аргументы про великое имя и национальную гордость не действовали. То есть “нет” впрямую никто не говорил, но и “да” – тоже. По счастью, нашелся еще один энтузиаст “вечных ценностей” и давний поклонник Майи Михайловны, тогдашний вице-президент Альфа-банка Александр Гафин, который взялся

профинансировать эту затею. “От всего Советского Союза только два имени, может, и осталось: Юрий Гагарин и Майя Плисецкая, – бушевал Саша, – как же можно пропустить такую дату!” В общем, деньги нашлись. Дальше встал вопрос: а кто фотограф? Хотелось, чтобы это имя можно было поставить в один ряд с легендарными Ричардом Аведоном или Сесилем Битоном, которые снимали Плисецкую в эпоху ее славы. Сошлись на Беттине Реймс, прославленном фотографе семидесятых-восьмидесятых годов, чьей специализацией долгое время были женщины с прошлым. Впрочем, в ее портфолио имеются и серьезные государственные мужи, и транссексуалы Булонского леса, и проститутки Пляс Пигаль, и тайные притоны Шанхая, и священные места Палестины. Сама Плисецкая никаких условий не выставляла, о райдере, которым так любят хвастать звезды нашего шоу-бизнеса, слыхом не слыхивала. Попросила только взять что-нибудь в бутике своего старого друга Пьера Кардена. Стилист Мартин де Ментон, конечно, слегка поморщилась: ну при чем тут Карден? Но спорить не стала. Причуды звезды – закон.

Мы приехали в студию на Рю Руа де Сисиль в квартале Марэ. Какие-то переходы, тупички, маленькие комнатки. У Беттины бесконечные помощники, ассистенты, агенты. Она – звезда. Один из самых высокооплачиваемых фотографов в мире. Она умеет себя подать. Выучка и осанка бывшей манекенщицы, свитер грубой вязки прямо на голое тело или рок-н-рольная майка, кожаные брюки байкерши. При виде нас она картинно распахивает руки и громко восклицает: “*О, Maya!*”. Теперь я знаю, что у нее такая манера приветствовать каждую модель на пороге своей студии.

Майя отзывается на эти приветствия довольно прохладно, давая сразу понять, что ее экстатическими вскриками не возьмешь. Деловито интересуется, где гримировальный стол, и, кажется, даже не замечает приготовленного для нее огромного букета бледно-зеленых роз. Беттина переключается на Щедрина.

Нет, нет, никого постороннего не должно быть на съемке. Это таинство, это обряд. “Но я муж этой женщины уже сорок восемь лет”, – притворно возмущается Щедрин, которому на самом деле совсем не улыбается проторчать здесь восемь часов подряд.

– Да ладно, иди лучше погуляй, – примирительно говорит Майя. – Чего здесь сидеть!

Щедрин удаляется, заручившись моим обещанием, что вечером я верну Майю Михайловну в целости и сохранности.

Мы остаемся втроем: она, гримерша по имени Беки Пудр и я – должен же был им кто-то переводить. Приглядываюсь к Беки. Хорошенькая, вертлявая. С гривой крашеных волос, рассыпанных

по плечам. А профиль мужской. С тяжелым боксерским подбородком. Так это же мужик и есть! Типичный транс, к тому же, как выясняется, еще и страстный балетоман.

Майя смотрит на себя в зеркало хмуро. Про свое лицо она знает все. И могла бы сама быстренько загримироваться (что, кстати, предлагала мне, пока мы ехали в такси), но покорно подчиняется Беки. Та порхает вокруг нее. Они понимают друг друга без перевода. Стоит ей приподнять строгую бровь, как Беки бросается ее подрисовывать и удлинять. А если Майя подожмет недовольно губы, как гример уже предлагает на выбор с десяток разных тюбиков с помадой. И все так четко, слаженно, точно, будто всю жизнь только и делает, что гримирует народную артистку Плисецкую.

Дальше примерка.

– Что же у вас все такое мрачное? – раздраженно спрашивает она, перебирая платья, висящие на кронштейне. Тут и *Christian Dior*, и *Chanel*, и *Louis Vuitton*, и *Jean-Paul Gaultier*. Все хиты грядущей осени. Вместе с Мартин мы на два голоса пытаемся объяснить, что в нынешнем сезоне основные цвета самые упаднические. На их фоне яркими пятнами выделялись только платья от *Cardin*. Плисецкая рассеянно погладила их, как старых боевых подруг, но для съемки выбрала другое – бушлат от *Dior*, кепку *Hermes*, свитер *Miu Miu*. На винтажные драгоценности даже не взглянула. Но в конце концов дала надеть на себя бриллиантовое ожерелье от *Bvlgary*.

Спустились на первый этаж в студию к Беттине. Целая процессия – Мартин, Майя, Беки, парикмахер. Там уже все готово к съемке. Таинственная полутьма озвучена трагическим голосом Марии Каллас. За месяц до фотосессии я написал Беттине, что Плисецкая – это Каллас в балете. И вот теперь великая дива надрывается во всех динамиках, чтобы создать нужную атмосферу.

– А можно убрать это верещание? – с порога спрашивает Майя.

Каллас тут же вырубили.

– Может, она хочет рок или джаз? – волнуется Беттина. Она уже поняла, что модель не из легких.

– Нет, лучше Малера. Адажиетто из Пятой симфонии, – советую я. – Она когда-то танцевала под эту музыку.

Пока выверяли и корректировали свет, нашли Малера. Плисецкая не умеет позировать, то есть сидеть на одном месте, намертво вперившись в объектив фотокамеры. Она живет, движется. Ей надо много пространства. Ее руки, не находя себе места, сами подчиняются музыке. Ей абсолютно все равно, какие

ракурсы у нее получаются более выигрышными, какие менее. Похоже, ей нет дела и до невольных зрителей, обступивших пятачок, залитый ярким студийным светом, да еще усиленный экранами из фольги.

Было даже что-то мистическое в нестерпимом серебряном сиянии и этой странно, неправдоподобно помолодевшей женщине, которая танцевала одними руками. Ни одной минуты покоя, ни одной неподвижной секунды. Жесты как оборванные лепестки или кружащие листья. Один, другой, третий… Я же помню, как она танцевала все это в балете "Гибель Розы" с Александром Годуновым. Как билась и затихала ее *Rose Malade*, превратившись в невесомый розовый лоскут. И как ее руки метались, ощупывая пустоту в предсмертном усилии последних объятий. И звук, этот звук мертвой тишины, когда было слышно только, как липкие от пота тела бьются друг о друга в безмолвной схватке, после которой наступит конец света. Собственно, он и наступал, когда закрывался золотой занавес с советскими гербами и обалдевший зал еще долго не мог прийти в себя, не веря, что все это ему привиделось не во сне. Ни одна самая великая фотография, ни одна кинопленка в мире не смогут этого передать. И даже сейчас, в полутьме парижской фотостудии, где не было ни сцены, ни оркестра, а вместо публики – лишь группа случайных зрителей, Плисецкая продолжала этот свой танец-судьбу, танец-ворожбу, танец-гипноз. Она станцевала для нас и "Розу", и своего неумирающего "Лебедя", и бежаровскую "Аве Майя", и что-то еще, чему нет названия. И лишь короткие вспышки блицев да яростные вскрики Беттины время от времени возвращали нас к реальности: "*Maya, you're great!*", "*Maya, you're queen!*", "*Maya, you're beautiful!*"

Рядом со мной тихо стонала Беки: "Нет, я этого не переживу. Это нереально. Она великая, просто великая!" А стилистка Мартин в какой-то момент даже расплакалась и, чтобы скрыть слезы, незаметно выскользнула из студии.

Снимали часа три с коротким перерывом на ланч. Под конец лицо Беттины стало пепельного цвета, а на ее майке с затертой надписью *Rolling Stones* выступили темные круги. Она впивалась в глазок фотокамеры так, будто перед ней проплывал синий линкольн со смертельно раненным Кеннеди или падали башни *Trade Center*. В ее стонах и криках была какая-то ненужная экзальтация, которая Плисецкую раздражала. Она не любила нервных женщин с громкими, командирскими голосами. Не любила противоречивых указаний. Не любила, когда в сотый раз спрашивают, удобно ли ей, хорошо ли ей?

– Ну, конечно, нехорошо и неудобно, – цедила она сквозь

зубы, – хватит задавать вопросы, давайте работать.

А когда все закончилось, она, смыв грим и переодевшись в свой черный плащик *Zara*, достала из сумочки несколько старых фото: Одетта, Одиллия, Кармен.

– Как вы думаете, подарить им на память?

– Они будут счастливы

Аккуратным почерком отличницы она поставила на каждом снимке свой автограф специально для таких случаев припасенным серебряным фломастером и раздала фотографии всем участникам съемки. Больше всего переживала Беки. Пока Плисецкая подписывала фото, она ходила кругами по комнате и жестами показывала на себя:

– Можно только, чтобы там было два слова, только два: “*To Beky*”.

Да, можно, все можно… Майя даже приписала по-английски: “*With Love*”. От избытка чувств Беки целует подаренное фото, а потом опускается на колено и, как предписывает балетный ритуал, едва касаясь, подносит руку Плисецкой к своим губам, сопровождая поцелуй долгим, страстным взглядом.

Мы вышли на предвечернюю Рю Руа де Сисиль с нагруженными сумками. Накрапывал парижский дождик. Заказанное такси поджидало нас на соседней улице, где можно было припарковаться. Пришлось довольно долго идти по скользкой брусчатке. Майя ее побаивалась. Один раз в Риме каблук застрял между булыжниками – все закончилось для нее тяжелым переломом и двумя операциями. Поэтому мы передвигаемся очень осторожно. Наверное, со стороны наш променад похож на какой-то медленный, церемонный танец, что-то вроде гавота. Уже в машине по дороге в отель она вдруг спросила:

– Вы знаете, когда я поняла, что это был *он*?

– Кто?

– Ну эта…Беки.

– Когда?

– Когда она встала на одно колено и поцеловала мне руку. Так женщины не могут, только мужчины.

Лебеди в море

Последние годы в Москве они бывали короткими наездами. И даже чаще в Петербурге, где в Мариинском театре с завидной регулярностью шли новые произведения Р. Щедрина: и оперы, и балеты. А в родном Большом ничего. Одна только “Кармен-сюита”, да и та лишь в бенефисы Светланы Захаровой, которые

случались очень редко. Обида на Большой не давала ей покоя.

– Я могу пережить, когда унижают или обижают меня. Могу этого даже не заметить. Но когда речь идет о Щедрине, меня начинает душить ярость.

По странной ассоциации вспоминала в такие моменты Лилю Брик, как та тиранила Щедрина, заставляя его быть то личным водителем, то писать музыку для фильма о Маяковском, хотя это совсем не входило в его планы, и т. д. На этом и поссорились, как потом выяснилось, навсегда. Щедрин эту тему никогда не поддерживал, а только напряженно молчал. И вообще разрыв с Лилей, не первый и не последний в череде других разрывов и расставаний, был, похоже, для них обоих особенно мучителен. Только Майя со свойственным ей чувством “несравненной правоты” пыталась все объяснить и оправдать, а Щедрину, человеку закрытому и сдержанному, любой разговор на эту тему был неприятен.

Так и с Большим. Мы никогда не говорили с ней о том, как она пережила день, когда узнала, что вместе с группой солистов ее вывели на пенсию. Как потом выяснилось, к этому приказу приложила свою руку Раиса Максимовна Горбачева. Без ее участия в судьбах отечественного балета эта акция никогда бы не состоялась так поспешно и так беспардонно. Майя приняла удар стойко. К счастью, ее тогда же позвали возглавить “Театро лирико националь” в Испании. Боль и обиду глушила работой. Лучшее средство от всех депрессий.

Потом были все ее грандиозные юбилеи, концерты, получасовые овации, президентские награды и речи. Но когда я предложил записать телевизионную программу в обновленном Большом театре после ремонта, наотрез отказалась:

– Это давно не мой театр. Я к нему не имею никакого отношения. Лучше где-нибудь в другом месте.

…О грядущем юбилее она старалась не думать. ЕБЖ – любимая присказка многих лет. Если будем живы! Единственное и непременное условие, которое поставила перед дирекцией: если хотите устраивать чествования, должен быть какой-нибудь балет Щедрина. Без этого даже в Москву не приеду. Сговорились на “Даме с собачкой” – маленький, компактный, изящный балет, посвященный ей когда-то Щедриным и недолго продержавшийся в репертуаре Большого. Для постановки выбрали главного хореографа Балета Монако Жана-Кристофа Майо. А дальше показания путаются: то ли француз не смог или не захотел, то ли Большой театр не был слишком настойчив? В любом случае репетиции “Дамы” так и не начались. При этом подготовка к юбилею вовсю уже шла.

Майю это бесило. Когда мы говорили с ней в последний раз, моя телефонная трубка была раскалена до предела. В таком гневе я никогда ее не видел. Она готова была испепелить всех начальников, и жен начальников, и весь Большой театр. Я утешал ее, что директор Владимир Урин, которого знаю давно, опытный дипломат и профессионал, найдет оптимальное решение, как выйти из этой ситуации. И, кажется, решение было найдено, когда Майя и Щедрин встретились в Петербурге, куда Урин специально вылетел, чтобы уладить конфликт. От этого визита остались чудесные фотографии Сергея Берменьева. Он ее и раньше снимал. Но с Щедриным, кажется, впервые. Сейчас гляжу на них и думаю: ну почему я тогда не сорвался и не поехал в Питер? Она звала…

Второго мая я был в Юрмале, когда получил СМС от директора сайта “Сноб” Лики Кремер: “Сегодня умерла Плисецкая. Напишите некролог”. Первая реакция: ошибка. Лика что-то перепутала. Ну как же, две недели назад… В тупом оцепенении я все ждал, что сейчас начнут поступать опровержения. Но их не было. Наоборот, новостную ленту переполняли соболезнования, траурные сообщения, ее портреты разных лет. Этот поток накрыл меня с головой. Пытаясь как-то из него вынырнуть, стал искать подходящий рейс из Риги. Ровно с тем же чувством, которое меня не покидало много лет назад, что нельзя не увидеть Майю на сцене, я думал теперь о том, что должен успеть с ней проститься.

Перед глазами вставала четкая картина, как это будет: Большой театр вряд ли отменит предпраздничные спектакли. Значит, вся церемония пройдет в фойе, как когда-то панихида по Улановой. С лаковым гробом, орденами на подушечках и очередью из ветхих старушек во главе с министром В. Мединским и Никитой Михалковым.

В какой-то момент я понял, что не могу больше смотреть в экран, захлопнул крышку лэптопа и вышел на улицу, к морю.

На берегу было пустынно. Серая гладь холодного Балтийского моря сливалась с хмурым, пасмурным небом. И на этом бледном, пепельном, чуть подсвеченном закатным солнцем фоне плыли друг за другом лебеди. Никогда я их тут не видел. Никогда они сюда не прилетали. Потом даже местные орнитологи удивлялись и выдвигали свои гипотезы. Но я-то знаю, кто их прислал!

…Билет менять не пришлось. Через день-два поступило сообщение о том, что государственные похороны отменяются.

Церемония пройдет в Германии в присутствии только самых близких. Директор Большого В. Урин озвучил последнюю волю покойной. “Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наших праха соединить воедино и развеять над Россией”.

Когда я дочитал до последних слов, то сразу увидел поле на опушке подмосковного леса в Звенигороде, где до сих пор стоит огромный валун, на котором выбиты три буквы “Л”, “Ю”, “Б”. Там в 1978 году был развеян прах Лили Юрьевны Брик. Спустя много лет Майя выберет и примерит на себя этот финал, как когда-то примеряла Лилины бриллианты…

Когда на девятый день я дозвонился Родиону Щедрину со своими соболезнованиями, он, терпеливо выслушав меня, задал один-единственный вопрос.

– А, скажите, Сережа, ведь правда, Майя ушла красиво?

И получив утвердительный ответ, повесил трубку.

Ричард Бартон
Жизнь без нее проходит впустую

Фрагменты из дневников[1]
Перевод с английского Веры Пророковой

При разводе с Элизабет Тейлор он попросил оставить ему Большую британскую энциклопедию. Больше всего на свете он любил книги и прочитал за свою жизнь их столько, сколько не снилось всем труженикам Голливуда, вместе взятым.

Еще он любил писать и даже всерьез подумывал о том, чтобы запереться на месяц-другой у себя в деревушке Селиньи в Швейцарии и сочинить какой-нибудь грандиозный роман, ну или хоть небольшую повесть. Как и всех незадачливых графоманов, его не покидала мысль, что, сложись жизнь иначе, он бы давно стал серьезным писателем.

А еще он очень любил свою жену, не переставая удивляться этому обстоятельству все пятнадцать лет, что они были вместе, и даже после, когда они расстались, использовал любой повод, чтобы воссоединиться с ней хотя бы на театральной сцене или съемочной площадке. Впрочем, она тоже любила его.

Об этом написаны тонны книг, сняты километры кинопленок, опрошены все возможные свидетели и участники событий. Теперь, когда не стало и ее, дошла очередь до дневников Бартона. Там все как было. Без прикрас! Нищее детство, годы службы в армии, попытки пробиться на сцену. Ревниво и жестко о коллегах. И, конечно, о Лиз, об их любви-ненависти, о его алкоголизме и депрессиях, об их бурных ссорах и страстных примирениях. Все это на изнурительном фоне бесконечных съемок, в окружении бесконечных толп поклонников, под прицелом фото– и кинокамер, ловящих каждый их взгляд, движение, улыбку. “Лиз и Дик”, “Дик и Лиз”…

Какая ужасная жизнь, завистливо скажут одни. Какая прекрасная жизнь, вздохнут другие. А в дневниках Ричарда Бартона – это просто одна-единственная жизнь, которую он проживал широко, со вкусом и размахом, почти недоступным современным звездам. Почему? Да потому, что и он, и Элизабет Тейлор были не звездами, а олимпийцами Великого Кино, богами и героями, которым позволено все: суперфильмы, супергонорары, супертраты (один бриллиант Круппа, который он ей подарил, чего стоит!). Поэтому они не слишком-то трепетали по поводу лишних килограммов или кассовых сборов. Все знали, что они

великие, что равных им нет. Впрочем, когда успех стал изменять, а фильмы – проваливаться один за другим, с любовью тоже что-то случилось. И об этом “тоже” можно прочесть в его дневниках. Наверное, для них обоих кино и жизнь были слишком завязаны друг на друге и порознь не могли существовать.

Собственно, тогда-то и возникли у Бартона мысли запереться в швейцарской глуши и писать, писать… Многие страницы его дневника сочинены именно там, но большинство – между съемками и разъездами. Чтобы поддерживать соответствующий уровень жизни, ему приходилось много мотаться, подчас соглашаясь участвовать в совсем уж позорном трэше. Писательство оставалось для него любимым, но необязательным занятием, на которое под конец уже не хватало ни времени, ни сил. Все отнимали съемки, выпивка и… Лиз.

И только теперь, когда эти разрозненные записи тщательно собраны и прокомментированы биографом Крисом Уильямсом, начинаешь понимать, что, похоже, главная роль прошла мимо Бартона. Как, впрочем, и голливудский “Оскар”, который так ни разу ему и не достался, став причиной тайных драм, ссор и слез, о которых мы узнали только сейчас. Он действительно мог бы стать настоящим писателем, этот хмурый валлиец с мечтательными голубыми глазами, взгляд которых многоопытная Шанель сравнивала с поцелуем.

Говорят, что Элизабет Тейлор до последнего вздоха сохраняла и не расставалась с письмом, которое Бартон адресовал ей как раз накануне собственной смерти. У этой великой истории любви логичный и красивый финал: кино закончилось, герои ушли, бриллианты распроданы. Слова остались.

Сергей Николаевич

2 июня 1965 г. Встал [в] десять утра, а погода пасмурная. Имел бурную ссору с Берт [Элизабет Тейлор] и обвинил ее, в числе прочего, в дешевом вкусе. Она меня, в числе прочего, обвинила в снобизме. Я сказал, что с ней мне интересно только в кости играть. Про все другое забыл.

20 марта 1966 г. Ходили на ланч с Витторио Де Сика[2], его женой и двумя их мальчиками. Один из них играл на гитаре – вот уж кошмарный инструмент, хуже губной гармошки и расчески с папиросной бумагой. А Де Сика смотрел на сына с неприкрытым восхищением. У него было лицо дебильной и чем-то пристукнутой рыбы. Еще один потерянный день в череде прочих, о которых в будущем предстоит вспоминать с сожалением. Что же

нам делать… Да будь все п…! Вперед, только вперед!

1 апреля 1966 г. Ну и денек! Около 11:30 я пришел на примерку костюма [для “Укрощения строптивой” Франко Дзеффирелли[3]]. Вполне хорош – по крайней мере, лучше предыдущих. За ланчем я был так раздражен, что вышел из-за стола, только прорычал: “Прошу меня простить, я не в духе”. Шумдит [ЭТ] с присущим ей неизбывным тактом сказала: “Неужели, Ричард?” Я прорычал в ответ нечто остроумное, вроде “Пасть закрой”, и отправился на бешеную прогулку с Эен Со [их собакой]. Вернувшись, я кинулся целовать Шумдит, а затем снова набросился на нее с упреками. Затем мы еще пуще целовались.

3 июня 1966 г. Мне сегодня надо было сняться всего в одном эпизоде, но, к несчастью, у Элиз их было три, а потом, разумеется, ей нужно было помыть перед выходными голову, так что со студии мы уехали в 1:30. Поехали к Корсетти на ланч: восхитительный морской язык из Адриатики, у Элиз сибас с жареной картошкой, а запили мы все это двумя бутылками “Фонтана Кандида”. <…> В девять вечера я уже спал. В два часа ночи сделал себе супа с капустой, ко мне тут же присоединилась Бон-Аппети [ЭТ]. Мы ели из одной миски – прямо как два щенка.

24 сентября 1966 г., Италия. Мы в Торваянике. Она готовит, я убираю – слегка. Она делает хот-доги и гамбургеры, омлеты и супы. Нас почти не донимают – разве что прохожие пялятся, изредка кто-то просит автограф. В прошлые выходные одна жирная девица попросила поставить ей автограф на заднице, едва прикрытой бикини. Я отказался, расписался у нее на руке.

3 ноября 1966 г. Почему-то сегодня утром я распереживался по поводу Э – любит она меня или нет, как ужасно было бы ее потерять и т. д. Довел себя до жуткого уныния и самым дурацким образом успокоился, когда она позвонила со студии. Что со мной творится?

10 января 1967 г. В настоящий момент я в нее “безумно влюблен” – я ее всегда люблю, но это другое. Мне каждое мгновение хочется заниматься с ней любовью, но, увы, в ближайшие пару дней это невозможно. Через два-три дня она ходить не сможет.

24 мая 1967 г., Портофино. Э волнуется по поводу того, что я пишу о ней [в дневнике], так что вот: она милая толстушка,

обожает комаров и ненавидит прыщавых фурункулезных валлийцев, терпеть не может корабли и обожает самолеты, у нее маленькие черные глазки-смородинки, крохотная грудь и совсем нет чувства юмора. Она резонерша и ханжа, болезненно зацикленная на себе.

30 июля 1967 г., Таормина. День медленный, время тянется. Пошли прогуляться, купили в какой-то лавочке солнечные очки. А когда вышли, толпа, собравшаяся на улице, нам аплодировала. Э сочла это весьма милым, впрочем, так оно и было. Ужин прошел в состоянии полудремы и некоторого самодовольства – мы сравнивали своих предков, а также предыдущих жен и мужей.

Э стала такой изящной, что мне постоянно хочется ее обнимать. Она не то что сбросила вес, но благодаря массажу и физическим упражнениям вес перераспределился. Она сейчас в числе самых соблазнительных женщин, которых я когда-либо знал. Самая. То есть соблазнительнейшая.

30 сентября 1967 г., Париж – Капо-Качча. В полдень я совершил в высшей степени вызывающий поступок. Я купил Элизабет реактивный самолет, на котором мы вчера прилетели. Стоил он, новехонький, девятьсот шестьдесят тысяч долларов. Неудовольствия это у нее не вызвало.

26 сентября 1968 г., Париж. Мы работали с семи часов вечера примерно до четырех утра. <…> Элизабет отправилась репетировать и “проверять” костюмы. Надеюсь, она успеет вернуться до того, как я уеду. Прошло лет семь или восемь, а я все еще скучаю по ней, даже когда она идет в ванную.

8 ноября 1968 г. Вчерашнюю запись я сделал, когда миледи, как я думал, крепко спала, а затем я стал просматривать сценарий, и тут вдруг дверь спальни распахнулась и на пороге возникла Э в прозрачной ночной рубашке, соскользнувшей с одного плеча. Так что на десять минут мне пришлось отправиться в постель. Я был недвусмысленно соблазнен, и весь день, когда мы говорили по телефону, я ее поддразнивал. Она была удивительно красива. Факт остается фактом – после стольких лет эта женщина все еще краснеет. Я потерял эту способность очень-очень много лет назад.

10 ноября 1968 г. Мне теперь сорок три. Сейчас девять утра. Небо серое, но, похоже, день будет солнечный. Вчера все было восхитительно. Мы пили “отвертку”, но умеренно. Играли в

карты, в Джин Рамми, по тысяче долларов за очко. Я выиграл 648 тысяч долларов! Чек взять отказался. Сказал, что придется заплатить натурой.

19 ноября 1968 г., Париж. Какими бы мы ни были знаменитыми и богатыми, сколько бы нас ни баловали и ни проклинали, сколько бы нам ни платили, сколько бы вокруг нас ни суетились, нет в нашей жизни ни скуки, ни пресыщенности. Мы никому не завидуем. Нам просто повезло.

Всю жизнь я был необыкновенно везуч, но самое мое большое везенье – это Элизабет. Она сделала меня нравственным человеком, но не резонером, она безумно притягательная возлюбленная-любовница, она застенчива и остроумна, она умница, она блистательная актриса, она красива так, как ни одному порнографу не снилось, она может быть надменной и упрямой, она милосердная и любящая, она – *Dulcis Imperatrix*, она – дитя воскресенья, она может терпеть меня невыносимого, меня пьяного, она – моя боль в сердце, когда я не с ней, и она любит меня!

22 декабря 1968 г., Гштад. Мы приехали вчера, в жутчайшем состоянии. Я был в самом мерзком расположении духа, оскорблял всех, кто был справа, слева, сзади, спереди. Элизабет немного повопила. Я заявил, что она ипохондрик, что болеет только тогда, когда сама пожелает. Странно, сказал я, в Париже, когда тебе надо было работать, ты и пошевелиться не могла, а оказавшись в Гштаде, скачешь молодой козочкой. И я никак не мог слезть с этой темы. Это как про человека, который на машине чуть не сбил ребенка, а потом на него накинулся за то, что бедняжка его напугал. Ору я на Э потому, что боюсь за ее здоровье. Я постоянно только об этом и думаю.

29 марта 1969 г., Пуэрто-Вальярта. Элизабет загорела и выглядит умопомрачительно, хотя для пика формы этой ленивой с… нужно скинуть несколько фунтов. Я смотрю на нее самым критическим взглядом и не могу углядеть никаких признаков старения, разве что седых волос изрядно прибавилось. Кожа у нее по-прежнему гладкая, молодая, без морщин. Грудь, несмотря на объем и значительный вес, обвисла совсем чуть-чуть – но она была такой же и десять лет назад. Попка у нее крепкая и круглая. Ей нужно немного поработать над животом, но вчера она много плавала, и если будет продолжать в том же духе, все подберет к нашему возвращению в Лондон.

4 апреля 1969 г. Вчера был забавный денек. Первая его половина прошла великолепно, а в 3:30 пополудни дошло до перебранки. В основном по моей вине. Э, конечно, меня и не пыталась остановить, наоборот, огрызалась в ответ с почти мужским напором. Диалог был примерно следующий:

Я (*около восьми вечера, поднявшись наверх, в спальню, чтобы почитать*): Это из ванной все еще воняет?

ОНА: Да.

Я: Вроде не похоже. Может, это от тебя?

ОНА: Пошел ты на …! (*Выходит из спальни, спускается вниз, я продолжаю читать*.)

ОНА (*возвращается в спальню минут через двадцать, стоит с лицом, искаженным злобой, в дверях*): Я тебя терпеть не могу, ненавижу.

Я (*надевая халат*): Спокойной ночи, добрых снов.

ОНА: И тебе того же.

NB: Для тех, кто будет знакомиться с этими зарисовками из семейной жизни Бартонов, следует отметить, что хотя слова употребляются вполне невинные, произносятся они с неподдельной злобой.

25 мая 1969 г. Что за удивительный мир! Как можно прожить с одним человеком тринадцать лет, а с другим – восемь, и чтобы оба были тебе словно чужие? Элизабет – вечная история на одну ночь. Она моя лично приобретенная любовница. И как она при этом сластолюбива! Невозможно рассказать, что такое совместимость в любви. Нет, все-таки расскажу. Э – как приемник. Она ловит и возвращает любой мяч! Я редко пишу про секс, потому что смущаюсь, но…

6 августа 1969 г. Сегодня утром Э сказала, что я не умею быть верным. Этой с… только и говорить о верности! Список ее “неверностей” длиннее, чем телефонная книга Нью-Йорка! Хотя своим детям она верна всегда. И здесь она меня побеждает, потому что своим я верен не был.

31 августа 1969 г., утро воскресенья. Вчера был очередной жуткий день. Я вел себя так, что духи преисподней по сравнению со мной – добрейшие и милейшие создания. Оскорблял Элизабет, пил, время от времени довольно убого приносил извинения, а потом опять начинал буйствовать. Порой я так похож на своего отца, что меня аж в дрожь бросает. У него был тот же дар – все крушить своим поганым языком, у него были те же приступы

бешенства, он был так же верен маме, как я Элизабет, он был так же поверхностно образован, он был таким же дидактитичным (готов поклясться, что я написал это слово неправильно), мы с ним одинаково пылко отстаиваем свою невиновность в тех случаях, когда точно знаем, что виноваты на все сто.

Пора будить Мейзи [ЭТ]. Жизнь без нее проходит впустую.

2 октября 1969 г., Женева. Мы вышли из музея изящных искусств, а таксист исчез, правда, через несколько минут подъехал, что особенно мило – с розой для Элизабет. Где-то перед ужином я снова впал в задумчивость. Долгие паузы прерывались жуткими оскорблениями. В какой-то момент Э, поняв, что у меня приступ вредности, сказала: “Ричард, возьми меня за руку”. А я: “Не желаю я трогать твои руки – они такие огромные, уродливые, красные, совсем мужицкие”.

Сегодня утром Э сказала, что я просто обязан купить ей кольцо с бриллиантом в шестьдесят девять каратов, чтобы руки ее казались меньше и не такими уродливыми. Никто не умеет так быстро и умно обернуть оскорбления себе на пользу, как леди Элизабет.

18 ноября 1969 г., Монако. Сегодня рано утром кастрюля решила напасть на чайник и сшибла ему ручку. Э, кастрюля, нанесла этому чайнику, мне, серьезные повреждения. Меня холодно обвинили во всех возможных грехах. Пьянство (справедливо), лживость (справедливо), занудство (справедливо), неверность (несправедливо), стремление поскорее себя погубить (справедливо), гордыня-зависть-жадность (все справедливо), уродство (справедливо), былая красота (несправедливо) и все прочие пороки, кроме гомосексуализма и отсутствия великодушия.

29 марта 1970 г., Мехико. У нас с Э своего рода перемирие. Обе стороны вооружены до зубов и готовы начать бомбежку, но на кнопку пока что никто не нажал. Первые шесть месяцев нашего года отдыха прошли впустую. Разве что, оставаясь наедине, мы непрерывно грызлись и скандалили, но наедине мы почти и не были. Слава богу, скоро снова за работу.

3 июля 1970 г., на съемках в Мехико. Вчера приехал в Мехикали, снял на день номер в “Люцерне”, позвонил Элизабет. Разговаривать с ней было счастьем. Впервые в жизни я оценил телефон, который так презираю. За пару часов я поговорил с ней дважды! Она сказала, что соскучилась по мне так же, как я по ней,

что ночью она почти не спит, а увидев мои носки, чуть не расплакалась.

7 октября 1971 г. <…> Хорошая новость: с Делоном мне придется сняться только в трех сценах “Убийства Троцкого”[4]. Он настолько непрофессионален, что работать с ним пытка. Но в этой роли он, наверное, будет на своем месте: Э говорит, он отлично играет всяких гангстеров-убийц. Еще я рад, что у меня только один эпизод с мисс Шнайдер (забавно, ее фамилия по-немецки значит “портной”, совсем как Тейлор) – по слухам, с ней работать нелегко. <…> Рон, как обычно мрачно глядя в будущее, сообщил, что она погубила фильм, который они снимали в Израиле[5], – тот, где Ричард Харрис[6] играл главную мужскую роль и был режиссером; Рон говорит, это должен был быть милый фильм про мальчика, обожающего одного футболиста из ветеранов. Но, продолжил он, обуреваемый еще более мрачными предчувствиями, она затащила мистера Харриса в постель и, в буквальном смысле изнасиловав, заставила превратить все в историю любви между ней и мистером Харрисом, который играл футболиста. “Держи ухо востро, – говорит Рон, – и не теряй головы. Берегись октябрьских ид!” “Да ладно тебе, – говорю я с видом полной невинности, – это Джо Лоузи пусть держит ширинку застегнутой – в смысле, он же режиссер, а не я!” “Ты, Рич, не обижайся, – говорит он тоном умудренного жизнью старца, – ты парень красивый, а Роми зуб отдаст, лишь бы увести тебя от Элизабет Тейлор”. “Ладно, Рон, – отвечаю я, – буду вызывать на съемочную площадку Элизабет всякий раз, когда мне придется работать с этой жуткой Брунгильдой, а поскольку у нас с ней всего одна сцена и максимум два съемочных дня, думаю, на этот раз Бискайский залив мы пройдем спокойно”. “Э-э-э, – говорит он, – она из тех, кто притащится в свой свободный день, скажет, что хочет посмотреть, как ты работаешь, потому что ты великий актер. Так что, Рич, повторяю, будь начеку”.

<…> Лучше бы Рон продемонстрировал свои пророческие способности, предупредив меня о Делоне. Вот этот тип уж точно мечтает увести Элизабет Тейлор от Ричарда Бартона. И не думай, Рон, что он не станет пытаться. Такой тип людей мне очень хорошо знаком. Этакий вечный малолетний преступник, который заводится от того, что общается с подонками общества. Женщины на таких падки. Чем-то напоминает Фрэнка Синатру, Джорджа Рафта[7] и Стэнли Бейкера[8] в привычных им средах обитания, но в таланте – во всяком случае, Фрэнку – явно уступает. Собственно, про его актерское мастерство мне известно очень

немного, я видел его только в фильме “Рокко и его братья”, снятом где-то в начале шестидесятых. Кажется, фильм Висконти, Делон там прехорошенький, и Висконти (с которым он, как я слышал, несколько лет сожительствовал) вместе с камерой любовно и почти сладострастно оглядывает все его тоненькие косточки – то одним долгим крупным планом, то другим. Впрочем, в нем, видимо, что-то было, потому что из этого фильма я запомнил только его, несмотря на то что основной успех, все награды и похвалы критиков достались совсем другому актеру.

7 ноября 1971 г., Рим. <…> Некоторые девицы в таких обстоятельствах [без макияжа] выглядели столь кошмарно, что весь “интим” тут же и заканчивался. Поспешное бегство на жесткий холодный свет утра часто бывало вынужденным. Самая мерзкая история из всех случилась в Канаде, в Виннипеге. Шел 1945 год, моя часть стояла несколько месяцев в местечке под названием Портаж-ла-Прери, в шестидесяти милях от Виннипега. Мне было двадцать лет, эрекция у меня была перманентная, и я мало о чем еще мог думать. Вследствие своей малообразованности я боялся и стыдился мастурбировать и позволял себе этим заниматься, только когда доходил до совершенного отчаяния, поскольку, кроме вышеупомянутых страха и стыда, чувство собственного достоинства вопило “Позор!” при мысли о том, чтобы истово себя ласкать в грязном общественном туалете или в казарме ВВС в окружении тридцати спящих человек. Раз в десять дней нам давали увольнительную на тридцать шесть часов, и шестьдесят разгоряченных юношей, ковылявших на трех ногах, заполоняли бесконечно скучный Виннипег. Однажды я отправился исследовать улицы. Делать там было решительно нечего. Я побывал в парках, кинотеатрах, на центральной площади. Около одиннадцати вечера, когда я решил, что этот чертов город безнадежен и здесь окопалась Ассоциация молодых христиан, идя по какому-то переулку, я вдруг услышал звуки буйного веселья. В те времена Виннипег засыпал к десяти часам, а уж веселья, тем более буйного, там и вовсе не случалось. Звуки, определил я, доносились из дома, где окна были занавешены, но свет в них горел. Я решил напроситься в гости. Там было человек восемь, все пьяные и пожилые – им было примерно столько, сколько мне сейчас, то есть лет по сорок пять, все – как истинные обитатели Северной Америки – толстяки. Приняли меня с распростертыми объятьями. С приезда в Канаду я не выпил ни глотка, поэтому был безумно счастлив, когда мне предложили самому себе налить. Я спросил, что празднуют – может, чей-то день рождения? Мы только что пальнули из

новенького браунинга, ответили мне. До меня не сразу дошло, что речь идет об атомной бомбе. Когда я спросил, мне сообщили какие-то подробности. Я был рад, жалел только, что узнал все это от канадцев, которые нас терпеть не могут. Естественно, я тогда и не подозревал обо всем ужасе атомного взрыва. Вечеринка продолжалась, и около половины первого я ушел – отправился в центр города. Я был изрядно пьян. И вот на одной из главных улиц я увидел одинокую женщину. От выпитого я осмелел, да к тому же радовался, что не придется воевать с японцами. Гарантированная жизнь куда важнее гарантированной медали. Не помню, как я договаривался с дамой, помню только, что выглядела она вполне прилично и было ей, как мне показалось, лет тридцать. Старовата, но не настолько же! Мне говорили, что проституток в Виннипеге нет, видимо, она была солдатской женой, которая решила отпраздновать сброшенную атомную бомбу и близость окончания войны. Она повела меня к себе. Квартирка была однокомнатная. Мы трахнулись. Не могу сказать, что мы “занимались любовью”. Просто трахались. А потом заснули. Комната была маленькая, и всю ее заполоняла двуспальная кровать – места там, кроме нее, хватило только на стул с прямой спинкой. Проснулся я от детского плача. Было совсем раннее утро, даже толком не рассвело. Я повернулся посмотреть на лежавшее рядом существо. Она оказалась до отвращения мерзкой. Лицо порочное. Старое. Никакие не тридцать, а пятьдесят. В тусклом свете фонарей и в темноте комнаты она выглядела не так кошмарно. К тому же, полагаю, выпивка и неуемное желание обусловили некоторую расфокусировку моего зрения. А еще на ней был толстый слой косметики. А утром она оказалась совершенно отвратительной. В квартире был крохотный санузел, которым я пользовался ночью. Я едва успел до него добежать, и меня вывернуло. Затем я оделся и, стараясь выказать дружелюбие, которого нисколько не испытывал, спросил, откуда доносится плач. Один угол комнаты был отгорожен занавеской. Женщина ее отдернула, и я увидел колыбель с младенцем. Я дал ей каких-то денег и ушел.

9 февраля 1972 г., Будапешт. Мы с Э вчера делали вечернюю зарядку вместе. Особенно забавно, когда во время бега на месте ей приходится поддерживать свои груди – одну левой рукой, другую правой, потому что они хоть и упругие, но довольно большие и поэтому мотаются туда-сюда, а это завораживающее зрелище, и будь оно доступно зрителям, заворожило бы немало народу. Миллионов десять.

Дневники Бартона заканчиваются мартом 1972 года, а после 1975 года он пишет от случая к случаю. В этом промежутке они с Тейлор развелись. И вновь поженились шестнадцать месяцев спустя, 10 октября 1975 года.

6 октября 1975 г., Йоханнесбург. Э в роскошной форме. Когда она сказала, что нам нужно пожениться на этой неделе в Чобе, я думал, она шутит. Но оказалось, что она всерьез. В результате после наполовину шутливых, наполовину горьких наскоков Э, продолжавшихся всю вторую половину дня, я сказал ей, что боюсь! В буквальном смысле боюсь, потому что брак может окончиться ужасным разводом. Конечно, мы снова поженимся, если Э так хочет, но только после того, как я преодолею свой страх, а поскольку сейчас я до безумия счастлив, не хочется портить эти мгновения!

7 октября 1975 г., Йоханнесбург – Чобе. Пришлось садиться на полосу с травяным покрытием. Успела привидеться смерть с косой. Левая стойка и левое шасси подвели. Думаю, мы были в шести-восьми-двенадцати дюймах от царствия небесного. Решили пожениться тут как можно скорее, если только Э (или я) не передумает (или я). Люблю ее сверх всякой меры и больше всего. Она крепко спит. Не могу дождаться, когда Э проснется.

10 октября 1975 г. Жутко напились, но, несмотря на все мои идиотские выходки, в том числе и мерзкие, счастливы как дети. Все время перехватывает дыхание, смотрим друг на друга и говорим с радостным удивлением и восторгом: “Эй, а ты понимаешь, что мы на самом деле женаты?” Никогда в жизни я не был так счастлив. Э вылечила меня своей любовью и неизбывным вниманием. Этот брак куда лучше первого, несмотря на то как глупо (и опасно) он начинался.

Бартон и Тейлор развелись второй раз меньше чем через год после свадьбы в Чобе. Их история возобновилась в 1983 году, когда они должны были вместе играть на Бродвее в “Частных жизнях” Ноэла Коуарда. К тому времени у Бартона уже был роман с Салли Хей, которая впоследствии стала его последней женой.

13 марта 1983 г., Нью-Йорк. Ходил к ЭТ, которая живет в квартире Рока Хадсона[9]. Книг нет или почти нет. Квартира кошмарная. С лицом у Э все в порядке, но фигура – увы и ах! А еще она пьет. А еще – даже пьесы не прочитала. Моя девочка. На меня нахлынула сентиментальность. “Умоляю, ради меня, не

женись на Салли как можно дольше”, “У меня никого нет”. Она очень одинока. Жалко ее. Она в полном раздрызге. Бедняжка. “У меня никого нет” означает: “Никто не хочет меня просто как меня”. И это тоже правда!

14 марта 1983 г. [на репетиции]. ЭТ все еще пьет. Говорит, что только вино. Даже свой текст толком читать не могла. Эти семь месяцев будут очень долгими. ЭТ начинает меня раздражать, а ведь когда-то давно я такого и представить себе не мог. Какая ужасная штука время!

15 марта 1983 г. ЭТ опоздала всего на пятнадцать минут, но потом еще пятнадцать минут – занималась своими бровями. От нее несет чесноком – ну кто ест чеснок за завтраком? Она точно на чем-то сидит, потому что некоторых реплик вообще произнести не в состоянии [подчеркнуто]. Очень это тревожно. Каждые полчаса думаю о том, как она одинока.

20 марта 1983 г. Пошел к ЭТ на бранч. Яйца “бенедикт”, жареная картошка, горошек. Все, кроме меня, пили “Мимозу”. Прошел с ЭТ второй акт, полный кошмар. К этому времени она была уже никакая и реплики не могла даже читать. Я опять очень за нее боюсь. Она в полном разборе.

21 марта 1983 г. ЭТ лучше не становится. Салли видела, как в 12:30 она пила “Фернет Бранка”, а потом, нисколько не скрываясь, налегала на белое вино. Поскольку она с трудом выговаривает слова, день получается нескончаемым.

22 марта 1983 г. ЭТ весь день была беспробудно пьяна. Настолько, что даже не могла читать свой текст. Ненавидящая и ненавидимая. Боже, как же мы были счастливы оказаться дома.

Дневник Ричарда Бартона заканчивается началом апреля 1983 года. В июле он женился на Салли Хай, а 5 августа 1984 года умер во сне от кровоизлияния в мозг в возрасте пятидесяти восьми лет.

Эрик Ханут
Марлен дитрих: I wish you love [10]

Перевод с английского Андрея Куприна

Этот старый телефон, обмотанный скотчем, давно стал музейным экспонатом и теперь кочует с выставки на выставку как свидетельство последних лет жизни великой Марлен Дитрих. По сути, ее единственная связь с миром. По нему она изредка давала интервью газетам (за деньги, разумеется!). По нему общалась с великими мира сего, включая президентов Франсуа Миттерана и Рональда Рейгана. Последний сам ей позвонил, когда приехал в Париж с государственным визитом, мол, Марлен, нам, голливудским ветеранам, надо бы повидаться. “Too late, Ronnie, too late (“Слишком поздно, Ронни, слишком поздно”)”, – сказала она ему тогда.

Случались и другие звонки. В последние годы ее постоянным собеседником стал совсем молодой парень по имени Эрик Ханут. У него занятная история. Сам он родом из Бельгии. Родители погибли в автокатастрофе. После этого он оказался в детском доме, откуда его забрала к себе тетка – одинокая стареющая актриса, коротавшая дни в большой запущенной парижской квартире. Мальчик рос среди погасших звезд, способных существовать лишь на дальней границе реального мира. Страшась одиночества, тетка отвела ему роль, с которой мало кто мог бы справиться: просто находиться рядом. Эрик рано стал подрабатывать (похоже, не слишком легальным и достойным способом). Мечтал о том, чтобы стать актером. Путешествовал по Европе автостопом. Много пил. А однажды утром решил утопиться в гамбургском порту. Шел 1987 год. Через несколько дней ему исполнялось двадцать лет. И вот, уже глядя в маслянистую воду, в которой отражалось серое небо, он услышал песню. Знакомый хрипловатый женский голос пел об одиночестве в большом городе: “Allein in einer grossen Stadt…” Юноше показалось, что эта песня посвящена ему. Он различил в ней эхо собственного крушения. А ведь разделенная печаль – это уже что-то. Он сразу узнал, чей был голос. Когда ему было восемь лет, тетка водила его на концерт Марлен Дитрих. Он навсегда запомнил женщину в серебристо-розовом платье с блестками, стоявшую на краю сцены с абсолютно прямой спиной, как солдат на посту. Эрик передумал топиться, вернулся в Париж. Теперь он живет в Сан-Франциско, стал известным фотохудожником. А еще

он написал книгу – рассказ о себе и о Марлен.

Они никогда не встречались, но пять лет разговаривали по телефону. Иногда она звонила ему, иногда он. Что тут правда, а что “бель леттер”, понять сложно. Автор утверждает, что никогда не записывал их разговоры на пленку (“Марлен бы это не одобрила”). А диалоги, восстановленные по памяти, – опасный формат, который нельзя предъявить в качестве вещественного доказательства. Хотите – верьте, хотите – нет. Говорят, что Мария Рива, дочь и единственная наследница Марлен, даже пыталась судиться с Эриком из-за этой книги. Впрочем, после откровений, которые она обрушила в своем автобиографическом эпосе “Моя мать Марлен Дитрих”, эти телефонные разговоры кажутся невинным лепетом. И все же, когда читаешь книгу Ханута, нельзя избавиться от ощущения, что сквозь весь “шум времени”, всю ложь, домыслы и фантазии, будто с самого дна этого старого раздолбанного телефона до нас доносится неповторимый и единственный голос. Его нельзя сымитировать, и ему бессмысленно подражать. Голос Марлен.

Сергей Николаевич

Разве она еще жива?

Однажды моя подружка Даниэль пригласила меня в какой-то маленький кинотеатр на “Белокурую Венеру” Йозефа фон Штернберга. Было холодно, начало зимы, одолевала тоска. Уж сколько лет я скитаюсь по миру, изредка останавливаясь в роскошной и пустой квартире тетки у парка Багатель. В спальне со мной лишь Ренуар и Пикабиа на стене и бутылка “Джонни Уокера” на прикроватной тумбочке. Я медленно, но верно умираю, тщательно отмеряя яд – чтобы сохранить ясность ума до последнего.

Мы слишком редко видимся с Даниэль, чтобы она поняла, насколько я близок к финалу; однако она чувствует во мне какой-то надлом.

После фильма с Марлен Дитрих мы сидели над дымящимися чашками глинтвейна. Я сказал Даниэль:

– Удивительная женщина. В детстве я был на ее концерте. Она еще жива?

Даниэль нахмурилась и направила на меня укоризненный взгляд прекрасных черных глаз:

– Если бы она это услышала! Марлен живет в Париже, напротив “Плазы-Атени”. Она одинока и больна. Напиши ей.

Из хронического чувства противоречия я проворчал:

– Почему это я должен ей писать?

Однако дома немедленно принялся за письмо, но это было не просто письмо от поклонника. Когда-то в Гамбурге она поведала мне о своем одиночестве, теперь я рассказал ей о своем.

Через пять дней раздался телефонный звонок. Один в квартире тетушки, я сидел в большом кабинете, затянутом блеклым бежевым бархатом. В окна стучал дождь. Я поднял трубку.

Далекий глуховатый надтреснутый голос произнес:

– Алло, это Марлен…

Я сразу понял, что это Даниэль так шутит. Розыгрыш мне не понравился, и я бросил трубку.

Через минуту телефон зазвонил опять. Тот же голос подтвердил:

– Я настоящая Марлен Дитрих, а ты настоящий грубиян.

Я что-то пробормотал, извиняясь. Сердце бешено билось. Убедившись в произведенном эффекте, она стала меня успокаивать:

– Люди часто думают, что это розыгрыш, но я далеко не всегда перезваниваю.

Мне уже не узнать, почему она перезвонила в тот день. Ее голос поднимался из бежевого телефона, как дым над ложбиной в Дели. Мы оба знали, что слава – единственное, что остается тем, у кого нет счастья. Всей своей безрадостной жизнью я был подготовлен к встрече с Дитрих, чтобы, пробившись сквозь ее легенду, как можно быстрее подойти к ее подлинной человеческой сути.

То, о чем говорить “не положено”

Не раскрою секрета, если скажу, что Марлен пила, и порой немало. Все биографы твердят об ее алкоголизме. После ее смерти многие говорили, печально и многозначительно закатывая глаза: “Дитрих пила”.

А я продолжаю думать: “И правильно делала, что пила!” Марлен знала: для нее все позади. Давным-давно ушла молодость. Изумительной красоты ноги, что принесли ей славу, были поражены болезнью. Можно ли упрекать страдающего онкологией последней стадии в том, что он принимает слишком много морфия? Мало кто терял столько, сколько Дитрих, ведь очень немногие имели так много, как она. Осуждающие ее похожи на человека, который не подаст ни гроша бездомному под предлогом, что тот потратит деньги на выпивку. Так знайте: с бутылкой дешевого вина грязный подземный переход ненадолго превращается в уютную спальню, а пустая квартира наполняется

добродушными призраками.

Через несколько месяцев после нашего первого разговора я сказал, что помню вечер, когда побывал на ее концерте. Она не поверила, возразив, что я слишком молод, чтобы помнить ее выступления. Я стоял на своем. Она в раздражении повесила трубку.

Прочтя у Данте: “Тот страждет высшей мукой, кто радостные помнит времена”[11], я понял, что настаивал зря.

Марлен встречала свой закат в одиночестве – как и я. И кто посмеет нас обвинить? Она никогда не говорила пьяным голосом, но я слишком хорошо научился отличать с трудом рождающиеся фразы, когда нужное слово прячется в тумане шампанского. Однажды я спросил у нее:

– Зачем вы пьете?

– С ума сошел?! Я пью только холодный чай. Ненавижу спиртное, – ответила она и повесила трубку, после чего не звонила целый месяц.

Она не любила говорить о своем пристрастии к алкоголю, однако сама постоянно донимала меня расспросами – словно нарочно. Марлен никогда не спрашивала напрямую, почему я пью. Ей нравилось давать советы, как бросить эту привычку: “Займись спортом! Прекрасный выход для вредной энергии”. Или: “Кури! Курить – это очень хорошо”. Марлен была убеждена, что сигареты не наносят никакого вреда. Она бросила курить задолго до нашего знакомства, но по-прежнему обожала запах табачного дыма.

Не уверен, что Дитрих в последние годы была уж настолько затуманена алкоголем, как заявляет ее дочь, чьи воспоминания я внимательно и с почтением прочел. Женщина, с которой я говорил часами, вовсе не была похожа на алкоголичку.

Марлен Дитрих страдала оттого, что ее легенда уже давно существует отдельно от старой, хрупкой женщины, какой она стала в последние годы жизни.

Она сделала выбор и сгорела в пламени собственной славы. Я уважаю ее за это. О Дитрих сказано почти все, что надо было сказать. Кроме, быть может, одного: ее путешествие во времени только начинается. И – как она часто мне повторяла, не ведая, что фраза Рильке и обвиняет, и защищает ее, – “с красоты начинается ужас”[12].

В течение последних лет жизни Марлен оборвала множество связей. Все близкие ей люди прошли через смерть дружбы. Что ею двигало – желание избавить их от созерцания поверженного идола? Или просто она чувствовала, что уже отыграла свое?

Робер де Монтескье написал как-то, отклоняя приглашение:

“Прежде мне нравилось, когда меня разглядывают, но теперь я не получаю от этого удовольствия. Каждый любит делать то, что у него хорошо получается, а мое время показывать себя прошло”. Марлен терпеть не могла литературу высокого стиля и наверняка не читала этих строк. Почему же она стала затворницей: чтобы защитить свою частную жизнь или чтобы продлить легенду?

“Жан Кокто однажды сказал, что я сама выбрала для себя одиночество. Он прав”. Она написала эти строки в 1984 году. (К тому времени она жила в уединении уже восемь лет, и еще восемь было у нее впереди.) Эти слова кажутся мне излишне пафосными. Как решиться оставить свет, если только в нем твое убежище?

Она была глубоко одинока. И непреклонна в отказе от всякой помощи. Она решила пройти чистилище одна. Некоторые принимали это за скверный характер, но я чувствовал, что это не что иное, как окончательное и страшное утверждение собственной независимости. Ни капли жалости к себе. Ни под каким видом.

Когда я пожаловался – чересчур настойчиво – на постоянную, хотя и слабую, зубную боль, она сменила тему. Вспоминая о кровавой и уже далекой войне, она мрачно заметила, что по сравнению с той войной “наши маленькие европейские неприятности” совершенно ее не трогают.

Никогда не забуду этого урока.

Она задула свечу задолго до своей физической смерти. В радиоинтервью 1962 года Марлен заявила: “Конец моей жизни не будет похож на “Сансет бульвар”. Даже если я перестану работать, я найду чем заняться. Те, кто уходит в собственные воспоминания, – люди второго сорта”. Тридцать лет спустя ее речь будет пересыпана словами: “ужас, ужас, ужас”. Это слово подытоживало отчаяние, с каким она смотрела на мир, который уже не узнавала, – мир, из которого бежала, испытывая мучения утопающего, одновременно страшащегося и жаждущего бездны. В изоляции она, без сомнения, видела свой последний шанс, мастерски исполненный “финальный занавес”.

Но и там, за этим занавесом, она продолжала создавать “легенду Дитрих”, подобно тому как Пруст – которого, кстати, она терпеть не могла – писал “В поисках утраченного времени” с одержимостью больного, знающего, что дни его сочтены.

Марлен имела обычай заявлять безапелляционным тоном: “Так не положено”. Во время наших последних бесед эта фраза стала почти навязчивой. Я боялся, что однажды она скажет мне, что и по телефону разговаривать “не положено”.

Что ж удивительного в том, что такая женщина выбрала для себя одиночество?

В 1988 году она дала интервью газете “Фигаро”. На бестактный вопрос “Правда ли, что вы больше не покидаете свою квартиру?” она ответила: “Конечно же, нет. Я часто бываю у друзей за городом. Там меня никто не беспокоит. По улицам Парижа я уже не гуляю, разумеется, но совсем не выходить из дома – какая чушь!” Это было сказано с железным самообладанием дочери прусского офицера, а ведь к тому времени она почти десять лет фактически не поднималась с постели. Имитируя голос своей горничной, она отвечала на звонки и сообщала, что “мадам” у Диора, у врача, в Японии…

Марлен неодобрительно относилась к любым расспросам о здоровье. В крайнем случае об этом можно солгать. Многие старики лгут, чтобы вызвать жалость. Дитрих лгала, чтобы ее не жалели. В конце своей книги, упомянув о переломе шейки бедра, она написала: “Движения мои довольно скованны, но я стараюсь ходить через “не могу”. Поклонники пишут мне, что “крайне огорчены эти обстоятельством”. Я, напротив, ничуть не чувствую себя огорченной. Да, сохраняется хромота, но это не болезнь, и те, кто меня действительно любит, находят мою походку весьма пикантной”.

Она прислала мне книгу. Я долго смеялся, узнавая между строк едкое остроумие Марлен. И только потом мне стал понятен трагизм этих строк, ведь ко времени, когда они увидели свет, она вообще не могла передвигаться без посторонней помощи. Но упоминать об этом было “не положено”.

Никогда не говори, что ты ничей

Однажды зимним вечером, в самом начале нашего знакомства Марлен позвонила мне очень поздно.

– Хотела поговорить с дочерью, но ее номер занят. Мне очень плохо.

Она словно разоружилась, поэтому я стал менее сдержанным, чем обычно. Возможно, именно этого она и ждала.

– Ты задаешь кучу вопросов, – сказала она. – А вот когда я пытаюсь тебя о чем-то спросить, ты отгораживаешься и уходишь в сторону. Почему?

Я возразил:

– Марлен, вы же сами написали в своей книге: “Говорить о себе мне неинтересно”.

– А ты еще веришь тому, что написано в книгах, – в твоем-то возрасте?

Ее удивляло, что я не стремлюсь к карьере:

– Это ненормально.

– В пятнадцать лет я мечтал стать певцом.

– Ангел мой, не смеши меня! Неужели ты правда хотел петь про горячий песок, летние ночи и ушедшую любовь? Какая чушь!

– Но вы же пели, Марлен.

– Во-первых, я ни разу в жизни не пела про горячий песок. А во-вторых, я женщина. Пение недостойно мужчины, если, конечно, ты не Пласидо Доминго. А ты не Пласидо!

Я помню: в тот момент мы почти перешли на шепот. Я один в огромной пустой квартире. Она меня внимательно слушает.

– Знаю, что твои родители умерли… Как это произошло?

– Автомобильная катастрофа.

– Сколько тебе было лет?

– Семь.

– Я тоже очень рано потеряла отца. Нельзя скучать по тем, кого ты так и не успел узнать. Хотя ты был уже достаточно взрослый…

Я приоткрыл заржавевшую с годами дверь. Наступил момент, когда в ее голосе появилась особенная хрипотца и она назвала меня “мой маленький мальчик”. На расстоянии одной мили в Париже, застывшем в снежной тиши, безвестный юноша и величайшая кинозвезда оплакивали свое невеселое прошлое.

– Не верь, что, уничтожая память о родителях, ты их воскресишь. Пусть они останутся мертвыми. Ты не с ними должен бороться, а с тем ребенком, которым ты никогда не был.

В ту ночь я рассказал ей о своей тетушке, о незадачливом усыновлении – я был лишь “допущен к дому”, никакой формальной опеки установлено не было. В тот вечер я поймал себя на том, что признался ей в своем, возможно, самом глубоком страхе – что я никто и ничто. Я был ничей сын, ничей племянник, ничей возлюбленный.

Марлен тихо вздохнула и произнесла:

– Никогда не говори, что ты никто. Никогда не говори, что ты ничей. Ты – мой друг, ты понял?

Я затаил дыхание и не мог произнести ни слова. Наконец-то я был чьим-то другом. Я понимал, что сказанное ею было обещанием. Клятвой, скрепленной навеки в ту холодную ночь.

Затем она заговорила обычным тоном. Марлен вернулась. Я недолго был с ней знаком, но уже инстинктивно считывал ее коды. Они были и моими кодами.

– А теперь поспи. Даже если ты не работаешь, все равно надо спать. – Она пожелала мне доброй ночи и прошептала: – Слушай, если вдруг я скоро умру, скажи себе, что впереди у тебя долгая, полная радости жизнь. И куда бы тебя ни занесло, какая-то частица меня будет всегда с тобой.

Это Марлен

Потребовалось время, чтобы я осознал, что мне регулярно звонит одна из величайших легенд нашего века.

Я не воспринимал величия Дитрих. Я знал о ней очень мало, и это делало наши отношения более свободными. Если бы она позвонила мне впервые сегодня, мое восхищение, вероятно, помешало бы искренности. Мое преклонение перед ней росло постепенно. Она была чиста, как идеал некоего языческого культа, она не придерживалась никаких догм. Длительность наших отношений во многом обязана тому, что мы общались с широко открытыми глазами.

Я быстро понял, что она эмоционально парализована, что душа ее жестоко изранена. Она говорила короткими, отрывистыми фразами – и говорила только то, что было существенным. Без эмоций. Но каждое слово обладало невероятной личностной плотностью, свидетельствующей о ярко прожитой жизни.

Как правило, она звонила мне после обеда, но вовсе не из уважения к какому-то распорядку. Иногда она будила меня поздно ночью, чтобы сообщить, например, что я должен перечитать “Пандору” Гете. Голос ее был от природы глубок, она могла окрашивать его по своему усмотрению и порой, в особых случаях, умела придать ему густой и, как говорят о некоторых редких ароматах, рассыпчатый тон.

Разделенные пропастью в несколько световых лет, мы были двумя одинокими мизантропами, увидевшими друг друга, точно в зеркале. Часто мы болтали о том о сем, а иногда и вовсе ни о чем. Я рассказывал ей про свою жизнь, но чаще вспоминала она – возможно, приукрашивая прошлое.

Может показаться странным, но я точно определял, что звонит именно Марлен. Это не означало, что я ждал ее звонка, – я ничего не ждал. Но подобно тому, как некоторые имеют узнаваемую поступь или особую манеру стучаться в дверь, телефонные звонки Дитрих – с момента, когда звонил телефон, и до момента, когда она вешала трубку, – были не похожи ни на какие другие. Казалось, телефон повелевает: “Возьми трубку немедленно! Это я!”

Сначала было так: она произносила “алло” и затем выдерживала паузу, словно для того, чтобы услышать взрыв аплодисментов. Потом добавляла: “Это Марлен”. Спустя какое-то время она уже начинала разговоры так: “Привет, это ты? Это я. Чем занимался последние дни, мой ангел?”

Она задавала этот вопрос, чтобы завязать беседу. Но наши диалоги были, как правило, монологами Дитрих. Она назвала меня впервые “мой ангел” в один прекрасный день, когда решила, что у меня “ангельский голос”. Она произносила “мой ангел” тоном мягким, точно кашемир. В тех редких случаях, когда она звала меня по имени, она, напротив, говорила очень сухо, почти безлико.

Я никогда не пытался встретиться с ней. Не видел необходимости. Марлен жила скрытно – парадоксальная печать секретности для той, кто так часто позволяла похищать свой образ. Голос по телефону был голосом из фильмов – голосом женщины, чье лицо затуманено сигаретным дымом. Я и не представлял ее себе иначе.

Один и только один раз она предложила мне, будучи в игривом настроении:

– А не выпить ли нам как-нибудь вместе чаю? Хочу посмотреть, хороши ли твои манеры.

Я постарался ответить как можно небрежнее, хотя был совершенно ошарашен:

– Да, конечно… как-нибудь…

Именно такого ответа она и ждала.

Мечта осталась недостижимой. Она сохранила свою власть. Больше мы никогда не касались этой темы.

Профессор красоты

Марлен интересовали люди. Без всякого тщеславия скажу, что и я был ей интересен. Долгое время она настаивала, чтобы я прислал ей свою фотографию. Мне этого не хотелось. Разумеется, я стеснялся. К тому же считал это неуместным. Дитрих уже научила с непоколебимой логикой определять то, что делать “не положено”. Например, отправлять ей свое фото. Я отказывался под предлогом нефотогеничности.

– Твоя фотография нужна мне не для того, чтобы предложить тебе главную роль. Мне надо знать, как ты выглядишь. Имею я на это право?

Сама же она присылала свои фотографии, особенно в начале нашего знакомства. Потом, со временем, это стало случаться гораздо реже. И каждый раз, увидев среди утренней почты большой конверт, надписанный ее крупным почерком, я радовался, как ребенок в день Рождества.

Наконец и я отправил ей свое фото. Она позвонила немедленно.

– Мой ангел, у тебя чудесные глаза, но… – Она помолчала. –

Ты правда меня любишь?

– Конечно, я вас очень люблю.

– Тогда повесь трубку.

– Почему?

– Повесь трубку и сейчас же сожги ту кошмарную рубашку, в которой ты на фото. Ты подвергаешь себя невообразимому риску, надевая на себя такие ужасные вещи.

– Но мне нравится эта рубашка!

– Я могу простить тебе отсутствие вкуса, но не безумие. Сожги ее немедленно!

Рубашку я так и не сжег. Через несколько дней я выбросил ее, что почти одно и то же.

С тех пор Дитрих начала давать мне уроки элегантности. Она стала для меня тем же, чем был Монтескье для Пруста, – "профессором красоты". Тогда я не замечал скрытой материнской нежности в том, что она делала. Теперь, когда я об этом думаю, у меня подступают слезы к глазам.

– Знаю, что у тебя нет денег, – сказала однажды Марлен. – Но, видишь ли, деньги не имеют ничего общего с хорошим вкусом. Ты должен носить белые, черные или голубые сорочки. И никакие другие. Найдешь их в любом универмаге. Я не заставляю тебя покупать от Ланвен!

Так со мной разговаривали впервые в жизни. Это верно, одевался я плохо. По правде говоря, я вовсе не "одевался". Никто не удосужился мне объяснить, что кирпично-красные брюки не идут к зеленой рубашке.

Сегодня вся одежда в моем гардеробе подобрана со вкусом, этому меня научила Марлен. В магазине я часто беру сорочку и возвращаю ее на полку, сказав себе: "Нет, это не то. Ей бы не понравилось".

Впрочем, ее советам я следовал не всегда. Однажды она заявила, что *Habit Rouge* от *Guerlain* — единственная достойная внимания туалетная вода для мужчин.

– Терпеть не могу этот запах! – возразил я.

– Это ненормально! Тебе должен нравиться *Habit Rouge*!

И она немедленно прислала мне большой сверток со всеми изделиями линии *Habit Rouge*, тут был полный набор: одеколон, мыло, крем для бритья, тальк и масло для тела.

Дорогая Марлен, я редко лгал тебе, и то была святая ложь. Я по-прежнему не выношу *Habit Rouge*. Обычно в подобных случаях ты говорила: "Я имею на это право, не так ли?" Содержимое того свертка я раздал. Возможно, людям, которым это досталось, тоже не понравилась эта парфюмерия. А ты покинула этот мир, думая, что я ее полюбил. И даже сказала: "Я была уверена, что *Habit*

Rouge — это именно то, что тебе надо”.

Ревность нужна любви как сама любовь

– Что, если мы поговорим о ревности?

– О каком виде ревности?

– О любовной ревности. Не о зависти, конечно…

– Я думаю, что ревность нужна любви как сама любовь.

– А как же доверие, Марлен?

– Оставь в покое доверие! Доверие не имеет никакого отношения к любви. Бдительность – вот что важно.

– В наши дни ревность кажется таким анахронизмом!

– Давай разберемся! Все пошло с мая шестьдесят восьмого. Каждый получил все, что душе угодно: все начали спать с кем попало. Этот так называемый свободный секс скорее воображаемый, чем реальный. Это мода. Потеря интереса к судьбе пары рано или поздно приведет к вселенской катастрофе.

– Вы имеете в виду пару в гетеросексуальном смысле, с христианской точки зрения?

– Пара – это пара. Нормальное человеческое существо не способно жить в одиночестве.

– Значит, вы говорите и об однополых парах?

– Люди твоего поколения всегда умиляют меня своей глупой уверенностью, будто это они все на свете придумали. В Берлине гомосексуальные пары встречались на каждом шагу еще во времена моей молодости. Не пытайся убедить меня, что твое поколение открыло Америку, о’кей?

– Тем не менее скажите мне, что вы об этом думаете, Марлен?

– Не знаю… Люди любят, вот и все. Если просто секс – то это невроз… Впрочем, теперь, с этой проклятой болезнью, это все равно что ходить по острию ножа! Настоящая любовь освобождает от диктата плоти: ты перестаешь быть рабом своих чувств, потому что спишь с тем, кого любишь.

– Но вы знаете, что значительная часть ваших поклонников геи, не так ли?

– Разумеется, знаю! И что с того? Из меня сотворили какую-то двуполую мадонну, а еще эти статейки в журналах! Все это чушь. Художнику важно только одно – нравится публике то, что ты делаешь, или не нравится. Моя работа им нравится, вот и прекрасно! А кто с кем спит – не мое дело.

– Вернемся к ревности…

– Ах да… Я убеждена, что предоставлять партнеру столько свободы, сколько ему хочется, – значит подвергать опасности

счастье обоих. Это дом на песке. Сейчас с легкостью меняют партнеров. Их дело! Вздумали играть с огнем – пожалуйста, только не опалите крылья! Женщина, которая благословляет мужа на связь с другой женщиной – и наоборот, кстати! – не заслуживает прощения. Двое принадлежат только друг другу. Все прочие варианты просто нелепы. Какой стабильности можно ждать на планете, населенной мужчинами и женщинами, которые изменяют друг другу?

– Любопытная точка зрения…

– Это не “точка зрения”, а чистая правда! Те, кто не хранит верность партнеру, не понимают, что и сами будут преданы. Я их глубоко презираю. Какое жалкое удовольствие! Наше спасение в преданности. А теперь, с этим СПИДом, все стало еще более актуальным. Каждый, кто заражается этим вирусом, – а нынче каждый знает, как он передается, – попросту получает то, что заслуживает.

– Не будьте столь жестокой!

– А ты перестань изображать из себя человека широких взглядов. Тебе это не идет! Разумеется, я имела в виду не тех несчастных, которые уже десяток лет сидят на игле, и не тех, кто заразился во время переливания крови… А вот если кто-то изменяет постоянному партнеру и потом за одну ночь подхватывает болезнь – у меня нет к ним никакой жалости!

– Осторожней, Марлен! Вы говорите о смерти.

– А они что? Неужели не понимают, что их неверность может стать причиной смерти партнера? Ложь убивает чаще, чем винтовки! Спи со всем Парижем, если нравится, и удачи тебе. Но если ты к кому-то привязан, имей к нему хотя бы какое-то уважение, если уж себя не уважаешь.

– Иначе?

– Иначе? Пусть тебя кастрируют, как быка!

Слишком хороша для Голливуда

– Быть красивой – это помеха?

– Я никогда не считала красоту своей профессией, в отличие от многих других актрис. Требовалось быть красивой для роли – и я была красивой. Однако уродливые актрисы тоже делают карьеру. Красота идет изнутри. Если ничто не может заставить ваши глаза засиять, то никакая камера не поможет. Настоящая красота внутри. В противном случае это называется смазливостью, сексапильностью – но только не красотой. А вот быть знаменитой – это настоящая помеха.

– Быть знаменитой? Тогда почему вы избрали карьеру,

главная цель которой как раз стать знаменитой?

– Потому что, когда ты студентка театральной школы, ты еще не знаешь, что тебя ждет. Зубришь текст, вот и все. И впадаешь в немой восторг при виде звезд. Впрочем, я редко узнавала тех женщин, о которых писала пресса. И потом, актеры часто бывают совершенно безнадежны как художники. За редкими исключениями их следует избегать.

– Почему?

– Не заставляй меня говорить о Голливуде! Я вижу, как ты старательно подводишь к этому. Голливуд – это мир, в котором трудно сохранить достоинство. У меня были немецкие корни и воспитание, и это придавало мне силы. Поэтому я и выжила. Для меня было важно только одно – работа. Вышло плохо, начинай сначала! Но чем больше стремишься к идеалу, чем более ты требователен, тем чаще тебя считают жуткой занудой. Это очевидно.

– Вы очень требовательны, согласен, но никак не зануда.

– Это потому, что ты сам жуткий зануда! Во мне есть и положительное, и отрицательное. Я показываю тебе только положительные свои стороны. Это называется хорошими манерами.

В наших беседах мы почти не затрагивали ее голливудский период. Таков был негласный, но твердый уговор. В то время я лишь смутно догадывался о причинах такого табу. Я объяснял это скрытой ностальгией по эпохе роскошных манто, лимузинов и любовников во фраках – эпохе, которая никогда не вернется. Несомненно, истинные причины были гораздо сложнее, как это часто бывает с тем, что кажется очевидным. Дитрих хватило сил остаться собой, несмотря на диктат студий, но она испытывала отвращение к воспоминаниям о голливудских годах – как жертва насилия, которая с отвращением сохраняет спокойствие, давая показания в полицейском участке.

Я начал понимать, что Голливуд для нее символизировал не только ностальгию по ушедшей молодости, но также насилие и унижение. Иногда мне попадались фотографии, сделанные на премьерах и торжественных приемах, – Марлен в шелках. Она заявляла, что Голливуд для нее был всего лишь кинофабрикой – подъем в четыре утра, сон не позднее девяти. Не оставалось времени даже помечтать.

За годы мне удалось собрать обрывки голливудских сплетен так, что она не догадывалась об этом. Понимала ли она, как далеки те события, что продолжали ее волновать? Возможно, понимала. Но всегда говорила о мире кино с большой неприязнью.

Иногда я поражался глубине ее презрения. И получал в ответ: “Почему это тебя удивляет? Голливуд есть Голливуд. Вульгарность словно нарочно была выдумана для этих людей!”

Правда, она делала несколько исключений. Например, Гарбо не была вульгарной – слишком велик масштаб личности. Кэтрин Хепберн царила в ее пантеоне: “Она была слишком хороша для Голливуда”. И все же для Марлен было жизненно важно в меру сил очернять Голливуд.

– Была такая штучка, – сказала она однажды, – которая наградила дурной болезнью каждого второго в Беверли-Хиллз. Если я назову тебе ее имя, ты будешь шокирован.

Она назвала мне это имя, и я был шокирован.

Еще об одном актере, символе мужественности на экране, который был полный ноль в постели, она отозвалась так:

– Даже с мужчинами он оказался безнадежен! За это его прозвали “Великой Иллюзией”.

Грязненькие рассказы умиляли ее. Она поведала мне то, что вогнало бы в краску целый полк солдат. Я не намерен приводить здесь это. Должен признаться, однако, что смотрю теперь на экран другими глазами, когда вижу “упомянутых лиц”.

Гарбо умерла, мои поздравления

Немногие артисты познали такую славу, как Грета Гарбо и Марлен Дитрих. Никому не известно, что думала Божественная о Дитрих. В своих мемуарах Сесил Битон упоминает о том, как однажды они с Гарбо зашли в антикварную лавку. Продавец, переполненный эмоциями, бубнил: “Да, мисс Дитрих, с удовольствием, мисс Дитрих, до свидания, мисс Дитрих”. Если верить Битону, то Гарбо воскликнула, выйдя из лавки: “Ему было не видно моих ног!”

Рассказывают, что Гарбо, прогуливаясь как-то в Центральном парке, наклонилась, чтобы приласкать ребенка, и вдруг с ужасом обнаружила, что его няня – вовсе не няня, а Дитрих собственной персоной, гулявшая с одним из своих внуков. Марлен так часто твердила мне, что о ней написано много неправды, что я не могу, конечно, настаивать на подлинности этого анекдота.

Однажды, посмотрев фильм, в котором американский актер и драг-квин Дивайн сыграл женскую роль, я рассказал об этом Марлен. Она не слышала про такого актера, но мысль о том, что упитанный мужчина надевает женское платье, привела ее в ужас. Фотографии и статьи, которые я потом прислал, лишь утвердили ее в том, что она предчувствовала: Дивайн – это угроза хорошему вкусу.

Спустя несколько дней Марлен, все еще увлеченная темой трансвестизма, доверительно мне сообщила:

– Когда я приехала в Голливуд, про меня писали, что я “новая Гарбо, немецкая Гарбо”. Дело в том, что… – последовало молчание. – Они не посмотрели на мои ноги! У меня красивые ноги… – опять молчание. – А у Гарбо ноги, как у мужика… – продолжительное молчание. – Более того, – продолжала Марлен, перейдя на басистый, мрачный шепот, – я уверена, что Гарбо мужик и есть!

Есть любительское видео семидесятых годов, в котором Гарбо делает упражнения на террасе своей швейцарской виллы в Клостерсе. Трудно не испытать легкий испуг при виде этой высокой, угловатой фигуры.

В те же семидесятые Марлен колесила по миру и каждый вечер выходила в легкой, как пена, накидке из страусиных перьев перед тысячными залами восхищенных поклонников.

По трагической иронии судьбы, даже после полувекового уединения, до самых последних дней ее жизни, Гарбо не давали прохода папарацци на улицах Манхэттена и Парижа. Существует много снимков Божественной, на которых она, одетая в мужской костюм, выставляет зонтик, чтобы защитить от любопытных взглядов свое морщинистое лицо. Словно то была цена, которую она вынуждена была платить за возможность совершать прогулки по нью-йоркским улицам.

Обе они умерли весенним днем, с интервалом в два года. Первой ушла Гарбо. В своей книге Луис Бозон рассказывает, как Шарль Трене направил Дитрих телеграмму: “Гарбо умерла. Мои поздравления”. Смерть звезды сопровождалась отвратительными слухами о продаже ее праха калифорнийскому кладбищу, предложившему самую высокую цену, – последний привет племянницы, которая, несомненно, считала, что полотен импрессионистов и семикомнатной квартиры в Нью-Йорке, оставленных ей тетушкой, недостаточно.

Марлен, которой я довольно бестактно изложил эту историю, была потрясена. После минутного молчания она воскликнула:

– *Gott*, надеюсь, со мной так не обойдутся!

Это затертое слово “элегантность”

– Что значит для вас “быть элегантной”?

– “Элегантность” – несколько затертое слово. Прежде всего это образ жизни. Если человек элегантен в этом смысле, да еще и одежду умеет носить – тогда с ним полный порядок.

– Элегантность – она как часть тебя, приходит изнутри?

– Очевидно, да – так же, как красота. Иначе говоря, это просто-напросто чувство меры. Но мы уже не раз говорили обо всем этом!

– Тогда поговорим об элегантности в одежде… Кто для вас образец?

– Баленсиага, Шанель, Диор.

– Именно в таком порядке?

– О, эти трое равновелики, каждый по-своему.

– А кто нравится больше лично вам?

– Несомненно, Баленсиага. Одна примерка у него стоит пяти у любого другого. Он потрясающий закройщик. Понимаешь, во всех творениях Баленсиаги есть нечто отчаянное. Очень испанское.

– Как в картинах Гойи?

– Точно, Гойя! Бой быков без золотого глянца. Внутреннее неистовство, красота и смерть… Ты, наверное, примешь это за бред, но я нахожу все это у господина Баленсиаги.

– Это прелестно – то, что вы говорите.

– Я и сама прелестная дама! Не забывай об этом!

Мне нравились эти редкие моменты, когда Марлен становилась раскованной. Когда с нее спадала маска. Во время этих мгновений она могла соперничать с любой школьницей во вкусе к жизни, в том, что французы зовут *joie de vivre*. Суровая Дитрих отходила в сторону – готовая, однако, в любую минуту вернуться. Она продолжала:

– Во времена моей юности в Берлине было все такое расписное, дамы выглядели точно австрийские ларцы – знаешь, все эти аляпистые декорированные вещи – ужас несказанный! Мой поклонник однажды прислал мне для автографа снимок, где на мне был подобный кошмар, включая пальто из леопардовой шкуры. Конец света! Разумеется, я все это носила, потому что была, как все в таком возрасте, идиоткой. Позднее, в Голливуде, я отрыла для себя Трэвиса Бентона. Скорее, мы открыли друг друга…

– То есть?

– То есть мы поняли, что можем многое получить друг от друга. Как два художника. Очень важная для меня встреча.

– Он одевал вас во всех ваших американских фильмах?

– В картинах фон Штернберга. А это самое главное. В Голливуде было только два больших кутюрье: Трэвис и Адриан.

– Адриан делал костюмы для Гарбо, верно?

Я совершил очередную бестактность, обронив имя другого божества.

С подчеркнуто вежливой неискренностью Марлен ответила:

– Не знаю. Он всех одевал в “Метро-Голдвин-Майер”. Иногда умудрялся даже эту солдафоншу Кроуфорд делать элегантной. Это говорит о том, какой у него был талант. Помню, сколько часов мы провели с Трэвисом, обсуждая, куда приладить кожаную планку, пуговицу…

– У вас сохранились эти костюмы?

– Конечно же, нет. Они были собственностью студии. После съемок их отбирали. Но это было неважно, ведь работа была уже завершена.

– Потом ваши сценические костюмы создавал Жан Луи, не так ли?

– Абсолютно! Что за дорогуша этот человек. Он еще жив?

– Думаю, жив.

– *Gott*, должно быть, ему лет сто! Его платья – это просто чудо! Драгоценная паутина. Для моих шоу в театре “Этуаль” он создал роскошную шляпу из страусиных перьев, которую я храню до сих пор.

– Вы еще упомянули Шанель…

– Ее пиджаки и юбки – идеальная униформа для женщин, которым приходится помногу работать. Они никогда не выходят из моды, никогда не теряют формы, даже после восьми часов, проведенных в самолете, совершенно не требуют ухода! Шанель была трудоголиком. Вероятно, ей многим пришлось пожертвовать… Она не могла сшить даже носового платка, но кроила прямо на манекене, как скульптор… Все время что-то придумывала. Была очень здоровой натурой, настоящей крестьянкой. Меня не покидало чувство, будто она вылеплена из грубой, твердой глины. У нее был один недостаток: не умела молчать. И порой несла полную околесицу.

– А что вы думаете о сегодняшней моде?

– Кошмар, это просто кошмар! Что за жуткое создание – этот пухлый блондин, который делает свои костюмы из пластиковых пакетов, в которые заворачивают жареных кур… Женщин теперь не одевают. Их маскируют. Это симптоматично для нашей эпохи. Все так убого.

– Выходит, не осталось *haute couture*?

– Есть несколько кутюрье старой школы, которые продолжают исповедовать определенную идею, но они воспроизводят ее снова и снова до бесконечности. В данный момент ничего нет. Но все скоро вернется.

– Почему вы так думаете?

– Потому что это абсолютно необходимо! Нельзя жить в окружении уродливых вещей.

О России с любовью

Она часто вспоминала Россию. И всегда с любовью – разумеется, идеализированной. В шестидесятые она выступала там с концертами и, по ее словам, нигде больше не встречала такого уважения к артистам.

– В вашей книге вы пишете о русской душе. А что это такое, русская душа?

– Вот у меня – русская душа.

Я про себя улыбнулся. Единственно подходящее определение – то, в котором она сама является участницей.

– Допустим. И все же, что это такое?

– Русская душа – это когда ты постоянно отдаешь. Время, деньги, все.

– И что, русские на самом деле такие?

– Естественно. У меня почти мистическая связь с русскими. Их было полно в Берлине, когда я была молода. Там они нашли приют после революции. Помню величественного старца, торговавшего иконами… Наверное, князь или граф какой-нибудь, точно не знаю… Мне нравится их энтузиазм, их энергия, то, как они могут пить, не теряя разума. Они – трагические дети. Ноэл Кауард однажды сказал, что я “реалист и клоун”. Вот тебе и отличное определение русской души.

– Вы там работали?

– Я ездила туда петь. Артисты там пользуются огромным уважением. Они по-настоящему признаны, имеют положение. Не то что здесь, где к актерам относятся как к цыганам. Журналисты задают умные вопросы. Спрашивают, кто ваш любимый писатель, а не кто любимый кутюрье… Впрочем, по правде говоря, почти все актрисы, к сожалению, больше интересуются кутюрье, чем писателями. Я обожаю Константина Паустовского. Прочла все его вещи. Его книги возвышаются, как романский собор над сельскими церквушками. По прибытии в Москву я выразила желание встретиться с ним. Мне сказали, что это невозможно, что он умирает, и так далее, и тому подобное… Но в тот самый вечер он был на моем концерте. Ушел из клиники специально, чтобы увидеть мое шоу. Есть фотография того вечера… Когда я увидела, как он взбирается на сцену, я встала перед ним на колени. Глупая фотография, но я ее люблю больше всех. Через месяц после этого он умер.

– А есть у вас еще столь же трогательные воспоминания?

– Там все трогательно. Народ, который приходил на меня посмотреть… В России намеренно держат низкие цены на театральные билеты, чтобы каждый мог пойти и насладиться

прекрасным. Какие-то старушки вскарабкались на сцену, чтобы вручить мне три георгина, которые они утром сорвали у себя в саду. Эти георгины дороже всех орхидей, что я получала… Со мной произошел странный случай: я захотела посетить могилу Чехова. Несколько часов бродила по кладбищу, но не могла ее найти. Спрашивала у разных людей, те отвечали: “Идите туда, чуть ближе, в конце той дорожки”. И – ничего! Наверное, из-за того, что я не смогла найти ее… Чехов всегда со мной, меня не преследуют воспоминания о его могиле.

О войне и богатстве

– Марлен, мне хотелось бы поговорить о войне.

– Тебе сколько лет, говоришь?

– Я родился в конце шестидесятых.

– Помнишь, что я написала в своей книге? “Не рассуждайте о войне, если вы в ней не участвовали”!

– А я и не рассуждаю. Я хотел бы, чтобы вы рассказали.

– Все войны – одна и та же история, вновь и вновь, от сотворения мира: сумасшедший держит страну в своей власти и хочет захватить соседнюю.

– Но существуют же религиозные войны.

– Только Бога не приплетай! Это не более чем предлог. Все войны основаны на корыстном интересе.

– А крестовые походы?

– Замечательный пример, ничего не скажешь! Делали вид, что хотят освободить Гроб Господень, и прочая чушь, а потом, добравшись до Иерусалима, провозгласили себя королями, принцами и графами. Куда же подевалась религия? Вздор! Одни только амбиции!

– А исламские войны?

– Алчность, как всегда алчность! Крестьяне хотят завладеть землей соседа. Более того, этими странами правят сумасшедшие.

– Давайте вернемся к последней войне… Вы принимали в ней участие.

– Вот почему немцы меня ненавидят. Когда я приехала туда с концертами, меня закидали помидорами и тухлыми яйцами. Но я продолжала петь как ни в чем не бывало. Тогда они поняли: “Она – одна из нас, нам придется ее терпеть”. Но это не значит, что они меня простили.

– Откуда такая ненависть? После стольких лет?

– Немцы очень злопамятны. Не забывай, что я стала в тридцать девятом году американкой.

– Но вы покинули Германию еще до прихода нацистов к

власти.

– *Ja, ja*… Но я отказалась вернуться. Чем только меня не пытались соблазнить. Геббельс хотел превратить меня в Эгерию Третьего рейха. Я имела бы гораздо больше денег, чем в Голливуде. Знаешь, во время войны немцы знали, что я на фронте, и получили приказ стрелять в меня. Прицельно.

– Вы смелая!

– Нет-нет, ангел мой, смелость тут ни при чем. Если знаешь, что в газовые камеры отправляют беременных женщин, перестаешь думать о себе.

Однажды я спросил:

– Марлен, как вы думаете – богатство совместимо с щедростью?

– …В принципе, да. Но это бывает редко. А ты как думаешь, ангел мой, почему богатые богаты?

– …Не знаю.

– Потому что они сидят на своих деньгах! Все очень просто.

– Вы хотите сказать, что все богатые скаредны?

– Не все, но большинство.

– Почему?

– Это скорее разновидность страха, чем жадность, но результат тот же самый. Особенно если они нувориши. Видишь ли, богатые часто очень скучны. Они склонны к депрессии, у них нет настоящих проблем, если не считать отсутствие индивидуальности. У них нет ничего, кроме пачки банковских счетов.

– Разве отсутствие индивидуальности – это не проблема?

– Это проблема, но она порождена скукой. Я никогда не впадала в депрессию, потому что очень много работала. И вообще раньше это называли не депрессией, а апатией. Это было не модно. Нервные срывы вошли в моду только в шестидесятые, когда все стали жить хорошо. Это – болезнь богатых стран. В варшавском гетто никто не впадал в депрессию.

О дружбе, любви и немного о счастье

– Марлен, давайте поговорим о дружбе!

– Изволь… Дружба – это прекрасно. Это священно. Мне повезло – я дружила с великими людьми. Выдающимися.

– Вы можете определить дружбу?

– Нет. Правда нет. Это все равно что попытаться определить, что такое Сезанн. Еще толком не понимаешь, но уже вознагражден.

– Однако необходимо и отдавать, верно же?

– Конечно. На самом деле жизнь – это череда обменов. А без этого останется только шкурный интерес. Если живешь лишь ради собственного интереса, лучше и не рождаться.

– А между любовью и дружбой большая разница?

– Дружба чище. Ее так же трудно строить, как и любовь. Но легче сохранить. В любви каждый хочет, чтобы было хорошо другому, но еще и себе, хотя бы немножко. Другое дело – дружба. Предавших меня друзей я мысленно убивала. Они для меня мертвы. Даже если до сих пор живы-здоровы. Но это не означает, что любовь менее важна! Вовсе нет. Просто это две разные сферы. В дружбе меньше борьбы. А любовь… Любовь – это ракета, летящий автомобиль. Надо всегда быть начеку, сохранять максимальную скорость, понимаешь? Дружба, как я ее понимаю, – это запасное колесо.

– Не слишком ли прозаично сравнение с запасным колесом?

– Вовсе нет! Попробуй-ка отправиться в путешествие без запаски. Очень скоро пожалеешь.

– А дружба может перерасти в любовь?

– Это отдельный вопрос. Лучше, когда любовь начинается как любовь. Открывать тело после души – иногда этим можно все погубить, не так ли? Надо открывать и то и другое одновременно. Чудовищно заниматься любовью с тем, к кому питаешь только дружеские чувства. Лучше уж ничего не чувствовать. Любви-то может и не возникнуть, а дружбе наверняка конец. Любовь есть любовь. А дружба есть дружба. Ты сейчас в кого-нибудь влюблен?

– Нет.

– Ладно, в таком случае у тебя с кем-нибудь роман?

– Даже этого нет.

– Ах! Роман можно заводить в двух случаях: если уверен, что проживешь с этим человеком всю оставшуюся жизнь, или если знаешь, что никогда его больше не увидишь.

– Как по-вашему, секс – это важно?

– Да, в определенных условиях. Если занимаешься им из чувства долга. Тогда…

– Из чувства долга?

– Ну, чтобы не потерять человека.

– А зачем удерживать того, кого больше не хочешь?

– Господи, ты еще не повзрослел! Каждый разрывается между желанием любить и быть любимым и другим желанием – убежать на свободу.

– Но если чего-то ждешь?

– Чего-то от кого-то? Ты и правда еще совсем ребенок. Нет. Можно считать себя счастливым, если просто кого-то ждешь.

– Что в таком случае счастье?

– Аллегория счастья – это синее небо, чистое, безоблачное небо. Если его сфотографировать, на пленке не будет ничего. Пусто. Ты не боишься пустоты?

– Хотите сказать, что счастье – это пустота?

– Не всегда. Не верь ничему, что я говорю сегодня. Сегодня я говорю как усталая, грустная женщина. Счастье существует, но не жди от него слишком многого.

– Почему?

– Потому что тебя унесет ураган.

– Но вы должны согласиться, что есть доля похуже, чем быть унесенным таким ураганом!

– Ты действительно странное создание. До свидания.

“Да где же ты пропадаешь, негодный мальчишка?”

За десять месяцев до смерти она спросила меня, точнее, заявила:

– Бога, конечно же, нет.

– Я верю в Бога, Марлен.

– Ты веришь, что после смерти что-то остается?

– Да.

Она разразилась неприятным, циничным смехом:

– Что за чушь! Если верить тебе, то мой муж, моя мама или кто-нибудь еще витают над моей головой, пока я тут с тобой разговариваю?

– Без сомнения. Не так примитивно, но почему бы и нет?

– *Gott*, как разумный молодой человек может верить в подобные вещи… С тобой что-то не в порядке…

– Давайте останемся при своем мнении, Марлен.

– Да будь же ты мужчиной! Бог – это утешение! Валиум, пока не изобретен настоящий.

Она старалась гнать прочь сомнения, зная, что близится конец. Ее голос в телефонной трубке терял свою удивительную свежесть. Она задумывалась, выбирая слова, вспоминая. Иногда у меня создавалось впечатление, будто она говорит из-под многометровой толщи воды. Ее ясный ум, ее ирония оставались нетронутыми, но силы постепенно покидали ее.

Нам было интересно

Февраль 1992 года. Я только что возвратился из Довиля. Дождливый зимний день. Прослушиваю сообщения, записанные автоответчиком. Их набралось немало. Когда лента почти закончилась, в комнате зазвучал ослабевший голос Марлен:

– Да где же ты пропадаешь, негодный мальчишка?

Это был ее последний звонок. Я часто слушаю эту кассету. Пленка сильно истерлась, и в голосе появились металлические нотки. Я так и не сделал копию. В конце концов, какое это уже имеет значение?

“Как это литературно!” – прокомментировала бы Марлен.

* * * * *

Среда, 6 мая 1992 года. Марлен умерла. Скоропостижно. Я узнал о ее кончине по радио, сидя в том же бежевом кабинете, в котором разговаривал с ней впервые. А кажется, это было только вчера…

Я выхожу на улицу и брожу до глубокой ночи. Зацвели вишни. Раньше обычного. Я подумал: “Как странно, что она выбрала для своей смерти такой тихий, такой неприметный день”.

Я знал, что она стара и больна. Все это знали. Но она так много пережила. Стала историческим памятником при жизни. А памятники не умирают.

Когда Марлен вносили в церковь Святой Мадлен, раздались звуки “Марсельезы”, напыщенные и банальные, вскоре сменившиеся сентиментальной мелодией “Лили Марлен”.

На пороге церкви плакал худенький, как ребенок, трансвестит. На нем была шляпа с вуалью и нелепый наряд. В любом другом месте он привлек бы внимание. Но не здесь.

Читали “Флаг” Рильке. И еще из Священного Писания: “Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?” (Марк, 8:36).

Обрела или потеряла ты душу, в которую отказывалась верить?

“Хочу лежать в мире, хочу быть одна”, – часто повторяла ты. Теперь ты присоединилась к своей нелюбимой сестре, божественной шведке, которая отворила дверь двумя годами раньше.

Больше не надо прятаться. Пришло время покоя. Наконец-то. Ты спишь на маленьком кладбище в Берлине, рядом со своей мамой. Говорят, то кладбище похоже на сад…

Марлен, спасибо тебе за все. Нам было интересно друг с другом.

Где бы ты ни была, благослови тебя Господь.

Ютта Якоби
Кто она, Цара Леандер?

Фрагменты из книги “Жизнь дивы”[13].
Перевод с немецкого Ольги фон Лорингхофен

> А если уйду я из жизни мирской, да, сэр, не предавайте забвению образ мой, нет, сэр![14]

Пожелание Цары Леандер сбылось. Когда русский писатель Аркадий Ваксберг спустя много лет после ее смерти выступил с утверждением, что шведская певица и актриса, обладательница неповторимого голоса под псевдонимом Rose-Marie (Роз-Мари) была советской шпионкой, это утверждение вызвало бурю откликов в прессе по всей Европе. Своими выступлениями Цара Леандер укрепляла дух немецкой армии, который Геббельс считал основным оружием в войне. Неужели она на самом деле была “товарищем Царой”? В поиске ответа на этот вопрос я и оказалась в садовой беседке уже вышедшего в отставку командующего шведской контрразведкой и в гостях у старшего брата Цары Леандер, который в возрасте ста двух лет еще писал военные трактаты. На основании собранного материала удалось создать радиорепортаж под названием “Мудрые женщины отвечают только: может быть”, как в одной из песен Леандер Kluge Frauen sagen nur: Vielleicht. Досье Цары Леандер.

Я знала Цару Леандер по ее выступлениям на немецком телевидении и уже в детстве испытала на себе чары состарившейся дивы, неповторимый шарм ее пышных одеяний, низкого голоса, раскатистого “рррр”, широких жестов ее необыкновенно красивых рук. А в сущности я не знала о ней ничего, кроме того, что она была шведкой и заслужила осуждение шведской общественности тем, что была кинозвездой в фашистской Германии. Я начала наводить справки в Швеции и очень быстро поняла, сколь интересный материал меня ожидает. Во-первых, Цара Леандер стала известной не в Германии. В немецкий кинематограф она пришла в 1937 году, уже будучи звездой в Скандинавии, и шведская пресса с интересом и гордостью следила за ее карьерой “на континенте”. Но когда она вернулась в Швецию в 1943 году, о ней никто и слышать не хотел. Что же произошло? Конечно, она вступила в сделку со страной, которая полсвета втянула в войну. Но ведь и другие шведы в политике, экономике и спорте грешили тем же. Неужели Леандер должна была одна расплачиваться за грехи, в которых было

виновно полстраны? В поиске ответов на эти вопросы я узнала много интересного как о стране, в которой в то время жила, так и о характере самой дивы. Ей суждено было быть “скверной девочкой”, такая уж ей выпала роль. Годы всеобщей ненависти на родине прошли, но сомнительная репутация осталась даже после ее возвращения на сцену. А что, если она действительно была шпионкой Советского Союза, или Германии, или даже своей родной Швеции?

Загадка Цары Леандер так и осталась неразгаданной, но это ее славе нисколько не вредит, даже наоборот. Сама она прекрасно это понимала и в одном из интервью для телевидения сказала: “Я – Леандер, и этого должно быть достаточно. Я сама не знаю, кто я такая”. Она поистине умела преподнести себя как произведение искусства, и благодаря этой своей многогранности она по-прежнему вызывает интерес публики независимо от возраста. Документальную телевизионную передачу программы АРТ о Леандер недавно повторяли по первому каналу немецкого телевидения, и, несмотря на поздний час, она привлекла миллион телезрителей.

Но и Цара Леандер не родилась на свет дивой. Цара Стина Хедберг родилась в городке Карлстад в округе Вермланд. В этой книге мне было важно проследить ее путь от послушной девочки из обывательской семьи до всемирно известной актрисы, прояснить ее побуждения и на основании документов понять суть ее артистической натуры. Я уверена, что мое восхищение и мой интерес разделяют очень многие, и крайне рада этой публикации.

Ютта Якоби,
сентябрь 2014, Гамбург

Операция “Леандер”

“Цара нас покидает”, – гласит заголовок короткой статьи, опубликованной в газете “Свенска Дагбладет” от 20 февраля 1937 года, сопровождаемой фотографией кинозвезды перед отъездом.

На континентальном поезде в четверг вечером

Цара Леандер покинула Стокгольм, чтобы с мужем и детьми поселиться в Берлине, в районе Дальхайм, где она сняла виллу. В четверг вечером она с обоими детьми села на берлинский поезд, в то время как ее муж выехал в пятницу на машине, которую тоже нужно было переправить на новое место жительства.

Прощальная фотография. Цара с Белем и Йераном в окне поезда. У детей хорошее настроение, они с любопытством и нетерпением выглядывают из-под шапок. На серьезном лице Цары совсем другое выражение, скорее печальное и подавленное. На

организацию переезда в Германию, подготовку детей к новой жизни и на все предотъездные хлопоты у нее было всего два месяца.

Берлин – это же совсем недалеко, прямым рейсом на самолете из Стокгольма или поездом через Засниц – Треллеборг. Именно поэтому она и выбрала немецкую кинокомпанию УФА (*UFA – Universum Film AG*), как позднее утверждала сама Леандер, Берлин был ближе всего к Швеции, о которой она сильно тосковала: “Лондон лучше, чем Голливуд, а Берлин лучше, чем Лондон”. Вполне очевидный во всех отношениях выбор. Для шведов Германия всегда была и остается носителем культуры номер один в Европе. Несмотря на фашизм, в шведских школах до 1946 года как первый иностранный язык преподавали немецкий. “Шведское высшее общество было по традиции столь же доброжелательно настроено по отношению к Германии, сколь враждебно по отношению к советской России. Конечно, были сильны и антисемитские настроения, но прежде все боялись Советов”, – писал стокгольмский историк Гельмут Мюсснер. “Когда Адольф Гитлер хитростью захватил власть, многие сначала посчитали это за благо, поскольку видели в нем ярого антикоммуниста”. Но не все шведы придерживались таких взглядов, и уж наверняка не коллеги Цары. Под каким же влиянием она находилась? Когда Карл Герхард, чью антинацистскую песню “В тени сапога” исполняла звезда, зашел к ней в гости, то с удивлением обнаружил, что вся квартира разукрашена свастикой. “У меня даже не хватило духа спросить, в шутку ли это или всерьез”.

Впоследствии он всегда защищал Цару, утверждая, что она никогда не была нацисткой, а скорее “умелой и находчивой *business woman*”. Но на этот раз он не одобряет ее сделки и в тот же год открыто заявляет об этом в газете *Trots allt!*: “Мне трудно понять, как человек, ни в чем не нуждающийся, может добровольно работать в кинематографе Третьего рейха. Во всяком случае, я считаю недостойным для артиста выступать в стране, где людей заставляют документально удостоверять свою расовую принадлежность”.

Цара обижена. Разве Карл Герхард сам не утверждал, что искусство и политика никак друг с другом не связаны? Отчуждение в отношениях Цары и Карла Герхарда, вызванное этим открытым конфликтом, продолжается недолго. Они регулярно встречаются, спорят, но остаются друзьями, в то время как бывший покровитель и поклонник Цары Торгни Сегерстедт отворачивается от нее в глубоком разочаровании. Главный редактор газеты *Göteborgs Handels– und Seefahrtszeitung* является

основным критиком национал-социализма в Швеции и тем самым становится бельмом на глазу Геббельса. В Царе Леандер Торгни Сегерстедт видел не только многообещающую артистку, но и политическую союзницу. Пытался ли он переубедить ее в эти два месяца, предшествующие переезду в Берлин?

“Цара нас покидает”. На лице женщины в окне поезда страх перед неизвестным будущим, беспокойство и, наверное, неуверенность в правильности принятого решения. На несколько последующих лет это последняя возможность “приблизиться” к ней. Женщина, которая на следующий день сойдет с поезда в Берлине, должна немедленно войти в роль недосягаемой дивы. Именно на эту роль ее и взяла компания УФА.

“До меня дошли слухи, что недоброжелатели и пессимисты в кругах немецкого кинематографа утверждают, что с приходом к власти национал-социалистов киносъемкам настал конец. Так вот, дорогие друзья, сам факт, что я здесь к вам обращаюсь, уже свидетельствует о том, что я буду последним, кто позволит загубить немецкий кинематограф. Вы меня уже достаточно хорошо знаете, чтобы понимать, что я всей душой привязан к искусству кино. Однако немецкому кинематографу до сих пор не довелось выполнить свою важнейшую функцию, а именно носителя и передового борца немецкой культуры. Вместо этого он вынужден был недостойным образом прислуживать прогнившей системе, отставая во всех отношениях. Но теперь все будет по-другому”, – обещал 26 апреля 1933 года новый министр народного просвещения и пропаганды доктор Йозеф Геббельс сотрудникам компании УФА в Нойбабельсберге. Новые правила Геббельса современный историк УФА Ханс Трауб обобщил следующим образом:

“Немецкие фильмы будут впредь сниматься только немцами. Сотрудничество с иностранцами допускается исключительно в случае, если оно оправдано из артистических или культурных соображений. При этом немцами считаются люди немецкого или родственного происхождения. <…> При помощи определения понятий в немецком кинематографе нам удастся в относительно короткий срок искоренить еврейское влияние в съемочном процессе, кинопрокате и кинотеатральном сегменте. Представьте себе, что доселе кинематограф, и в особенности многочисленные мелкие компании, а также режиссура, актерская работа, музыка и сценарии, не говоря уже о руководстве кинопроизводством, находились в руках евреев, и вы поймете необходимость фундаментальных изменений капитального, материального и кадрового характера”.

Начиная с 1927 года УФА находилась в собственности

правоконсервативного печатного концерна Альфреда Хугенберга. Насчитывая пять тысяч рабочих и служащих, УФА была самой крупной немецкой кинематографической компанией. Ханс Боргельт описал, как генеральный директор Людвиг Клитч, не колеблясь, уволил целый ряд сотрудников, в том числе именно тех, кому УФА была обязана своим успехом, и как Хугенберг “и пальцем не пошевелил, чтобы защитить «дружную семью УФА»”.

Длинный список эмигрантов напоминает справочник “Кто есть кто?” Голливуда. Германию вынуждены были покинуть такие превосходные режиссеры, как Фриц Ланг, Эрнст Любич, Макс Офюльс, Отто Преминджер, Билли Уайлдер, такие известные композиторы, как Пауль Дессау, Фредерик Холландер, Ганс Эйслер, Эрих Корнгольд, Оскар Штраус, Курт Вайль, многочисленные талантливые актеры и актрисы, например, Элизабет Бергнер, Эрнст Дойч, Фриц Кортнер, Хеди Ламарр, Пола Негри…

Доселе столь успешный немецкий кинематограф не выдерживает этого массового отъезда. Расплата не заставляет себя ждать: люди перестают ходить в кино. “Ежегодно для рентабельности кинопроизводства недостает ста двадцати миллионов зрителей, что приводит к дефициту в размере ста пятидесяти миллионов марок”. Чтобы скрыть позорные убытки и плачевные результаты расистской политики национал-социалистов, Геббельс решает, что государство должно прибрать кинематограф к рукам. “Имея в своих руках компанию УФА, мы станем самым крупным кинематографическим, печатным, театральным и радиоконцерном в мире, – пишет он в своем дневнике 17 марта 1937 года. – Это позволит мне работать на благо всего народа. Какая почетная миссия!”

Признанные публикой звезды должны помочь снова поставить на ноги немецкий кинематограф.

Марлен Дитрих, в 1930 году уехавшая в Голливуд после успешной роли в фильме “Голубой ангел”, не отзывается на приглашение Геббельса. Она не хочет возвращаться в Германию, где у власти нацисты, даже когда ей в 1936 году предлагают двести тысяч рейхсмарок за каждый снятый в Германии фильм, свободный выбор сценария, продюсера, режиссера и партнеров. В это время Ганс Вейдеман, тридцатидвухлетний заместитель начальника кинематографической палаты рейха, находясь в Вене, обратил внимание на Цару Леандер. Германия может предложить ей роль примадонны кинематографа. Как она на это посмотрит? Никогда и никому ранее не предлагали таких выгодных условий, таких огромных гонораров. Предварительный контракт, заключенный между Царой Леандер и концерном УФА 28 октября

1936 года, имеет следующее содержание:

Нижеподписавшаяся получает исключительный ангажемент на участие в трех фильмах собственного производства или на заказ на период времени с 1.2.1937 г. по 31.1.1938 г. Гонорар составит 200 000 рейхсмарок. Платежи будут совершаться ежемесячно в конце месяца, причем 30 % в рейхсмарках, а 70 % в шведских кронах, поскольку нижеподписавшаяся является гражданкой Швеции. Актриса также обязуется участвовать в иностранных версиях кинопроизводства УФА без дополнительного гонорара. УФА оставляет за собой дублерские права по всем языкам.

> В соответствии с договором УФА обладает правом опции, действительным до 1.10.1937 г. В случае употребления права опции срок действия договора продлевается на 14 месяцев, т. е. до 31.3.1939 г. В рамках опции госпожа Леандер обязана в течение действия договора сняться в четырех фильмах. Гонорар на случай опции составит 300 000 рейхсмарок. Условия выплаты соответствуют условиям, указанным выше для первого периода ангажемента.

Кроме того, УФА обладает вторичным правом опции, действительным до 1.10.1938 г., на 11 месяцев, т. е. на период времени с 1.4.1939 г. по 28.2.1940 г. В этом случае госпожа Леандер принимает участие исключительно в съемках трех фильмов для УФА. На этот период времени гонорар составляет 400 000 рейхсмарок; условия выплаты не меняются.

В остальном действуют общие условия для актеров.

Берлин, 5.11.1936 г., подпись – Ферстерлинг.

Концерн УФА не жалеет денег на востребованный товар. При этом образ, который должна олицетворять Цара Леандер, никоим образом не соответствует пропагандируемому нацистами образу женщины. Что поделаешь, у фильма свои законы. Бодрая блондинка с косичками в рабочей робе не годится на роль богини экрана, и это понятно даже Геббельсу. Он считает кино превосходным средством пропаганды, однако прямой и грубой агитации не позволяет. Посмотрев наскоро состряпанный фильм о герое-мученике национал-социалистов Хорсте Весселе, которому цензура присвоила отметку “представляет особую художественную ценность”, он воскликнул: “Наше движение не заслуживает того, чтобы всякие скверные дельцы своими грязными руками превращали его в китч!”

Сначала Геббельс не особо высокого мнения о венской находке Вейдемана. Разумеется, он уже навел справки. 15 января 1937 года он пишет в своем дневнике: “Эта вейдеманская Цара оказалась врагом немцев”. Может быть, до него дошли слухи о куплетах Карла Герхарда про “сапог”?

Тем временем рекламная кампания новой звезды немецкого кинематографа шла полным ходом. Зрителям фильма-ревю “Премьера” уже преподносили загадочную незнакомку, новую звезду с дальнего севера:

“Кто такая Цара Леандер? Новая находка немецкого кинопроизводителя, шведская актриса, захватывающая игра которой в фильме “Премьера” уже породила волну восхищения в мире кинематографа. На родине в Швеции она уже давно популярна и любима. Своей известностью она не уступает соотечественнице Грете Гарбо. Но неподражаемость певицы и актрисы, ее своеобразная манера исполнения, ее чарующая внешность и стремительный взлет к славе не имеют себе равных!”

Личное дело № 43

Во время войны никто не пересекает границ безнаказанно, и этому пример – голландская танцовщица Мата Хари, казненная во Франции в 1917 году как шпионка рейха. Память о постигшей ее судьбе еще жива в сознании людей во время Второй мировой войны. Красивая женщина, недоступная, независимая и загадочно меланхоличная, в поезде, монотонно отстукивающем километры в направлении Швеции. На ней неприметный костюм, рыжие волосы тщательно скрыты под широкополой шляпой. Мужчина в черном кожаном пальто идет по проходу. Она задевает его, извиняется, мимоходом шепчет: “Здравствуйте, товарищ. Приходите ровно в половине десятого в мое купе в восьмом вагоне”. Несложно представить себе Цару Леандер в этой ситуации. Но это всего лишь фантазия, не больше.

Цара Леандер пересекала границы не только в географическом смысле, но и в социальном. Ее общение с лицами нестандартной сексуальной ориентации и другими группами, преследуемыми нацистским режимом, было бельмом на глазу у Геббельса. Тем, что она была с Геббельсом на короткой ноге и не скрывала этого, она, в свою очередь, вызывала возмущение шведов. То, что “большевик” Карл Герхард был на ее стороне, когда все остальные от нее отвернулись, еще пагубнее отразилось на ее репутации. Все это укрепляло слухи о том, что роль кинозвезды студии УФА – это всего лишь маскировка.

Впервые слухи о шпионской деятельности Цары Леандер

появились в 1941 году. “Цара Леандер расстреляна за шпионаж”, – писали тогда британские газеты. Немецкая пресса поспешила опровергнуть эту “душераздирающую историю” с документальным подтверждением в виде актуальной фотографии актрисы. Однако когда в марте 1943 года после премьеры последнего фильма студии УФА с ее участием она продолжала скрываться, слухи возродились с новой силой. На этот раз никаких опровержений не последовало. Есть основания предполагать, что у гестапо действительно были подозрения в отношении Цары Леандер.

На родине в Швеции к ней относились с не меньшим подозрением. Теперь ею стала интересоваться шведская тайная полиция. За ней следили, ее телефон прослушивался. Слухам не было конца. Может быть, у нее в коровнике установлены секретные радиопередатчики? Может быть, ее поместье на острове Лене служит базой для немецких подводных лодок?

В то же время в тайную полицию поступали сведения шведской коммунистической партии о том, что Цара Леандер – “истинная демократка без малейшего «фашистского душка»”. А как вела себя сама виновница всех этих слухов? Она умела обратить все это в шутку, вспоминал ее сын Йеран Форсель. “Я не удивлюсь, если начнут утверждать, что я работаю шпионкой в Исландии по заданию Ватикана”. Но ей не всегда удавалось хранить самообладание. Такого рода слухи – плохая реклама.

Особенно гнусной была статья, напечатанная в 1947 году французской газетой *France Dimanche*, назвавшей Цару Леандер “величайшей шпионкой всех времен” (на службе советской разведки). После этой статьи у нее был нервный срыв. Она боялась, что не сможет вернуться на сцену. Несмотря на то что никаких доказательств не существовало и не существует, слухи не прекращаются до сих пор.

Летом 2003 года русский журналист и писатель Аркадий Ваксберг выдвинул в шведской и немецкой прессе тезис, что Цара Леандер была агенткой Советского Союза по кличке Роз-Мари в тылу нацистов. Денег она за это не брала и действовала, будучи тайным членом шведской коммунистической партии, исключительно по убеждению. Эти выводы Ваксберг сделал в результате своих изысканий в архивах Кремля. Основным источником его сведений стали магнитофонные записи протоколов советского агента секретной службы Павла Судоплатова, отвечавшего за заграничные контакты НКВД. Выполняя функцию курьера между Берлином и Стокгольмом, Роз-Мари помогала советской стороне правильно оценить ситуацию на севере и понять различные интересы немцев и союзников в

этом регионе.

Год спустя британский историк Энтони Бивор включает этот тезис в свою книгу о любимой актрисе Гитлера Ольге Чеховой и ее шпионской деятельности. Сначала он утверждает, что Цара Леандер, “возможно”, была еще более активной шпионкой, чем Ольга Чехова. Далее в тексте относительно роли Чеховой он пишет: “Во всяком случае, она не была регулярной агенткой, как Цара Леандер”.

При этом аргументы Ваксберга не особенно убедительны. Нет ни одного письменного доказательства того, что Роз-Мари и Цара Леандер – это одно лицо. В этом случае даже ее популярность в Советском Союзе ничего не доказывает. Это скорее объясняется тем, что фильмы с ее участием после войны шли в советских кинотеатрах как трофейные. Именно таким образом поэт Иосиф Бродский впервые о ней узнал: “Не могу не упомянуть еще одно обстоятельство, связывающее меня с Адольфом Гитлером, – любовь моей юности по имени Цара Леандер. Я видел ее только раз, в «Дороге на эшафот», шедшей тогда всего неделю, про Марию Стюарт. Ничего оттуда не помню, кроме сцены, в которой юный паж скорбно преклоняет голову на изумительное бедро своей обреченной королевы. По моему убеждению, она была самой красивой женщиной, когда-либо появлявшейся на экране, и мои последующие вкусы и предпочтения, хотя сами по себе и вполне достойные, все же были лишь отклонениями от обозначенного ею идеала”.

Бродский упоминает также песню Цары Леандер “Новгородская роза”, ставшую шлягером в Советском Союзе. Может быть, за этими строфами скрыта засекреченная информация? – подозревает Аркадий Ваксберг.

Спою про новгородскую красавицу одну:
Любимый с ней прощается, уходит на войну.
“Возьми, любимый, розу, алую, как кровь,
Вернись скорее в Новгород, храни мою любовь!”

Война и смерть повсюду, но месяцы прошли,
Весна вернулась в Новгород, и розы зацвели.
А сердце защемило, наполнилось тоской,
Ведь не вернется милый в свой Новгород родной.

Но эта песня была написана в 1959 году.

Возмущенная непрекращающимися слухами Цара заявила: “Обещаю вам, что тому, кто сможет доказать, что я была немецкой, русской, американской или еще чьей-то шпионкой, я

отдам все свое имущество: поместье, деньги, меха и своих детей в придачу!”

Уже после ее смерти заслуженный шведский дипломат Гуннар Хэгглеф выдвинул еще одну теорию, на этот раз с целью ее реабилитации. “Цара была шведской шпионкой, – утверждал Хэгглеф в 1988 году, – и помогала легендарному шведско-американскому разведчику Эрику Эриксону в выполнении заданий в немецком тылу”. Но на этот раз не последовало никаких доказательств, вместо этого в аргумент бралась неразлучная дружба Цары с Карлом Герхардом, считавшаяся свидетельством ее антифашистских взглядов.

Вернемся к шведской тайной полиции и заведенному на Леандер досье под кодовым названием “Личное дело № 43”, в котором зарегистрирован еще один подозрительный факт: восточногерманская радиостанция бесстрашно транслировала ее песни. В 1947 году находящееся под контролем русских “Берлинское радио” выпустило получасовую программу о Царе Леандер. Последовали протесты в шведской прессе, а корреспондент газеты “Свенска Дагбладет” поинтересовался, понимают ли вообще сотрудники радиостанции, чью музыку передают. Главный редактор музыкальной программы ответил, что Цара Леандер в списки запрещенных артистов занесена не была, но, несмотря на это, у редакции были сомнения, и что ее песни были включены в программу по многочисленным заявкам слушателей. А поскольку ее фильмы стали показывать в нескольких берлинских кинотеатрах, у редакции не было причин не передавать ее песни…

Скорее всего, ее популярность объяснялась тем, что ее “голос, поющий только о любви”, звучал одинаково утешительно как для побежденных немцев, так и для советских оккупантов.

Симона Синьоре
Монро

Фрагмент из книги “Ностальгия уже не та” [15]
Перевод с французского Марии Зониной

Свою книгу она написала на излете жизни. Снималась она редко, хотя каждое ее появление по-прежнему становилось событием. Во Франции умеют ценить стареющих звезд. А Симона Синьоре всегда была больше, чем только кинозвезда. Для нескольких поколений зрителей она оставалась эпохальной женщиной, смелой и бескомпромиссной личностью, всегда находившейся в самом центре общественной жизни, неизменно приверженной левым идеям социальной справедливости и равенства. Не мудрено, что эта активная политическая позиция вначале приведет Синьоре в прокоммунистические круги, а позднее станет причиной ее остракизма со стороны советских властей, надолго наложившим запрет на ее имя. Обо всем этом с большой горечью она напишет в своей книге «Ностальгия уже не та», которая так и не была переведена на русский. Но одна из самых ее драматичных глав будет посвящена не политике, а любовной драме, главными героями которой стали ее муж Ив Монтан и Мэрилин Монро.

Сергей Николаевич

Августовским вечером 1962 года Монтан позвонил мне в Тулузу из Парижа, когда я ужинала с Коста Гаврасом и Клодом Пиното, – тогда они оба были первыми ассистентами Рене Клемана на съемках “Дня и Часа”. Я вернулась к столу и сказала им: “Мэрилин умерла”.

Я очень расстроилась. Но не удивилась.

Через полчаса директор отеля сообщил мне, что отказался предоставить номера парижским журналистам, которые спрашивали, где меня найти.

По сей день я не устаю благословлять этого человека. Благодаря ему я избежала участия в новом витке того ничтожного происшествия, которое пресса разобрала по косточкам за два года до этого.

Досадно, что журналисты, накинувшиеся на всех нас – Мэрилин, Монтана, Миллера и меня, только для того чтобы навязать нам роли, которые мы не учили, в пьесе, которую мы даже не прочли, – не видели, как мы провели вчетвером целых

четыре месяца. Мы занимали соседние бунгало № 20 и № 21. Они не нашли бы там ни блондинки-разлучницы, ни красавца-соблазнителя, ни книжного червя, ни восхитительной супруги, замкнувшейся в гордом молчании, – ни одного из амплуа, приписанных нам прессой впоследствии.

Досадно и то, что Артур Миллер, к которому я испытывала самые теплые чувства, написал в один прекрасный день “После грехопадения”. Когда ее уже не было с нами.

Я не Норманн Майлер, поэтому расскажу о той Мэрилин, которую знала лично. Не о легенде и не о плакатной красотке. А о соседке по лестничной площадке, которая очень любила свою соседку по лестничной площадке. У нас с ней установились самые добрососедские отношения, как это случается во всех многоквартирных домах мира, роскошных и не очень.

Монтан первым возвращался со студии, принимал душ и яростно набрасывался на текст, который ему предстояло выучить к завтрашнему дню. Он запирался у себя в комнате и работал по крайней мере час до ужина.

Когда наконец возвращалась Мэрилин, то, как правило, обнаруживала нас с Артуром либо у себя, либо у меня дома – в этот час я обычно докладывала ему, как провела день, мы выпивали по стакану хорошего виски, и Артур, охотнее чем когда-либо, рассказывал истории из давнего и недавнего прошлого этой страны, которую я так плохо знала.

Она, будучи еще в гриме, говорила: “Сейчас приму ванну и присоединюсь к вам”.

Она возвращалась в коротком халатике цвета перванш в белый горошек из искусственного шелка. Босиком, без грима и накладных ресниц, она превращалась в очаровательную французскую пейзанку, из тех, что воспевают вот уже многие столетия.

Знаменитая светлая прядь, изысканная и жесткая, оттого что перед каждым новым планом парикмахерша Мэрилин зачесывала ее “против шерсти”, исчезала, зато снова появлялся завиток. Чудный кудрявый завиток, спадавший на лоб точно посередине.

Она ненавидела, презирала и боялась его. Боялась, потому что, как ни странно, корни этого завитка, пушистого, как у младенца, не поддавались окраске, в отличие от корней всех остальных волос на голове прекрасной блондинки. Поэтому спадавшая на глаза красивая прядь служила своеобразной защитой против непокорного корня, выдающего себя на крупных планах. Она сообщила мне об этом, как только мы поселились рядом. И добавила: “Смотри, они все уверены, что у меня красивые длинные ноги, а у меня узловатые колени, и вообще я

коротконожка”. Я бы не сказала. Коротконожкой она не выглядела даже в халатике из местного универмага. А уж когда она преображалась в Мэрилин, то и подавно. В образе “Мэрилин” я видела ее три раза за четыре месяца. Первый раз, когда она собиралась на вечеринку к Спиро Скуросу, второй – когда мы вчетвером отправились ужинать в ресторан, и, наконец, когда она шла на вручение “Золотого глобуса”, единственной награды, которой ее удостоил этот город. Чтобы покрасить волосы в платиновый оттенок и расправиться с непокорным завитком, она за свой счет вызывала из Сан-Диего одну очень пожилую даму. Пожилая дама всю жизнь, пока не вышла на пенсию, занималась осветлением волос на студии “*Метро-Голдвин*-Майер”. Сан-Диего находится на границе с Мексикой. Именно там решила поселиться королева пергидроля. Она осветляла волосы Джин Харлоу в течение всей ее недолгой карьеры. Во всяком случае, по ее словам.

Вот почему каждую пятницу, расставаясь с нами вечером, Мэрилин говорила мне: “До завтра, увидимся у нас на кухне в одиннадцать утра”.

Каждую субботу осветлительница волос покойной Джин Харлоу садилась в самолет в Сан-Диего и приземлялась в Лос-Анджелесе. Шофер Мэрилин встречал ее в аэропорту и привозил к нам на кухню, вернее кухоньку, в бунгало № 21.

Пока дама вынимала из большой старой хозяйственной сумки старые флаконы с перекисью, давно превзойденной современными технологиями, Мэрилин (заранее накрыв стол, она устраивала нечто вроде бранча или коктейль-парти, и наша путешественница ни в чем себе не отказывала) стучалась ко мне. Чтобы я, захватив полотенца из бунгало № 20, поторапливалась к ней: праздник обесцвечивания вот-вот начнется.

И старая дама оживала на глазах. Пока мы обе медленно, но верно превращались в блондинок, она подробно рассказывала, какой именно цвет она опробовала тридцать лет тому назад на шевелюре Джин Харлоу и почему именно ему Джин обязана своим успехом. Ее истории из прошлой жизни изобиловали описанием кисейных платьев, шубок из белой лисы, туфель и вечеринок. Правда, она умела держать и долгие паузы… Поскольку иногда предпочитала не рассказывать то, что могла бы рассказать. Все ее байки неминуемо заканчивались похоронами “платиновой блондинки”. Мы обожали ее слушать и подмигивали друг другу, когда старушка от избытка чувств вынуждена была прерваться. Палочка с ватной нашлепкой, пропитанной драгоценным раствором, порхала в воздухе и никак не хотела приземляться на драгоценные корни наших волос, так что время,

отведенное на “созревание” цвета, грозило затянуться. Правда, Мэрилин переживала только из-за своего завитка. Ему требовалось получить свою дозу. Она расслабленно внимала старой даме, но как только очередь доходила до ее заклятого врага, она преображалась и шутки с ней были плохи: палочке отныне строго запрещалось порхать в воздухе.

Как только завиток был обработан – тщательно и в полной тишине, – старая дама, пересыпавшая свою речь всякого рода “*deary*”, “*sweety*” и “*sugar*”, не далеко ушедшими от наших “солнышка”, “душечки” и “зайки”, продолжала свое повествование ровно с того места, на котором ее прервали. Ее послушать, так Джин Харлоу обесцвечивала волосы сутками напролет, потому что наша дама, не отлучаясь ни на минуту, постоянно присутствовала в повседневной, интимной и супружеской жизни своей любимой звезды и даже при ее агонии.

Дама возвращалась в Сан-Диего на самолете во второй половине дня, не забыв перекусить на дорогу. Мы к этому моменту становились безупречными блондинками. Мэрилин – платиновой, я – с каштановым отливом, таково уж было мое амплуа. Мы убирали на кухне, потому что пол был усыпан комками пропитанной перекисью ваты.

Я смеялась при мысли, что мне осветляет волосы дама, якобы сотворившая легенду, о которой писали все газеты моей юности. Моя подружка не видела в этом ничего смешного. Она же не зря отыскала адрес заслуженной пенсионерки. Она в нее верила. Любила и уважала ее. Оплачивала ей перелеты от и до мексиканской границы, поездки на лимузине и тосты с черной икрой. Она стала своего рода связующим звеном между той первой Блондинкой и новой блондинкой-Мэрилин. Кроме того, Мэрилин, я понимаю это только сейчас, хотела протянуть ей руку помощи, когда все ее бросили. Так часто забывают технических работников, незаменимых в тот момент, когда они занимаются камерой, звуком, гримом и прической, то есть пока на них есть спрос. Они скрыты от глаз публики, но без них звезда на экране не появится.

Наши кухоньки служили не только парикмахерской. Иногда мы их использовали по прямому назначению. Не так уж часто, не скрою, но все-таки пару раз нас угораздило поиграть в кухарок. Например, мы устроили макаронный пир горой, объединив наши знания в области пасты, Мэрилин поделилась опытом, приобретенным в семье Маджо, я – у родителей мужа, и мы обе удостоились жарких комплиментов, когда ужин был готов. Миллер и Монтан гордились женами.

У нее был еще один халат, нечто большое и длинное, из

пунцового бархата. Это был подарок Миллера на новый 1960 год. Облачаясь в него вместо халатика из искусственного шелка, Мэрилин говорила о нем, как другие – о норковой шубке, найденной – и ведь находят! – под рождественской елкой. К этому наряду она надевала на шею или прикалывала в волосы в виде диадемы тонкие бусы из дикого янтаря. Кроме этого украшения, я видела на ней только два огромных кулона из стразов, и все.

Я говорю о том, что Мэрилин носила в своем бунгало № 21, потому что она покидала бунгало № 21, только чтобы рано утром отправиться на съемки, она возвращалась в него по окончании рабочего дня и вообще не выходила оттуда ни в субботу, ни в воскресенье.

А съемки, судя по всему, были ей не очень по душе. Потому что множество людей на протяжении всей ее жизни пытались вбить ей в голову, что она кто угодно, только не актриса. И что если бы не он или не она, Мэрилин была бы не в состоянии произнести с правильной интонацией даже фразы типа “сейчас пойдет дождь”. В итоге она им поверила. Они стоили ей целое состояние, но она продолжала им платить.

Она расплачивалась и за то, что была когда-то старлеткой в этом городе, поглотившем несметные суммы, пока из нее делали звезду. Они считали, что старлетка Мэрилин была *cute*. Они ненавидели ее за то, что она стала Монро. Они с ней не церемонились, и поэтому она предпочитала сидеть дома.

Но это еще не все. Я должна вернуться к нашим посиделкам у искусственного камина (обеспеченного подачей газа в бунгало № 21 и № 20) с моим соседом, нашим автором, ее мужем и моим приятелем Артуром Миллером.

Он замечательно рассказывал, как Мэрилин вытащила его из лап маккартистов в 1955 году! Она инкогнито приехала с ним в Вашингтон, где он должен был предстать перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, и спряталась у его адвоката. Пресса прознала о прибытии в город Блондинки, и журналисты караулили ее у дома. Она не спеша (ей понадобилось на это три часа, я знаю, сама видела) преобразилась в Мэрилин и наконец предстала перед тремя сотнями акул пера, жеманничая и шелестя, как того требовала ее легенда.

Жеманничая и шелестя перед черным входом на одной из вашингтонских улиц, она поинтересовалась, какое они, собственно, имеют право требовать объяснений по поводу ее любви к человеку, которого она любит. Раз она его любит, то это значит, что он достоин уважения, что он добрый и честный человек, и соответственно почему и во имя чего он должен предстать как какой-нибудь преступник перед трибуналом

фашиствующих паяцев?

В эту минуту она бросила все на чашу весов. Тут было два варианта – ее могли просто уничтожить либо реабилитировать в глазах общественного мнения Миллера, – его, как и многих других, лишили паспорта, а его пьесы больше не ставились и не публиковались.

Я рассказываю эту историю со слов Миллера. Спиро Скурас после скандала в Вашингтоне выставил свои условия Блондинке, поскольку она посмела выйти из своей роли ценного товара, произведенного при помощи дорогостоящей рекламы. Если она и дальше намеревается официально любить Миллера, та же дорогостоящая реклама будет обращена на уничтожение всего того, что ей удалось создать.

И тогда Мэрилин ответила бывшему греческому пастуху: “Уничтожьте меня, и мы отправимся в Данию”.

Под Данией подразумевался, видимо, не только Эльсинор, но и Король, вышедший на улицу с желтой звездой. Бывший пастух запомнил ответ Блондинки. Не знаю, может, он навел справки, во всяком случае, он решил по-прежнему делать ставку на Мэрилин. Таким образом, Артур Миллер вновь получил паспорт и право печататься. Да еще с шиком, то есть никого не сдав.

* * * * *

Мэрилин донимала меня рассказами о том, какое она испытывала счастье и вдохновение, когда ее фотографировал Аведон. Серия снимков, на которых она представала в образе величайших кинозвезд тридцатых годов, вышла на самом деле замечательная. По ее словам, единственные радости ее актерской жизни были связаны с перевоплощениями в Марлен, Гарбо и Харлоу. Она говорила о той фотосессии, как другие актеры обычно говорят о съемках.

Других счастливых воспоминаний, связанных с ее профессиональной жизнью, у нее попросту не было. Я не услышала ни историй о дружеских шутках, вечеринках, розыгрышах, о жарких объятиях и звучных поцелуях с партнером после удачных сцен, – все это было не про нее. Я в себя не могла прийти от удивления.

Она и меня заставляла рассказывать истории, ничуть не более оригинальные, смешные и удивительные, чем все на свете актерские истории. Но главным во всех них была восхитительная дружба, сродни детской и школьной.

Возможно, снимаясь с Мотаном, она впервые в жизни узнала, что такое дружба, и это объясняет многое из того, что произошло

позже.

Кроме того, она просила меня рассказывать истории *вообще*. И я пересказывала ей “Дикарку” и “Горностая”, и судьбы других героинь Ануя, для которых, на мой взгляд, она была создана, и с каждым прожитым вместе днем я в этом убеждалась. В ней самой чувствовались их страхи и горечь.

Как-то вечером я пересказала ей “Загнанных лошадей пристреливают”, посоветовав как можно быстрее заполучить права на книгу, которую я лично знала наизусть, поскольку в 1946-м, будучи беременной Катрин, играла этот текст в радиопостановке.

В тот вечер, слушая меня, пока Монтан мучился в соседней комнате, заучивая свой текст, она приготовила нам ужин, в первый и последний раз.

Миллер, оставив Мэрилин на нас, улетел в Ирландию к Джону Хьюстону обсуждать “Неприкаянных”. Уже было поздно. Поздно для Голливуда. Слишком поздно для нее, поскольку ей надо было встать в пять утра. Около одиннадцати в гостиную просунул голову Ив и объявил, что собирается спать. Я закончила свой рассказ и посоветовала ей тоже отправляться в постель. Мне казалось, что я сижу с ребенком, который оттягивает как может ту минуту, когда надо будет погасить свет. В конце концов она послушалась и ушла к себе.

На следующее утро, около десяти часов, Монтан позвонил мне со студии. Мэрилин не приехала, машина ждала ее с половины шестого, как и каждое утро, в переулке, у “кухонной” лестницы. Шофер поднялся, постучал в кухонную дверь. Потом обошел домик и постучался в квартиру. Потом вышел в сад, поскольку оттуда можно было заглянуть в окна. И, наконец, вернулся на студию *Fox*.

Часам к восьми люди со студии начали названивать в “Беверли-Хиллз”. Телефонистка никак не могла добиться ответа от бунгало № 21. Было уже десять утра. *Fox* предпринял попыток двадцать, не меньше, – но безуспешно. Тогда *Fox* испугался. Испугалась вся съемочная группа.

Я постучалась к соседке. Сначала стучала, потом колотила в дверь, на манер полицейских и пожарных. Потом позвала ее, потом зашла со стороны кухни, и поскольку она не подавала никаких признаков жизни, испугалась наконец и я.

Моя подруга телефонистка успокоила меня: бунгало № 21 не отвечало на звонки, зато бунгало № 20 попросило соединения. Я позвонила Монтану на студию.

Через три четверти часа он вернулся домой. Если Мэрилин не объявится, рабочий день пропадет. Ему сообщат, если будут

какие-то новости, но вообще-то, будучи на месте, он их узнает первым.

Тогда, спросив на всякий случай несколько нужных английских слов, Монтан сочинил небольшую записку: “Устраивай что хочешь Спиро Скуросу, *Fox*, а также всем продюсерам этого города, если ты на них злишься. Но когда ты допоздна слушаешь истории моей жены вместо того, чтобы отправиться спать, заранее решив не вставать утром и не ехать на студию, будь добра, предупреди хотя бы меня! И не заставляй меня работать над сценой, в которой ты даже не собираешься сниматься на следующий день. Я не злодей, я твой товарищ, и девичьи капризы меня никогда не умиляли. Пока”.

Мы бесшумно открыли входную дверь и, ступая босиком по толстому ковру, просунули бумажку под дверь напротив, но не целиком, а так, чтобы ее половинка осталась снаружи. Свою дверь мы оставили открытой. И молча засели в засаде. Как в вестернах и детективах. Прошло совсем немного времени, и наше послание тихо проскользнуло под дверь бунгало № 21. Оно уползало как в замедленной съемке, миллиметр за миллиметром, словно невидимый адресат осторожничал, под стать перевозчикам нитроглицерина из “Платы за страх”.

Тогда мы закрыли свою дверь так же бесшумно, как и открыли. И стали ждать ответа.

Ответа не было, и Монтан решил, что на этом хватит. И нарочито громко, так, чтобы его было слышно по ту сторону лестничной площадки, сказал мне по-французски или, скорее, на смеси французского с английским, что раз съемочный день все равно пошел насмарку, чем так сидеть, мы лучше пойдем обедать в хороший ресторан – будем считать, что сегодня выходной, учитывая, что кое-кого на съемочной площадке недосчитались… Ключевые слова он выкрикивал по-английски.

Мы пообедали в ресторане. Если мне не изменяет память, пошли потом в кино. Поужинали в ресторане. Я была уверена, что, вернувшись, мы найдем под дверью записку.

Не тут-то было.

В одиннадцать вечера, когда мы уже легли, раздался звонок. “Вас «*Mister Miller from Dublin*»”[16], – сказала телефонистка.

“Извини, если разбудил. И раз уж разбудил, сделай одолжение, пойди постучись к Мэрилин, она у себя, она все мне рассказала и теперь не знает, как быть, ей очень стыдно”.

Тогда я встала, постучала к ней, и у меня в объятиях очутилась всхлипывающая Мэрилин. “*I’m bad, I’m bad, I’m bad, I won’t do it again, I promise*”[17], – повторяла она. Все это происходило на тесной лестничной площадке. Монтан в халате

гладил ее по голове и приговаривал: “О’кей, о’кей, постарайся завтра утром не опаздывать”.

Ничего смешного в этой истории, по-моему, не было. Тем не менее благодаря ей я пару раз блеснула в обществе, когда Мэрилин еще была жива. Особым успехом пользовался финал: “Звоним в Дублин, чтобы из Дублина позвонили соседям по лестничной площадке”. Типа “Алло, Нью-Йорк? Пожалуйста, номер двадцать два в Аньере”.

После смерти Мэрилин я эту историю не рассказывала. Разве что тем, кто, я знала, не будет смеяться.

После сцены на лестничной площадке мы больше никогда не вспоминали тот “пропавший” день. Я так и не решилась спросить ее, когда именно она решила, что останется дома и не спустится к ожидавшей ее машине, постепенно замыкаясь в молчании. Я так и не узнаю, сколько времени провела она, сидя за дверью, прежде чем решилась прочесть записку, оказавшуюся тонкой ниточкой во внешний мир. Ниточкой, которую, видимо, весь тот день она считала порванной, поскольку сама была не в состоянии склеить ее.

Все это происходило задолго до моей номинации на “Оскар”. Но она уже витала в воздухе, и Мэрилин была за меня очень рада. Во всяком случае, держалась очень достойно, даже если, оставшись в одиночестве, и вспоминала все свои роли, которые так ни разу и не удостоились официальной “номинации”. Она первая сообщала мне сплетни, вычитанные в газетах *Daily Variety* и *Hollywood Reporter*, которые нам доставляли к завтраку. Поскольку их клали и на мой поднос, я заметила, что всякий раз, когда меня восхваляли как Диву из дальних стран, ее удивительным образом умудрялись походя лягнуть. Журналисты смаковали ее ляпы на публике, цитировали выражения, которые якобы вырвались у нее в одном модном ресторане… Все вранье. Она не могла допустить ляпов прилюдно, поскольку практически не выходила из дому. Что касается модных ресторанов (не считая того, куда мы как-то торжественно отправились все вместе, будто провинциальное семейство, решившее побывать у “Максима”), то ее там сто лет уже никто не видел.

А потом началась забастовка киноактеров.

Забастовка оказалась широкомасштабной, одно из основных требований бастующих касалось авторских отчислений от фильмов, проданных на телевидение. Бастовал весь Голливуд. Не было ни митингов, ни шествий. Просто все отказались работать, решительно все: от Гари Купера и Грегори Пека до новичка Пола Ньюмена, Элизабет Тейлор и Дебби Рейнолдс, и даже самой Мэрилин.

Поэтому мы вообще уже не расставались. Все сидели словно под домашним арестом, кто где – в своих бунгало, роскошных виллах, гасиендах, на фермах, в особняках восемнадцатого века и викторианских домах.

Конечно, они были совершенно правы. Но мы находились над схваткой, над их схваткой, во всяком случае. Правда, мой муж участвовал в забастовке. А я, соответственно, была женой бастующего. Немыслимые суточные, которых нам хватало лишь на немыслимую квартплату за бунгало № 20, позволяли нам продержаться.

Забавно, конечно, бастовать в Голливуде, но мне не пристало шутить на эту тему, потому что благодаря этой забастовке радикально изменился статус всей американской кинопрофессии, будь то самые знаменитые звезды, звездочки поменьше и не звезды вообще… Забастовка затягивалась. Артур, уже давно вернувшийся из Дублина, решил, что они с Мэрилин полетят в Нью-Йорк, и дождутся там окончания переговоров телевидения с профсоюзами. Меня только что номинировали на “Оскар”, они “дружили” за меня и против Гедды Хоппер. Мэрилин, конечно, была рада, но, полагаю, все же и слегка уязвлена. Она говорила “это справедливо”, хотя в глубине души считала, видимо, что не вполне.

Утром, в день их отъезда, расцеловавшись с ними на прощание, мы вышли на балкон нашей гостиной, чтобы прокричать им “Чао” и “До скорого” и помахать вслед. Мэрилин обернулась и крикнула мне: “*Good luck! I know! I know! You’re going to get it!*”[18] И догнала Артура, идущего по садовой аллее. На ней были туфли на каблуках и манто из белой норки с большим воротником, который она все время собиралась отрезать.

Такой я и запомнила ее, потому что больше никогда не видела ее живой.

Я рассказала о той Мэрилин, которую знала, она, наверное, и вернулась такая, как была, когда забастовка закончилась и надо было продолжать съемки.

Но меня там уже не было. Я улетела в Италию сниматься в фильме “Адуа и ее подруги”. Не поручусь, что мы сняли шедевр, но я бы покривила душой, если бы предстала в собственных воспоминаниях этакой дамочкой, не находящей себе места из-за того, что ее муж остался в одиночестве в нашем бунгало № 20 по соседству с бунгало № 21.

Я наслаждалась римской весной, вновь обретенной Европой, ужинами со съемочной группой на увитых зеленью террасах тратторий. Вокруг меня были веселые и нежные товарищи, старые, как старый свет, и юные, как девушки на заднем сиденье

“Ламбретт”, обнимающие таких же юных мотоциклистов. Я любовалась потрясающими закатами с балкона своих апартаментов на седьмом этаже “Эксельсиора”. Все римские террасы утопали в золотистом свете. Я всегда знала, с кем буду ужинать. Мне воздавали почести как обладательнице знаменитой “статуэтки”. Я от души веселилась с людьми, которых искренне полюбила. И кроме того, я впервые за два года снималась в комедии. Притом на родном языке, – потом меня должны были дублировать, – так что и лингвистических проблем не возникало. Я провела в этом городе три потрясающих месяца и поэтому даже сегодня не могу судить о том, что произошло, пока я была в Риме, а Миллер – в Нью-Йорке, между мужчиной, моим мужем, и женщиной, моей подругой, которые работали вместе, жили практически под одной крышей и скрашивали друг другу одинокие вечера, развлекая друг друга или делясь своими тревогами и воспоминаниями нищего детства.

Поэтому любителям зарисовок из чужой жизни я посоветую обратиться к газетам того времени. Журналисты позаботились о том, чтобы превратить в громкое событие заурядную историю, которыми богата жизнь любого предприятия, дома, да и многих съемочных павильонов тоже.

Эти истории часто бывают нежными и милыми, иногда страстными и, в зависимости от накала, заканчиваются либо сами собой, незаметно, либо приводят к полному разрыву с прошлой жизнью.

Бывает и так, что со временем они перерастают в дружбу, более долговечную, чем мимолетная страсть.

Крайне редко коллеги или соседи по дому удерживаются от сплетен. Они сплетничают даже не со зла, а просто с высоты, так сказать, собственного опыта.

Во взглядах встречных герои таких историй читают осуждение, поддержку или упрек. Как правило, они сами вольны решать, что делать с этой историей, которая поначалу касалась исключительно их самих, но постепенно стала достоянием общественности.

Но когда об этом пишут в газете, а газета превращается в газеты и “сенсация” бесконечно множится печатными станками, ваша частная, мелкая история, или ваша прекрасная история, или ваша великая история идет насмарку.

Она уже больше не ваша личная и даже не вашего мужа или жены, она принадлежит скупщикам бумаги. (Справедливости ради, замечу, что газета “*Match*”, печатавшая две недели подряд, изо дня в день, длинные статьи, посвященные нам, сопроводила их замечательными фотографиями.)

Эти истории отлично продаются и удачно переводятся на все языки. В зависимости от темперамента, свойственного жителям страны, в которой играется данная пьеса, она принимает оттенок мелодрамы, трагедии или водевиля.

Это печально и ужасно глупо.

Ужасно глупо получать письма, в которых вас на четырех страницах подбадривают, призывают “держаться” и делятся сокровенным, – “я тоже страдала, и вот как мне удалось вернуть мужа…”, “моя соперница тоже была блондинкой, как она”. Ужасно глупо, когда продавщица в галантерее, куда заходишь купить девяносто сантиметров резинки (в Оксере, где я снимаюсь в “Ударах судьбы” и отлично провожу время с друзьями), похлопывая тебя по плечу и подмигивая, говорит: “Он к вам вернется, помяните мое слово”, – тогда как мой муж, снимаясь в Париже (потому что на дворе уже октябрь), звонит мне каждый вечер…

Эта пьеса игралась в течение нескольких месяцев. Нет, это было не печально, просто уже наконец обрыдло.

А потом пришло письмо, соединившее в себе и то, и другое, – оно было грустное и до ужаса глупое, и к тому же еще анонимное.

Оно касалось и моего “несчастья”, и моей подписи под “Манифестом 121-го”[19].

Я вернулась в свою страну, увенчанная славой. Друзья шли нескончаемым потоком посмотреть, на что похожа живая обладательница “Оскара”. Я хвасталась калифорнийским цветом лица, костюмчиками и брюками от *Jax*, вышитыми жемчугом мокасинами, сделанными в резервации, где якобы так счастливо живут индейцы, короче, я порхала и витала в облаках. Но меня быстро вернули на землю…

Да, это было время писем – грустных, ужасно глупых и анонимных. Они были порнографическими, непристойными и патриотическими одновременно. Как правило, мне сообщали, что мой муж был прав, предпочтя мне блондинку посвежее. И советовали убраться к своим арабам, чье мастерство в постели хорошо известно. Часто к этому добавляли, что и поделом ему, этому еврею Миллеру.

Так мерзко закончился год, начавшийся так красиво.

Наверное, я не стала бы ворошить эту историю шестнадцатилетней давности, если бы последнее время все чаще и чаще историографы с социологическим уклоном, явно не вполне бескорыстные, не стали бы издавать толстенные сочинения о юной покойнице, которую при жизни никто не

принимал всерьез. В этих трудах неминуемо оказывалась глава, посвященная нам.

* * * * *

Она так ничего об этом не узнала. Она не узнала, как я горевала в тот августовский вечер 1962 года. Она никогда не узнает, что у меня и в мыслях не было ненавидеть ее, что я правильно восприняла ту историю, касавшуюся только нас четверых, историю, которой впоследствии увлекся весь мир – в те смутные годы, когда происходили куда более важные события.

Она ушла, не узнав, что я всю жизнь ношу кисейный платок цвета шампанского, который она одолжила мне как-то раз для фотосессии, сказав, что он очень подходит к моему костюму. Так подходит, что она мне в итоге подарила его.

Сейчас он уже истрепался, но если аккуратно его сложить определенным образом, то это не заметно.

Майя Туровская
Казус Ольги Чеховой

Шпионка Сталина или конфидентка Гитлера?

Имя Ольги Чеховой все чаще мелькает на постсоветском пространстве, но каждый раз, когда я пытаюсь приобщиться – к *fiction* ли или к *non-fiction*, – меня буквально отбрасывает избыточность лжи, не говоря китча. Ее вымышленный образ – почти инфернальный или, напротив, вульгарно-разбитной – имеет мало общего с той реальной женщиной, с судьбой которой мне приходилось сталкиваться не раз и по разным поводам. В то же время авторы всех этих расхожих “биопиков” могут оскорбиться: помилуйте, они это не из пальца высосали, а прочитали, – и будут, черт возьми, правы. Потому что легенду под названием “Ольга Чехова” начала создавать она сама; а впоследствии оказалась перед необходимостью протестовать и писать опровержения, потому что дальше все раскрутилось помимо и вовсе не туда – и конца этой легенде пока не видно. Потому вместо эффектного портрета загадочной красавицы, который нетрудно составить, я предлагаю нечто вроде “антипортрета”: разборок вокруг и около проблематичного имени.

* * * * *

…Так случилось, что в семье Книппер девочек в нескольких поколениях стали нарекать Ольгами. Это внесло в их жизнь – текущую и историческую – порядочно путаницы; тем паче когда в дело вмешалась знаменитая фамилия Чехов.

Когда-то я даже подозревала, что в решимости юной красавицы Ольги Книппер тайно обвенчаться с непутевым, но гениальным Мишей Чеховым не последнюю роль сыграло намерение повторить звучную фамилию знаменитой тетки, Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. Брак не удался, но скандальная эскапада стала на поверку самым здравым поступком ее непростой жизни.

Лет что-нибудь шестьдесят с лишком тому назад мы с мужем пришли по приглашению Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой на чеховскую дачу – она же музей, – что на Аутке, в Ялте. Мария Павловна Чехова еще проживала там. На пианино стояла фотография по-заграничному красивой женщины, которую еще

прежде я приметила у О.Л. Я спросила, кто это, и М.П. ответила, что это известная немецкая актриса Ольга Чехова, которая помогла музею во время немецкой оккупации (о войне тогда еще оговаривались – “в прошлом году”). В другой раз темпераментная греческая помощница М.П. – Е. Янова упомянула, что Ольга Константиновна присылала им сахар – чуть ли не мешок, – что в те голодные и холодные времена было большим подспорьем. Позднее, когда в отделе рукописей Ленинки я читала переписку О.Л. и М.П. и с немалыми трудами добралась до изъятого ее фрагмента в спецхран, то была поражена совершенной абсурдностью грифа “секретно”. Что секретного было, например, в ценах черного рынка на провизию в далекие пореволюционные годы? Или в упоминании О.Л. о молодежном театрике “Сороконожка”, где Оля будет вести декорационную часть? Потом я прочитаю письма самой Ольги Константиновны к О.Л. Например, от 25 марта 1924 года, уже на личном бланке, из Берлина в Чикаго, где гастролировал Художественный театр: “Дорогая, милая тетя Оля. Вчера совершилось мое крещение… я первый раз играла *Allen de Estual* в драме французской революционной *Revolutions Hochzeit Michaelis’a*… Как я играла, не знаю, но только помню бесконечные вызовы, слышала свое имя, цветы, и никак не могла понять, что я этим прыжком на сцену стану артисткой. Ведь я, кроме занятий с Мишей, никакой школы не имела. Разве только влияние его и студии, где мы дни и ночи проводили”…

Ольга Чехова будет сниматься у значительных режиссеров и в разных ролях, но блистать на экране и на сцене станет по преимуществу в ролях “салонных”. С ними она и окажется звездой Третьего рейха (сто сорок пять ролей только в кино – упомянет она на допросе в Москве в 1945 году).

Искусству, как говорится, искусствово, а звезда Ольги Чеховой на родине взойдет и засияет заново на другой сцене – исторической, когда выйдут в свет “Спецоперации” бывшего генерала Павла Судоплатова (“Олма-пресс”, 1997). В силовом поле сенсации *grande dame* немецкого кино получит роль Штирлица в юбке. В этом качестве она попадет в эпицентр современного мифологизирующего сознания и соберет урожай популярности, на какой едва ли может претендовать любое Искусство. Масскульт, многократно усиленный таким вполне реальным чудом, как интернет, распространит легенду по всем каналам наличных СМИ, будь то литература – бульварная или историческая, – кино или телевидение.

Впрочем, как сказано, создавать свою легенду Ольга начнет сама и немедленно по приезде за границу (позже она расцветит ее

автобиографические книги). Напомню: молодая женщина прибыла в Берлин на мощной волне русской эмиграции (впоследствии она натурализуется в Германии). Всего достояния у нее было спрятанное под языком бриллиантовое кольцо, которого хватило, чтобы с помощью подруги снять квартиру и сменить валенки на изящные туфли.

Но это только кажется. На самом деле у нее было с собой нечто, что не надо было прятать под язык, зато можно было свободно конвертировать в получение ролей, – она была Ольга Чехова.

Имя Чехова звучало отнюдь не только в русских эмигрантских кругах, оно было хорошо знакомо немецкой культуре. Чехова переводили и читали еще при жизни. Но тем проводником, которым служат сегодня СМИ, был тогда театр: пьесы Чехова – со знаменитых гастролей МХТ в 1905 году – стали эрой и для немецкого театра. Имени Чехова-писателя резонировало имя Ольги Книппер-Чеховой, актрисы, а русское звучание было с начала века на европейском культурном пространстве обаятельно. Так что сочетание “Ольга Чехова” в совокупности с молодостью и красотой при правильном “маркетинге” было куда перспективнее бриллиантов.

Некогда избалованная и романтическая Олечка, хлебнув и голода, и холода, и разрухи, надо думать, пришла в себя, трезво оценила те преимущества, которыми обеспечило ее полудетское безумство, и постаралась окутать звучное имя аурой полуправдоподобных легенд. В самом деле, почему бы ей не оказаться прилежной ученицей самого Станиславского в знаменитом Художественном театре? Не сыграть Офелию с Мишей – Гамлетом в анонимном благотворительном спектакле? Или – еще лучше – не значиться в “Трех сестрах” и “Вишневом саде” (созвучие имен придавало оттенок достоверности явной путанице).

И так далее, скользя на грани вероятного. Ну да, маленькие Книпперы жили в Царском Селе, но с царскими детьми, разумеется, не играли. Происхождение их, удостоверенное солидным фамильным древом, было сугубо бюргерское, ничуть не аристократическое. Мать их, Луиза, урожденная Рид, фрейлиной быть никак не могла, а отец, Константин Леонардович, крупный путейский инженер и не менее крупный царский чиновник, министром путей сообщения тоже никогда не был.

…Многое еще другое присочинит Ольга Чехова к своей биографии, но упрекать ее в “мюнхгаузенстве” было бы невеликодушно. Она просто старалась продать свое знаменитое имя как можно дороже на той ярмарке житейской суеты, где

собиралась завоевать себе место.

Любой уважающий себя автор, пишущий о ней, все эти очевидные несуразности оговаривает. Между тем как для бульвара – будь то печатное слово, фильм или сериал – эта умышленная клюква просто сад наслаждений. Она приподнимает не только Ольгу, но и нынешнего читателя, который уже купил себе замок или довольствуется воздушными замками плюс потребление всяческого глянца. Она соответствует тренду монархически-сталинского китча, который затопил отечественный рынок околокультуры.

…Все это стало не более как прелюдией к мифу, запущенному Судоплатовым.

…Английская книга воспоминаний Судоплатова[20], которая опередила русскую, досталась мне в Америке, сразу по выходе.

Отрабатывая свой грант в Вашингтоне (“*Sov-Am*, или Советско-американская киноретроспектива тридцатых годов”), я оказалась в недалеком соседстве с ее издателями – Джеральдом и Леоной Шектер (я знала их еще по Москве: во время перестройки Джеральд издавал русско-американскую газетку “*We* – Мы”, а Леона начинала в качестве книжного агента). Я поинтересовалась, как им удалось заполучить столь сенсационные мемуары. Странным образом оказалось, что не они откопали опального генерала, а его сын, Анатолий Павлович, нашел их, предложил, можно сказать, кота в мешке и уговорил (!) взяться за проект.

Я вспоминаю об этом, потому что мне не раз придется обсуждать с Анатолием Павловичем “Казус Ольги Чеховой” – при этом возникнут некоторые *qui pro quo*. К примеру, он спросит (уже после смерти отца), не могу ли я найти способ заглянуть в один документ “под грифом”, который мог бы дать более или менее достоверный ответ на вопрос, была ли Ольга реально вовлечена в планы покушения на Гитлера, как упомянуто в книге.

На самом деле вовсе не Судоплатов стоял у истоков легенды о Штирлице по имени Ольга. Вскоре после конца войны в желтой английской газетке *People*, № 3337, появилась публикация некоего Вилли Фришауэра под названием “Шпионка, которая овладела Гитлером” (пользуюсь переводом из той папки “Из архива Службы внешней разведки РФ”, о которой речь впереди). Количество дезы (липы) в опусе зашкаливает.

“О.Ч., знаменитая немецкая эстрадная (?) и киноактриса, живет в данное время в замке (?) на восточной окраине Берлина…

…Ее история… начинается в 1939 году… [на приеме], на который фюрер пригласил тысячу гостей… И когда Ольга Великая, как ее называли (?), появилась в роскошном белом

атласном платье, с бриллиантовой тиарой (?)" и т. д.

Или: "Ольга родилась в Польше (?), вышла замуж за русского актера Чехова, которого уже нет в живых (?).

Она стала бесспорной "королевой" нацистского общества (?)" – и так всю дорогу.

В статье сообщалось, что она принимала дома нацистских вождей, генералов и проч., обещая им протекцию у фюрера, хотя, как сказано, она была человеком семейственным и никакого означенного домашнего тет-а-тет и неглиже быть у нее не могло.

…На самом деле О.К. попробовала еще раз брачные узы с бельгийским миллионером Марселем Робинсом (1936), но снова не сложилось. Случилась и большая любовь с летчиком по имени Джеп – а может быть, за романтику отвечает война, – но он погиб в бою над Британией. Любовники у нее, однако, были – притом намного моложе (книпперовские "матриархи" – что О.Л., что О.К. – долго сохраняли вкус к жизни). Когда пришли советские, они застали Альберта Зумзера – экс-офицера, тренера по атлетике. Ольга дала ему приют перед концом войны – или ей самой казалось надежнее, когда в доме есть мужчина (он, кстати, жив, по-прежнему предан ее памяти и производит интеллигентное впечатление).

…Но не в этом, конечно, была изюминка статьи. Главное было в том, что все поручения, полученные от бонз, она аккуратно записывала, и "помогая ей сесть в машину, шофер Ольги выхватывал у нее из рук маленькую записную книжечку (разумеется, позолоченную, карандашик украшен бриллиантами. – *М.Т.*)… И пока Ольга выступала на сцене в театре, он исчезал в ночи, отправляя маленькую книжечку в первый этап ее пути в Москву". Зато теперь она вернулась в Берлин из Москвы и "гордо носит высокую советскую награду".

Кое-что станет понятно, если обратить внимание на дату: 14 октября 1945 года. Действительно, Ольга Чехова не так давно вернулась (вернее, ее вернули) из Москвы, куда ее препроводил СМЕРШ – в лице генерал-лейтенанта Вадиса – не очень хорошо понимавший, кто она. В Москве она жила на конспиративной квартире пару месяцев, отвечая на не слишком прицельные вопросы и не имея возможности сообщить о себе даже тетке и родному брату.

Характеристики вождей рейха в собственноручной ее "докладной" производят правдивое впечатление: "По отношению к женщинам находила я Хитлера (это цитата. – *М.Т.*) всегда очень любезным и скромным даже… Все приглашения были очень официального характера и очень корректны" (этому отвечают соображения фюрера из "Застольных разговоров Гитлера" (Генри

Пикер. Русич, Смоленск, 1998, с. 162): “Если хотя бы хватило ума сделать так, чтобы лицо, прибывшее с официальным визитом, сидело рядом с поистине очаровательной дамой, владеющей соответствующим языком. Нам крупно повезло, что в Берлине в нашем распоряжении есть именно такие дамы в лице актрис Лили Даговер, Ольги Чеховой и Тианы Лемниц” (02.04.42).

…О Геббельсе, напротив, Ольга писала, что он “всегда был полон сарказма и иронии и не щадил никого в обществе, если бы он только мог найти жертву для общего посмешища”.

Это и многое другое “рассекреченное” содержалось в папке, врученной руководителем пресс-бюро СВР РФ Кобаладзе 20.11.96 г. Книпперу Андрею Львовичу, племяннику Ольги Константиновны. В прилагаемом письме к папке стояло: “Мы еще раз подчеркиваем, что каких-либо сведений, что Ольга Константиновна Чехова и ваш отец являлись агентами НКВД, у нас нет”.

…“Судьбоносная” статья в *People*, как и последующие сенсации в местных газетах разных союзных зон, заставила Ольгу требовать опровержений. Она обратилась за помощью в администрацию советской зоны, под чью юрисдикцию перешла и на чьей территории получила новое место жительства.

С руководителем СМЕРШа В. С. Абакумовым после Москвы у Ольги установились добрые и даже доверительные отношения, как умела она их поддерживать и с чинами Третьего рейха (“Милый Виктор Семенович! Пользуюсь случаем послать вам сердечный привет и благодарность за все”… 04.08.45). Действительно, ее снабжали и дефицитным бензином, и продовольствием, чинили машину, так что, казалось бы… Но в будущую “штирлициаду” Ольги Чеховой ни факт ее пребывания в Москве, ни даже рассекреченная папка никакой ясности не внесли. Напротив. Если она была шпионкой, то зачем бы ее засвечивать? И если она была агентом, то, очевидно, не на тех уровнях.

Между тем в Союзе, кроме родных и близких, не только об этом скандале, но даже о самом существовании другой Книппер-Чеховой никто тогда не ведал.

* * * * *

…В брежневские времена, когда тиски сталинской тотальной секретности несколько ослабли, я даже отважилась написать Ольге Константиновне Чеховой. В ответ она прислала с оказией милую открытку (свой рекламный портрет и несколько приветливых слов с пожеланием посетить ее в Мюнхене), книжку

Meine Uhren gehen anders (“Мои часы идут иначе”) и баночку дорогого крема, получившего Гран-при в Венеции. В то время она была уже не актрисой, а владелицей косметической фирмы, и что могло быть лучше для красавицы “в возрасте элегантности”? Еще раз Ольга обнаружила свою замечательную витальность и трезвый ум – косметологическими дипломами она обзавелась давным-давно, в том числе в Париже. Мелькнула даже возможность встречи: по стечению обстоятельств сугубо советского свойства мне разрешили принять приглашение на кинофестиваль в Оберхаузене. Перед отъездом в Москву я позвонила ей по телефону-автомату, и фрау Ольга пригласила приехать к ней в Мюнхен. “У вас, наверное, нет денег, – сообразила она, – я пришлю вам билет”. Но дело было не в одних деньгах. Препоны и запреты не только не украшают жизнь граждан, но делают культуру и науку страны самодовольной и провинциальной, – но это *à propos*.

…Фрау Ольга говорила по-русски с заметным акцентом, но в остальном свободно. Она сумела сохранить язык своей молодости.

Позже – на заре перестройки – я в Мюнхен все же попала; но Ольги в живых уже не было: она скончалась в 1980-м. Зато я познакомилась с ее внучкой Верой – тоже киноактрисой. В их доме я увидела неизвестный мне портрет. “Это дедушка”, – пояснила Вера. “Это не дедушка, а великий русский актер Михаил Чехов!” С тех пор я не раз пыталась пристроить его на какую-нибудь выставку – увы!

Зато удалось добиться, чтобы Веру пригласили в Москву, а потом она и ее тогдашний муж, отличный актер, по совместительству режиссер, Вадим Гловна, сняли фильм о встрече с родиной. Но удачи он не принес, несмотря на некоторые весьма интересные кадры, – они слишком мало знали о России.

Мне даже пришлось по просьбе Веры познакомить ее со Славой Зайцевым: ей понадобился туалет а-ля рюс для какой-то обложки.

Я расспросила Веру о ее знаменитой бабушке. К моему удивлению, внучка сказала: “Она была такая русская женщина. Я помню ее вечно с тяжелыми сумками в руках”. Веру пришлось растить Ольге – ее родители погибли в авиакатастрофе, – и, разумеется, внучка была лицом нового отвязанного поколения студенческого бунта; и все-таки…

Шпионские версии в доме обсуждению вообще не подлежали. Младшей Чеховой они подходили так же мало, как самой Ольге. Бунт бунтом, но респектабельность должна быть.

Вера Чехова – даром что самая красивая из книпперовских женщин – оказалась таким же трудоголиком, как Ольга. Покинув экран, она стала снимать по всему миру киноинтервью; одним из первых ее собеседников был, помнится, Шеварднадзе…

Меж тем после признаний Судоплатова сюжет о “таинственной Ольге” продолжал жить своей собственной жизнью на постсоветском пространстве, простившемся с цензурой (речь об истории – бульвар я оставляю за рамкой). По версии Судоплатова, Ольга, намеченная вместе с польским князем Радзивиллом для организации покушения на Гитлера, “через родню в Закавказье была связана с Берией”. Отец ее и правда начинал свою карьеру путейского инженера в Закавказье, но никакой родни там не оставил; да и какой Берия в XIX веке? От покушения Сталин, впрочем, отказался, опасаясь “сепаратного мира” с союзниками.

При этом Судоплатов упоминает некие “вербовочные обязательства”. Серго Берия, напротив, предупреждает, что документов, которые могли бы подтвердить “причастность Ольги Чеховой к деятельности советской разведки”, наверняка нет: “Мой отец ни тогда, в сорок пятом, ни позднее решил ее не раскрывать”. Хотя она “была связана сотрудничеством с моим отцом много лет”[21].

Дальше – больше. Согласно Валерию Шамбарову (Агенты Берии в руководстве гестапо. “Алгоритм”, 2000), “в Берлине под руководством Чеховой была сформирована самостоятельная группа”. А когда советская разведка в западных странах была разгромлена, “уцелела и функционировала только группа Ольги Чеховой”.

Но и это еще не вершина, и если О.Ч. была личным агентом, то не Берии. Армен Мартиросян: “«Агенты личной разведки Сталина» – это неофициальное название группы разведчиков, так сказать, высшего пилотажа… Среди них легендарная Ольга Константиновна Чехова-Книппер – выдающаяся актриса театра и кино, внесшая беспрецедентный вклад в великую Победу. …В течение многих лет на стол Сталина регулярно ложились сообщения, подписанные очаровательным женским именем Мерлин – за ним скрывалась великая актриса. Выдающаяся разведчица-нелегал работала на советскую разведку с 1922 по 1945 год”. Далее перечислены имена “старших офицеров вермахта”, которых О.К. сама завербовала, когда они были еще лейтенантами (Великая Отечественная война. “Комсомольская правда”, 22.06.2011).

Я прошу прощения за столь старательное цитирование, но развертывание сюжета – от любовницы Гитлера до главной

конфидентки Сталина – со временем приобретает шекспировский размах. Есть даже анекдот: Гиммлер лично отправился арестовать даму, но у нее сидел сам фюрер. Неудивительно, что “тайной” заинтересовался крутой британский военный историк Энтони Бивер[22]. Он взялся за историю кинодивы с той же бульдожьей хваткой, что и за другие свои “бестселлеры”: “Гражданская война в Испании”, “Сталинград”, “Падение Берлина 45”. Книга снабжена научным аппаратом: библиография, фильмография, сноски, список архивов, именной указатель. Проинтервьюированы далекие и близкие: Гловна и Зумзер, два экс-полковника органов, Судоплатов-сын и наличные родственники Льва Книппера. Никакой голословности, книжка, как говорят немцы, “фундирована”.

Конечно, не обошлось без ошибок и заблуждений, особенно по части искусства. Но в отношении “О.”-мифологии Бивер строго критичен и придирчив. Раз за разом он протыкает мыльные пузыри лукавых вымыслов и пошлых домыслов. Сильнее всего он, впрочем, там, где вспахивает почву фактов. Конечно, Бивер не отказывается от версии Судоплатова и всячески ее муссирует, но оставляет под вопросом. Меж тем как независимый “диагноз”, поставленный им на консилиуме по “казусу Ольги”, представляется мне почти медицински точным.

Он говорит, что Ольга посещала нацистские приемы отчасти для защиты карьеры, но не без любопытства; что она не принадлежала ни к нацистам, ни к коммунистам – ее политические симпатии оставались в веймарской эре. Как и ее мать, она презирала Гитлера и его окружение, но знала, что с ними надо иметь дело, и, испытывая отвращение к антисемитизму, помогала евреям. Просто после своего неудачного романтического опыта с Мишей Чеховым она поставила перед собой цель выжить. И если она чем и поступалась – в особенности правдой, то была находчивой и храброй в главном деле своей жизни – защите семьи и друзей. Ключевые слова в этом диагнозе: *survivor* – “выживатель” и *family* – “семья”.

Ольга всегда была великодушна и щедра к близким. Она всячески протежировала бывшего мужа в театральных делах или в киношных, когда он с новой женой оказался в эмиграции, даже сняла с ним фильм. Племянницу Марину она растила наравне со своей дочерью, оплачивала обучение и лечение; заботилась о сестре Аде и в трудное время назначила ей содержание. Для этого она и снималась в кино почти *non stop*.

К этим ключевым словам мы с Ренатой Хелькер добавили еще “профессионализм”.

Для ее тетки Ольги Леонардовны Художественный театр был ее домом, продолжением семьи. Для Михаила Чехова искусство, наряду с антропософией, было смыслом и разгадкой жизни. Для самой Ольги Чеховой – средством к существованию. Она блестяще владела профессией, но главное было за ее пределами.

* * * * *

…Когда-то в летней театральной школе в антропософском монастыре близ Стратфорда-на-Эйвоне, где мне досталось объяснять майкл-чеховским адептам, откуда взялся их Учитель, подошла седая старушка со словами: “Теперь я знаю, кому может понадобиться связка писем Ады Книппер. Вот вам моя карточка, позвоните, когда будете в Америке”. Это не заставило себя ждать (перестройка!), но… в Вашингтоне меня ограбили, и вместе с “возобновляемым” имуществом – паспортом, деньгами и проч. – пропала и эта драгоценная карточка. Сколько я ни звонила по разным телефонам, ни рыскала по всем американским сусекам, она пропала как мираж. Если бы я была мистиком, то сказала бы, что “таинственная Ольга” не хочет раскрывать свои “три карты”. Обнаружится ли ее архив теперь, после того как ее внук и наследник исчезнувшей фирмы Михаил трагически покончил с собой вместе с женой в номере гостиницы в Париже – мир их праху! Найдется ли там пресловутая “позолоченная книжечка” или какое-нибудь завалявшееся конфиденциальное письмо?

Или вынырнет что-нибудь суперсуперсекретное в родных пенатах? Мифологическая – не говоря бульварная – пена, которая нынче в России заволокла и почти поглотила реальный образ Ольги Чеховой, не отменяет того, что эта женщина с сильным характером и способностью к мимикрии, никогда не терявшая привязанности к своей родине и знавшая цену самой верхушке “тысячелетнего рейха”, могла принять то или иное участие в антифашистском подполье. Ведь не чуждалась этого ее шведская коллега, соперница и тоже звезда Цара Леандер. Но пока само обилие и разнобой версий и слухов ставят их под сомнение.

Так или иначе, но жизнь на разломах истории уготовила Ольге огонь, воду и медные трубы, которые она прошла и устояла, и теперь по праву может претендовать на номинацию в категории “Железная женщина”.

Алла Демидова
Таинственный и новый

Однажды после концерта мне кто-то подарил маленькую книжечку без обложки. Это оказался сборник Анны Ахматовой “*Anno Domini* MCMXXI” издательства *Petropolis* 1921 года. А на титульном листе рукой Ахматовой надпись:

Ты всегда таинственный и новый,
Я тебе послушней с каждым днем,
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем!

А. Ахматова. 20 февраля 1922 года, г. Москва

Надпись без адреса. Кому? С кем Ахматова была в Москве в феврале 1922 года? Попробуем разобраться в этой загадке.

Как известно, стихотворение “Ты всегда таинственный и новый” было написано в декабре 1917 года.

В декабре 1917 года на своем первом сборнике “Вечер” Ахматова сделала такую надпись для Владимира Шилейко: “Моему тихому голубю, чтоб он обо мне не скучал. Аня”.

Может быть, и стихотворение “Ты всегда таинственный и новый” было посвящено тоже Шилейко? Но на “моем” сборничке стоит дата 20 февраля 1922 года.

Что за это время – с декабря 1917 года по февраль 1922-го – происходило в жизни Ахматовой?

Время очень трудное. Послереволюционное.

В середине сентября 1917 года вышел в свет сборник Ахматовой “Белая стая”, где почти все стихи были посвящены Борису Анрепу. Значит, начнем с него.

В 1915 году близкий друг Ахматовой Николай Владимирович Недоброво познакомил ее со своим другом Борисом Васильевичем Анрепом, который вернулся из Англии, как офицер, после объявления войны. С этого времени начинаются стихи, посвященные Анрепу. Ему дарятся все три сборника стихов Ахматовой, которые он потом бережно переплел в красивые кожаные переплеты. На сборнике “Вечер” Ахматова написала:

Борису Анрепу
Одной надежды меньше стало,
Одною песней больше будет.

Анна Ахматова. 1916 год. Царское Село. 13 февраля

Строчки – из стихотворения Ахматовой, 1915 год:

Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам на смех и поруганье,
Затем, что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.

“Любовное молчанье” со стороны Анрепа – это Ахматова понимала, потому что она ему же посвятила:

Это просто, это ясно,
Это всякому понятно,
Ты меня совсем не любишь,
Не полюбишь никогда.

Тем не менее на сборнике “Четки” (в четвертом издании 1916 года) надпись Анрепу гласила: “И эти / Четки / Анрепу / Ахматова” (первые два слова надписаны над заглавием, и внизу в левом углу рукой Ахматовой поставлена дата: “1917 г. 18 февраля. Петербург”).

Анреп уехал из России за день до Октябрьского переворота, то есть 24 октября 1917 года.

Перед отъездом пришел к Срезневским, у которых в это время жила Ахматова, но не застал ее дома, – так и уехал, не попрощавшись. Уехал навсегда.

После его отъезда Ахматова уже не писала страстно ликующих стихов Анрепу, да и на только что вышедшей “Белой стае” написала ему лишь: “Анрепу – Анна Ахматова”.

Она осталась к этому времени одна в этом быстро изменяющемся мире. Недоброво был в Крыму, где и умер в 1919 году, Гумилев командирован в Лондон и Париж, свекровь с Левой в Слепневе (потом в Бежецке), дом в Царском Селе был продан еще в 1916 году.

После лета 1917 года в Слепневе Ахматовой жить было негде.

Ее приютила у себя школьная подруга Валя Тюльпанова, в замужестве – Срезневская. У Срезневских Ахматову нашел Мандельштам, стал ходить к ней в гости, но она скоро заметила, что голодный Мандельштам приходил ко времени обеда, а поскольку она сама была нахлебницей, поэтому деликатно уводила его гулять перед обедом, и они оба оставались голодными.

Сборник “Белая стая” составлял близкий друг Гумилева Михаил Леонидович Лозинский. Издательство “Гиперборей”. Две тысячи экземпляров.

В октябре Ахматова зашла в Публичную библиотеку, где работал Лозинский, забрать очередную порцию причитающихся ей книг “Белая стая”. Один сборник она еще в сентябре подписала Лозинскому: “Михаилу Леонидовичу Лозинскому от его друга Ахматовой. Малый дар за великий труд. 15 сентября 1917 г. Петербург”. А в этот раз Лозинский попросил ее подписать еще одну “Белую стаю” их общему другу, вернувшемуся после демобилизации в город. И Ахматова написала:

Владимиру Казимировичу Шилейко
В память многих бесед
[Белая стая]
С любовью Анна Ахматова
…И жар по вечерам, и утром вялость,
И губ растрескавшихся вкус кровавый.
Так вот она – последняя усталость,
Так вот оно – Преддверье Царства Славы!

7 октября 1917. Петербург

Но сборник этот по каким-то причинам не попал в руки Шилейко, и Ахматова позже, после ряда событий, подписала ему “Белую стаю” еще раз.

Встретила она Шилейко случайно на улице в конце ноября 1917 года. К этому времени было уже очень холодно, Ахматова шла полубольная, с промокшими ногами, в летнем пальто. Шилейко пригласил ее к себе в гости. Он жил в это время в двух маленьких комнатах в правом флигеле Фонтанного дома, в левом жила семья Пушных.

В “берлоге”, как прозвали друзья нору Шилейко, было тепло и пахло кофе. Недаром Гумилев прозвал жилище Шилейко “шумерской кофейней” и считал своего друга простым гением. С Ахматовой Шилейко был знаком с 1911 года, время от времени писал ей влюбленные стихи, на которые она отозвалась в 1913

году:

Косноязычно славивший меня
Еще топтался на краю эстрады.
От дыма сизого и тусклого огня
Мы все уйти, конечно, были рады.

Но в путаных словах вопрос зажжен,
Зачем не стала я звездой любовной,
И стыдной болью был преображен
Над нами лик жестокий и бескровный.

Люби меня, припоминай и плачь!
Все плачущие не равны ль пред Богом?
Мне снится, что меня ведет палач
По голубым предутренним дорогам.

Но это было написано в 1913 году, когда у Ахматовой был шлейф поклонников. А сейчас, в ноябре 1917 года, после промозглой улицы, после выпитого вина, у горячей печки, она осталась у него до утра. Они с Гумилевым и раньше ночевали у Шилея (как звали его друзья), когда они приезжали из Слепнева и им в городе надо было переночевать.

Ахматова не сразу перебралась жить к Шилейко. Ночевала то у Срезневских в пансионате в Царском Селе, то у Шилея.

Позже, рассказывая про это время Павлу Лукницкому, Ахматова говорила: “К нему я сама пошла… чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет”. “Очищения” не произошло. Жизнь с ним оказалась очень тяжелой. Поэтому в декабре 1917-го появились такие стихи:

Ты всегда таинственный и новый,
Я тебе послушней с каждым днем,
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем.

Запрещаешь петь и улыбаться,
А молиться запретил давно.
Только б мне с тобою не расстаться,
Остальное все равно!

Так, земле и небесам чужая,
Я живу и больше не пою,
Словно ты у ада и у рая

Отнял душу вольную мою.

(Стихотворение вошло потом в четвертый сборник стихов Ахматовой “Подорожник” в 1921 году.) Вторично подписала сборник “Белая стая” 3 февраля 1918 года для Шилейко: “Моему солнцу. Анна”. Таких надписей она не делала никому, даже Анрепу, она писала: “Ты – солнце моих песнопений”.

Шилейко потребовал развода с Гумилевым. К этому времени Гумилев как раз вернулся из Европы, зашел к Срезневским, не застал там Анну Андреевну, сказал, что придет вечером, – не пришел. Не пришел и на следующий день. Через два дня появился, передал подарок от Анрепа, с которым виделся в Лондоне. Срезневская пишет в своих воспоминаниях: “…Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним. Коля страшно побледнел, помолчал и сказал: «Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что хочешь». Встал и ушел”.

Владимир Казимирович оказался патологически ревнив, запирал Анну Андреевну на ключ, чтобы она не могла никуда уйти, заставлял ее сжигать, не распечатывая, все получаемые ею письма. Заставлял часами переписывать переводимые им с листа древние тексты. Оказался капризным и мелочным.

“Как муж он был катастрофой в любом смысле”, – рассказывала потом она Лукницкому. Или – “да, он тяжелый в общении с другими человек, …у него темперамент ученого, все его интересы в науке, и в жизни он может быть тягостным для других. Но у него есть и достоинства – он веселый, он остроумный… И он не плохой человек”.

Корней Иванович Чуковский записал в своем дневнике 19 января 1920 года: “Вчера – у Анны Ахматовой. Она и Шилейко в одной большой комнате – за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодно, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мной по телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейко ласково иногда подходит и ото лба отметает волосы. Он зовет ее Анечка. Она его – Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами – *a livre ouvert* – целую балладу – диктует ее прямо набело! «А потом впадает в лунатизм»”.

Живя с Шилейко, Анна почти перестала писать стихи. В 1918-м написала пять стихотворений, в 1919-м – четыре, в 1920-м – только одно.

Новый поэтический взлет – в 1921–1922 годах, когда она освободилась от своего “Дракона”.

Тебе покорной? Ты сошел с ума!

Покорна я одной Господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж – палач, а дом его – тюрьма.

Но видишь ли! Ведь я пришла сама…
Декабрь рождался, ветры выли в поле,
И было так светло в твоей неволе,
А за окошком сторожила тьма.

Так птица о прозрачное стекло
Всем телом бьется в зимнее ненастье,
И кровь пятнает белое крыло.

Теперь во мне спокойствие и счастье.
Прощай, мой тихий, ты мне вечно мил
За то, что в дом свой странницу пустил.

Написала она это стихотворение в 1921 году.

Спасали ее от неволи ее старые друзья – Олечка Судейкина и Артур Лурье, которые в то время считались мужем и женой.

Дружба с ними началась еще в 1913 году. Об Олечке Ахматова говорила: “Она была точно мой двойник, но какой-то, знаете, очень светлый”. А Лурье называл Ольгу “волшебной феей Петербурга”. С Артуром Лурье познакомилась в “Бродячей собаке” в 1913 году перед Новым годом, Гумилев напрасно звал жену в ту ночь домой – “опоздаем на поезд в Царское Село”, – она не слышала, сидела с Артуром у камина всю ночь, Гумилев уехал один.

Лурье тогда был футуристом. Дружил с Маяковским и Хлебниковым. Носил широкую зеленую кофту с большими пуговицами. Писал музыку к стихам Маяковского.

В четвертом издании “Белой стаи” Ахматова на одном стихотворении поставила посвящение “А.Л.”:

Да, я любила их, те сборища ночные, —
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

Стихотворение это было написано в 1917 году, а раньше – в 1913-м – было такое:

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

Когда Анна Андреевна познакомилась с Лурье, он был женат на поэтессе Ядвиге Цибульской, но Ахматова, по словам Лурье, “разорила его гнездо как коршун”. Тогда они встречались недолго в его снимаемой квартире на Гороховой улице, 29. Тогда же Лурье стал писать музыку на стихи Ахматовой, и эти романсы вскоре были изданы и назывались тоже “Четки”.

Снова они встретились в 1919 году, когда Ахматова жила у Шилейко. Лурье к этому моменту был комиссаром и работал в музыкальном отделе при Наркомпросе.

Когда Ахматова переехала к Лурье и Ольге, у нее ничего не было, даже пальто. Носила шинель Лурье (кстати, Шилейко тоже ходил в шинели). Потом ей сшили синее шелковое платье, и она “жила” в нем несколько лет. Ахматову устроили библиотекарем в Агрономический институт, она получила там комнату на Сергиевской улице, 7, и жила там в 1920–1922 годах. В 1920 году Фонтанный дом национализировали, Шилейко потерял свою квартиру и жил у Ахматовой, но уже просто как друг, и если раньше он говорил, что подобрал Ахматову как сенбернара Тапу на улице, то сейчас она могла сказать то же самое и про него.

Но связь с Артуром Лурье продолжалась. Она называла его Арик, Горюшко и Супостат. Он ее – Горбоносик-Глазенап. Любовь Лурье к ней Ахматова называла Лукницкому “богослужением”.

Но в то же время – “мы не могли разобраться, в кого из нас он

влюблен”.

А! Это снова ты. Не отроком влюбленным,
Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным
Ты в этот дом вошел и на меня глядишь …

Вместе с Лурье писали либретто к балету “Снежная маска” Блока. И на сборнике “Стихотворения Александра Блока”, принадлежавшем Лурье, Ахматова написала:

Не чудо ли, что знали мы его,
Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева,
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного Поэта своего.

16 августа 1921. Петербург

Ахматова потом рассказывала Лукницкому: “…Лурье заставлял бросить службу… я больна была. Он ко мне очень хорошо относился… Он хороший, Артур, только бабник страшный…”

В июле 1921 года издательство “Петрополис” выпустило “Подорожник” (десять тысяч экземпляров). На подходе была другая книжка. Ахматова не знала, как озаглавить этот сборник, они как-то шли с Лурье по улице, и он показал ей на фронтон одного дома, где была надпись *Anno Domini* (то есть “от Рождества Христова”). Ахматова назвала свой сборник *Anno Domini* MCMXXI. Лурье, будучи уже в Америке, написал воспоминания об этих годах и считал, что в *Anno Domini* ему были посвящены следующие стихи: “В тот давний год”, “Неправда, у тебя соперниц нет”, “Что ты бродишь неприкаянной”, “Ангел, три года хранивший меня”, “Из книги бытия”, “Путник милый, ты далече”, “Сослужу тебе верную службу”, “Пусть голоса органа снова грянут”, “Долгим взглядом твоим истомлен”, “Тебе покорной быть”, “Да, я любила их, те сборища”, “Я с тобою не стану пить вино”, “Лучше б мне частушки задорные”, “Ты всегда таинственный и новый”. Не могу обсуждать, правоверен ли этот список, но хочу обратить ваше внимание на последнее стихотворение: “Ты всегда таинственный и новый”, написанное в 1917 году и, как считается, посвященное Шилейко.

Но, во-первых, видимо, в 1917 году Ахматова и Лурье встретились, и тогда появилось стихотворение, посвященное Лурье, “Да, я любила их, те сборища”, и, во-вторых, сборник *Anno*

Domini с дарственной подписью, который оказался у меня, был подарен кому-то 20 февраля 1922 года в Москве. Может быть, этот сборник принадлежит Артуру Лурье?

Дело в том, что Лурье, будучи комиссаром по музыкальным делам, жил то в Петербурге, то в Москве. У Чуковского есть, например, запись в дневнике от 5 декабря 1920 года: “пили чай с Маяковским, говорили о Лурье, что Судейкина живет в холоде и голоде, а он в Москве жил комиссарски”. Комиссарство его закончилось в 1921 году, и к 1922-му Лурье решил эмигрировать и ездил в Москву за подписью Луначарского и за визой. Может быть, Ахматова ездила в феврале с ним в Москву и там подарила этот сборничек?

Но в Москве жил и Шилейко, который семь месяцев работал в Московском институте искусств и остальное время в Петрограде читал курс по древним языкам в университете.

22 июля 1922 года Лурье устроил прощальный вечер. За столом напротив Ахматовой сидел Николай Пунин, с которым Ахматова была мало знакома, он недавно женился, но она ему бросила записку “Приходите в «Звучащую Раковину»” и указала число. Он удивился, пришел, оказалось, что это была годовщина гибели Гумилева, он хотел уйти, но и там Ахматова ухитрилась ему передать записку о свидании уже у нее дома с восьми до девяти часов вечера (она знала, что в десять вернется Судейкина). Так началась уже другая история ахматовской жизни.

Лурье уехал на пароходе “Гакси” 17 августа 1922 года. Ахматова его провожала:

> Кое-как удалось разлучиться
> И постылый огонь потушить.
> Враг мой вечный, пора научиться
> Вам кого-нибудь вправду любить.

Лукницкий записал в своем дневнике: “Артур Лурье уезжал от А.А. со слезами”. А Ахматова вслед написала в 1922 году стихотворение “Разлука”:

> Вот и берег северного моря,
> Вот граница наших бед и слав,—
> Не пойму, от счастья или горя
> Плачешь ты, к моим ногам припав.
> Мне не надо больше обреченных —
> Пленников, заложников, рабов,
> Только с милым мне и непреклонным
> Буду я делить и хлеб, и кров.

Ахматова осталась жить с Ольгой Судейкиной (та эмигрировала только в 1924 году), но продолжала общаться с Шилейко, который получил служебную квартиру в Мраморном дворце, и когда уезжал в Москву, то за Тапом (Тапа, Тап, Тапуля, Тушин) ухаживала Ахматова или ее к этому времени верные друзья – Павел Лукницкий и Николай Пунин. В черновиках остались строки из стихотворения Ахматовой “Опять подошли «незабвенные даты»”:

Все ясно – кончается злая неволя,
Сейчас я пройду через Марсово поле.

А в Мраморном крайнее пусто окно,
Там пью я с тобой ледяное вино,

Мы заняты странным с тобой разговором,
Уже без проклятий, уже без укоров…

И там попрощаюсь с тобою навек,
Мудрец и безумец – дурной человек.

А Шилейко в письме своей третьей жене Вере Константиновне Андреевой пишет в Москву: “Потом пришла Анна Андреевна и увела меня обедать в маленький ресторанчик на Екатерининской и после любезной и ядовитой беседы отбыла в Царское – вероятно, совсем”. (Ахматова в это время жила в пансионате в Царском Селе.)

И, опуская все подробности, привожу запись Павла Лукницкого от 23 января 1926 года: “…Пришел (в Мраморный дворец). В столовой друг против друга сидели А. А. и Шилейко – пили чай. (Это было в час дня.) А.А. в шубе, Шилейко в пиджаке. …Можно не любить Шилейко, но нельзя не удивляться его исключительному остроумию”.

Официально брак с Шилейко был по его просьбе расторгнут 8 июня 1926 года.

Запись Лукницкого от 20 июня 1926 года: “А.А. живет материально так: 60 рублей из КУБУ и 50 от Шилейко (на квартиру и Тапа). Квартира стоит 20 с лишним рублей в месяц, 20 рублей А.А. отдает (посылает) А.Н. (матери Гумилева) и Леве – в Бежецк. Кормежка Тапа обходится в 15 рублей. Обед А.А. ничего не стоит (обед у Пунина). Прислуга получает жалованье – 8 рублей. А.А. остается 47 руб. на все расходы”.

Так кому все-таки был подарен в 1922 году сборник *Anno Domini?*

Лукницкий, который в 1924 году записывал за Ахматовой ее воспоминания, пишет, что Анна Андреевна рассказывала, как в 1918 году ездила с Шилейко в Москву и жила там с ним некоторое время в Зачатьевском переулке. (“Переулочек, переул, гордо петелькой затянул…”)“Пробыли там (в Москве) недолго и совсем вернулись в Петербург. …С того времени я живу в Петербурге безвыездно, два раза я выезжал с тех пор из Петербурга – раз в Бежецк, на рождество 21-го года, и в апреле 24-го года – в Москву и Харьков читать стихи…”

Не думаю, что Ахматова забыла свою поездку в Москву в 1922 году. Значит, поездка была тайной. Но от кого?..

P. S. Почему я все-таки думаю, что книжечка была подарена Артуру Лурье.

К этому времени – к 1922 году – они были вместе уже довольно-таки долго. Но и он оказался, как Шилейко, не легким в быту. Лукницкий, например, пишет, что “Артур Лурье ревновал почерк А.А. Он требовал, чтобы она отдавала свои стихи переписывать на машинке. Если А.А. посылала в журнал свои стихи, написав их своей рукой, он в «неистовую ярость» приходил”.

Или когда в 1922 году Лурье заставил Ахматову бросить службу, то – как рассказывала Анна Андреевна тому же Лукницкому – “Я в библиотеке служила. Говорил, что если не брошу – будет приходить на службу и скандалы устраивать… Потом решил уехать за границу. А я очень спокойно отнеслась к этому. …Когда уехал, стало так легко!.. Я как песня ходила. … Писал письма – 14 писем написал, я ни на одно не ответила… Я написала стихотворение «Разлука» и успокоилась”.

Кое-как удалось разлучиться
И постылый огонь потушить.
Враг мой вечный, пора научиться
Вам кого-нибудь вправду любить.

Я-то вольная. Все мне забава, —
Ночью Муза слетит утешать,
А наутро притащится слава
Погремушкой над ухом трещать.

Обо мне и молиться не стоит,
И, уйдя, оглянуться назад…

Черный ветер меня успокоит,
Веселит золотой листопад.

Как подарок, приму я разлуку
И забвение, как благодать.
Но, скажи мне, на крестную муку
Ты другую посмеешь послать?

Марфа Пешкова
Дочь Тимоши

Никогда не думал, что это со мной случится. О том, что у писателя Максима Горького есть внучка Марфа, я, конечно, знал. Да любой, кто переступал порог роскошного шехтелевского особняка на Малой Никитской, в народе известного как Дом Горького, видел детскую фотографию возле кровати писателя. Служители музея поясняли: “Это Марфа, любимая внучка”. Но ведь одно дело знать о ее существовании, а совсем другое – с ней познакомиться.

Зимой 2012 года в Москве состоялась презентация моей книги “Судьба красоты. Истории грузинских жен”. Организаторы спросили, кого из гостей я хотел бы видеть на своем вечере. Я и ответил: Марфу Пешкову. К историям грузинских жен она имела самое прямое отношение – была замужем за Серго Берией, сыном сталинского наркома. Ее свекрови была посвящена одна из глав книги. При этом, признаюсь, не был уверен ни в том, что Марфа Максимовна в эти дни в Москве, а если честно, вообще ни в чем не был уверен. Но через пару дней мне передали ее номер телефона. Оказалось, что Пешкова не очень хорошо себя чувствует, приехать на презентацию книги не может, но позвонить ей можно.

Когда внучка Горького услышала, что речь идет не о ее дедушке (видимо, интервью на тему великого предка уже порядочно успели утомить), а о Грузии и связанных с этой страной женских судьбах, ее голос изменился. Несколько минут Марфа Максимовна расспрашивала меня о книге, а потом неожиданно предложила: “Если у вас есть возможность, приезжайте в гости. Заодно и книгу покажете. Только учтите, я живу не в Москве”. На другой день я уже ехал по Рублевскому шоссе в сторону Николиной Горы. Здесь прошло детство Марфы Максимовны. Сегодня она занимает двухкомнатную квартиру в небольшом поселке, построенном в советские годы для работников местного санатория. Дедушкина дача в Горках-10 давно перешла обратно государству, теперь там закрытый дом отдыха для высокопоставленных чиновников, и даже внучку писателя бдительная охрана не пропускает на территорию. Хотя всего-то и хотелось – посмотреть, осталась ли мемориальная доска на доме, где жил Горький и где прошли самые беззаботные, а потому, наверное, и лучшие годы Марфы Пешковой. Взамен того дома семье дали другую дачу, в престижной сегодня

Жуковке, все на том же Рублевском шоссе. Ее Марфа Максимовна продала несколько лет назад. И купила себе небольшую уютную квартирку в поселке в районе Николиной Горы. И квартиру в Испании. Говорит, что хотела, конечно, вернуться в Италию, где она, собственно, и появилась на свет в 1925 году. Но цены на недвижимость в этой средиземноморской стране оказались на порядок выше. Остановилась на побережье в Испании, о чем Марфа Максимовна, к слову говоря, ничуть не жалеет.

Легко сосчитать возраст моей героини. Но не поверить в него. Хотя сама Марфа Пешкова на просьбу раскрыть секрет своей молодости отвечает, что ничего особенного нет, просто нужно во всем соблюдать меру. А восхищения своей красотой и вовсе встречает едва ли не с обидой: “Одна корреспондентка в прошлом году обманом записала со мной интервью, а потом еще и назвала в статье Марфой-красавицей. Это же издевательство! Что я, ничего про себя не понимаю, что ли!” Зная отношение хозяйки дома к красивым словам, молчу. Зато друзья, несколько раз оказавшись вместе со мной у Пешковой, не выдерживают и обрушивают на Марфу Максимовну соловьиные трели восторга. А потом говорят мне: “Мы видели Историю”. Интересно, что бы они сказали, расскажи я им о том, что три года назад, аккурат на момент нашего знакомства, у Пешковой была серьезная травма – перелом шейки бедра. Несколько лет она пыталась починить ногу в наших больницах. Но слышала от врачей лишь совет заглянуть в паспорт и радоваться тому, что имеет возможность передвигаться хотя бы с палочкой. Тогда Марфа Максимовна обратилась к врачам испанским, и те сделали-таки операцию. “А как бы я иначе могла отправиться на свадьбу своей внучки? – удивляется моему очередному восторгу Пешкова. – Не с палочкой же!”

Я не помню, чтобы у Марфы Пешковой было плохое настроение. Лишь один раз, после того как из-за пробок на Рублевке я смог пробыть у нее от силы пять минут, передал какие-то подарки и тут же вынужденно сбежал в Москву, на другой день она говорила со мной по телефону подчеркнуто сухо: “Я удивляюсь вашему нелюбопытству”. Да я и сам потом ругал себя – как можно по своей воле отказать в удовольствии услышать невероятные истории, действующими лицами которых становятся знаковые персонажи ушедшего века. И рассказывает обо всем человек, если и не принимавший непосредственное участие, то уж точно являющийся прямым свидетелем тому, о чем мы читаем в учебниках.

Марфа Максимовна вспоминать любит и умеет рассказывать о прошлом так, словно это случилось вчера. Она не жалеет о былом, никого ни в чем не винит, хотя в ее жизни были довольно

драматичные моменты – взять хотя бы конфискацию всего имущества и домашний арест, которому ее, ожидавшую третьего ребенка, подвергли после ареста всесильного свекра. Никто не защищает Лаврентия Берию, но санкции, как сказали бы сегодня, в отношении уж точно ни в чем не повинной невестки – это было чересчур. Пешкова о событиях 1953 года вспоминает спокойно, при этом то и дело сообщая поистине сенсационные факты, которым она стала свидетелем. И признается, что не испытывает ни малейшего желания ничего поменять в своей судьбе.

На вопрос о том, знакомо ли ей чувство ностальгии, отвечает: если только к Италии, благословенной солнечной стране у моря, где Марфа появилась на свет. Говорит, что самое лучшее время в жизни ее семьи связано именно с Сорренто. Что же касается редкого имени, поясняет, что так ее назвали в честь Марфы-посадницы, но крестил русский священник, специально вызванный в Сорренто Горьким, как Марию.

Признаюсь – непривычно, когда знаменитого писателя, “Буревестника революции”, как Горького называли в советских учебниках по литературе, кто-то величает просто “дедушкой”. Особенно если это происходит уже в новом веке. Кажется, я ни разу не слышал, чтобы Марфа Максимовна называла его по фамилии. Спрашиваю, как воспринимала называние парка культуры и отдыха в Москве или нынешнюю Тверскую, носившую раньше имя Горького. “Совершенно отстраненно, никогда не задумывалась, что все это названо в честь моего дедушки”, – отвечает Пешкова.

После часов, проведенных в ее доме, я поймал себя на том, что тоже больше не воспринимаю Горького лишь как мирового классика и автора великих пьес и романов. Для меня Максим Горький стал почти родным, пусть не дедушкой, но живым человеком, по утрам надевающим голубую рубашку, дабы подчеркнуть цвет глаз, расчесывающим свои такие знакомые по фото усы и ежик волос и наносящим на них несколько капель душистого одеколона. Именно таким он запомнился Марфе Пешковой.

Единственное, к чему я так и не сумел привыкнуть, – к невероятной памяти моей собеседницы, восстанавливающей с точностью до последнего штриха события своей жизни. О детстве ей напоминают десятки старых карточек, которые Марфа Максимовна каждый раз к моему приходу достает из альбомов и раскладывает на журнальном столике. Я знаю, что все фото хранятся на полках большого книжного шкафа, за стеклом которого установлены книги дедушки и старинная раскрашенная фотография: Горький с женой Екатериной Пешковой и сыном

Максимом. Но иногда мне хочется думать, что хозяйка достает уникальные снимки из старого фамильного резного сундука, стоявшего в свое время еще в доме Горького в Нижнем Новгороде. За спинкой дивана в большой комнате, объединенной с кухней, устроена своего рода выставка коллекции: фигурки осликов. “Это мой талисман, – улыбается она. – Когда у мамы пропало грудное молоко, кто-то подсказал ей, что младенца можно кормить ослиным. Как видите, это оказалось правдой”. Когда я только переступил порог квартиры Пешковой, то обратил внимание на репродукцию в рамке и под стеклом: в старинном кресле сидит редкой красоты женщина, задумавшаяся о чем-то далеком. Сам оригинал работы Павла Корина хранится в Третьяковской галерее.

“Моя несчастная мама, – перехватив мой взгляд, пояснила Марфа Максимовна. – Почему несчастная? Это долгая история. Когда-нибудь расскажу”.

Конечно, после этой фразы я ждал, когда же Пешкова исполнит свое обещание. Невестка Горького, мать Марфы, была знаменитой московской красавицей, о которой много говорили, но документальных и подробных свидетельств о ней, увы, не существует.

В свое время Анна Ахматова сказала, что одна из ненаписанных трагедий двадцатого столетия – это история под названием “Тимоша”. Именно так в ближнем кругу называли невестку Максима Горького. Тимошей она стала с легкой руки писателя. Однажды она вышла к столу, сняла шляпу, и под ней вместо привычной роскошной косы гости увидели коротко остриженные волосы. Которые топорщились во все стороны.

“У нас так кучера ходили”, – заметил Горький. “Точно, вылитая Тимоша”, – тут же поддержал отца Максим, назвав жену именем, которым обращались к извозчикам.

Когда-нибудь я напишу об этой семье подробно. Пока не пришло время. Сама Марфа Максимовна во время нашей очередной встречи, а вернее – потока моих расспросов и волны своих воспоминаний, вдруг сделала паузу и спросила сама: “Вы собираетесь обо всем этом писать? Но тогда не сейчас. А уже потом”. И сделала паузу.

Я услышал молчание Пешковой. И пока, заручившись согласием своей героини, предлагаю лишь часть ее воспоминаний. Кстати, когда Марфа Максимовна читала рукопись, то вносила столь меткие правки, что, не зная ее родословную, впору было задаться вопросом, в кого у нее такой литературный и редакторский дар.

Игорь Оболенский

Пожалуй, начну с того, как познакомились мои родители. Мама должна была венчаться с сыном богатого мануфактурщика. Они уже ходили в церковь в Брюсовом переулке, все было оговорено. Но тут появился мой отец. Они с мамой уже были знакомы. Первая встреча состоялась на катке на Патриарших прудах. Мама там жила. Стоял тогда такой двухэтажный желтенький домик, который потом снесли и на его месте построили четырехэтажный особняк для наших военачальников, так называемый домик со львами.

В старом желтеньком домике жил мамин отец. Его пригласили в Москву читать лекции в медицинском институте. Он был большой специалист по лечению болезней почек. На первом этаже у него находился госпиталь, а на втором жила семья.

На прудах зимой заливали каток. У папы был друг закадычный, Костя Блеклов (одно время сотрудник советского посольства в Италии, а затем работавший в организации, занимавшейся строительством Дворца Советов, репрессирован в 1938 году. – *И.О.*). Они ходили кататься на коньках и так познакомились с мамой. Когда отец услышал, что мама собирается замуж, то начал ее отговаривать: “Куда ты так торопишься? Зачем тебе это надо? У нас такая хорошая компания”.

Дело в том, что мамин отец был уже болен, чувствовал, что ему недолго осталось, он же врач был. И потому хотел, чтобы судьба младшей дочери была устроена. Так что сама мама-то и не хотела замуж, может, ей просто интересно было. Она же совсем юная была, семнадцать-восемнадцать лет. И папа уговорил ее повременить. Она отказалась выходить замуж, но так, не резко, чтобы своего отца не травмировать. Сказала, что, мол, потом обвенчаемся, в другое время.

А за это время дедушка Горький собрался уехать из России. Его поездка планировалась вначале в Германию, потом в Италию, в Сорренто. Он был не согласен с деятельностью Урицкого (который обыск в его квартире делал), рассердился, что ему не доверяют. Хотя, действительно, у него в петроградской квартире на Кронверкском проспекте останавливались те, кто хотел уехать из России. Все же это было зафиксировано.

Короче говоря, отец уговорил маму составить ему в путешествии компанию. Просто прокатиться, она же никогда не была за границей. И мама поехала.

С ними отправилась ее приятельница, Лидия Шаляпина, дочь Федора Ивановича. Папа мой был влюблен в маму. И попросил

Лиду: “Скажи Наде, чтобы просто поехала с нами. Посмотрит мир, будет интересно”. И она уговорила.

В Берлине мама с папой расписались, обменялись кольцами. Первое время жили в Шварцвальде, потом уехали в Чехословакию, там получили визы и уже оказались наконец в Италии.

Как мамин папа отнесся к отъезду дочери с сыном Горького, я не знаю. Мама не рассказывала.

По профессии она была художницей, с детства рисовала. У меня был альбомчик с ее рисунками, но потерялся. Многое пропало, когда я продавала дачу. Приходили люди смотреть дом, и все куда-то исчезало.

Мама писала картины и зарабатывала тем, что их продавала. Ее тема была – окружение Горького. Ее работы и сейчас находятся в музеях Горького.

А вообще мама хотела быть актрисой. Когда из Турции приезжал Ататюрк, мама танцевала перед ним барыню. Она очень хорошо танцевала. Ататюрк был в восторге и подарил маме букет цветов.

Вместе с Лидой Шаляпиной, дочерью Федора Ивановича, мама мечтала о сцене. Они были знакомы с Рубеном Симоновым. И собирались все вместе поступать в студию к Вахтангову. Но Лидочка уговорила маму ехать за границу с Горькими: “А в вахтанговскую студию потом поступим”.

В итоге Лидочка оказалась в Америке. А мама осталась в Италии.

Тогда в Сорренто все художники собрались: Бенуа, Борис Шаляпин, Валентина Ходасевич. Выходили на пленэр, писали. И мама увлеклась. Ее обучили каким-то основам живописи, и она стала художницей. Как-то сразу все пошло хорошо, стало получаться.

Очень ведь талантливые мастера с ней работали. Борис Шаляпин, сын великого певца, был очень хороший портретист, женщины на его полотнах выходили еще красивее, чем в жизни. Скульптор Сергей Коненков приезжал. Он, кстати, сделал мой первый бюст, когда вернулся в СССР.

Потом, уже снова оказавшись в Москве, мама занималась с Павлом Кориным.

О прошлом она вспоминать не любила. Была пуганая, что ли. Так же как и я.

Я ходила в школу, когда шел Третий процесс, во время которого Ягода и Крючков признались в убийстве Горького и моего отца. Верила ли я в это? Сталину Максим, конечно, мешал. Он же был единственным, кто был как-то связан с внешним

миром, все другие связи уже были перекрыты. Петр Крючков, секретарь дедушки, был явно окружен теми, кто диктовал, кого пустить к Горькому, а кого нет. Уже охрана была.

А Максим и Костя Блеклов, его друг ближайший, видели, что делается в стране. Тогда уже кое-кто начинал понимать истинную картину происходящего.

Дедушка вряд ли был в курсе. Потому что был совершенно оторван от внешнего мира. Папа же был искренний коммунист, в свое время бывал запросто у Ленина. У меня есть папина книжка, и там записаны телефоны Ленина, Дзержинского. Кстати, Ленин и заставил папу поехать с дедушкой за границу, сам Максим не хотел уезжать. Потом бабушка на Ленина из-за этого была очень сердита. Папу фактически назначили быть тенью Горького, и его собственная жизнь оказалась сломана.

Он был талантливым человеком, хорошо рисовал, писал. Но что делать – любил выпить. Как русский человек. И на этом сыграли. Особенно нарком НКВД Ягода.

Вранье, что Ягода любил маму. Она сама мне рассказывала о том, как все было на самом деле. Когда ей уже плохо было, она мне о многом говорила: “Ты должна знать… ты должна знать…”

Главная трагедия в нашей семье случилась после того, как мы вернулись из Италии в Советский Союз. Лучше всего о жизни дедушки в СССР сказал Ромен Роллан, когда гостил у нас в десятых Горках: “Медведь на золотой цепи”. Это в его воспоминаниях написано.

Медведь на золотой цепи – и этим все сказано! Когда дедушка захотел обратно уехать в Италию, Сталин его не отпустил: “Зачем вам Сорренто, у нас Крым есть, мы вам там дачу предоставим”.

Конечно, дедушка понял, что это тюрьма. Все же знали, зачем его Сталин вытащил из Италии в Москву: он хотел, чтобы Горький написал о нем книгу. Это была его просто идея фикс. Сталин сам ему материалы даже присылал, архивы.

Дедушка не говорил “нет”, но тянул. В итоге им ни строчки не написано. Я думаю, он просто для себя решил, что писать о Сталине не будет.

Горький ведь не был совсем уж наивным человеком. Хотя реальных связей с внешним миром в последние годы у него и не было.

Мама ездила с ним на Соловки. Хотела своими глазами посмотреть, что творится. Но там ведь все было подготовлено. Одна только история вне сценария приключилась, с газетой. Заключенный попытался показать, что все подстроено, – на виду у всех сидел и читал газету, которая была повернута наоборот:

“Правда” было написано снизу вверх. И мама с дедушкой, конечно, все поняли. Но сделать уже ничего не могли…

В маминой семье было восемь человек детей, одна даже приемная девочка. Детьми они жили в Томске, Введенские была их фамилия. И когда стали вырастать, то, конечно, разъезжались кто куда. Мама с родителями, она младшая была, оказалась в Москве. В основном все Введенские становились врачами.

Только мамина сестра Вера выбрала для себя профессию дорожного строителя и окончила технический вуз. Жила она в Ташкенте, где ей выделили огромный кусок земли.

Замужем Вера была за Михаилом Яковлевичем Громовым, дядей знаменитого летчика Михаила Громова, который в Америку летал. Он был математик, преподавал в институте.

В июне 1941 года началась война. Мы об этом узнали, когда отправились с мамой на площадь Маяковского. Вдруг видим – возле громкоговорителей народ собирается. И тут выступил Молотов и сказал, что началась война. Мы тут же побежали обратно к себе на Малую Никитскую.

Очень быстро встал вопрос, как быть. Тут-то Верочка и пригласила нас с мамой к себе в Ташкент.

Перед отъездом мы зашли навестить самую близкую мамину подругу. Ее звали Настя Пышкало, она пела в Большом театре. Особенно мне запомнилась ария Леля из “Русалочки”.

Пышкало – это ее девичья фамилия. У Насти было два инфаркта, она находилась дома в очень плохом состоянии. Ни о каком отъезде для нее не шло и речи. Потому мама и сказала: “Давай поедем, простимся с Настюшей”.

Мы поехали к ней на Остоженку. Она лежала в кровати, медицинская сестра за ней смотрела. Сидели, разговаривали, вспоминали что-то. Она в Сорренто, кстати, приезжала, когда мама и папа там жили. Так что было что вспомнить. А потом Настя вдруг обращается к маме: “Тимошенька, пойди на кухню, приготовь нам чайку”. Мама, конечно же, тут же поднялась и пошла готовить чай.

А Настя подзывает меня, показывает ладонью, чтобы я присела к ней на кровать. И шепотом говорит: “Все-таки кто-то должен это знать”. И рассказала мне, что маме сделал предложение Сталин и она твердо ответила ему “нет”.

“Будь рядом с мамой и следи, чтобы ей не было очень плохо. Потому что теперь может произойти все что угодно”.

Она быстро мне все это сказала, а когда мама вернулась с чаем, то мы сделали вид, что никакого разговора между нами не было. Я поправила Насте подушку и вернулась на свое место.

Мы еще не уехали в Ташкент, как Насти не стало, она умерла.

Военный Ташкент – это было удивительное место. Прекрасное.

Тетя Вера построила там дом по своему же чертежу, одноэтажный. И сделала две гостевые комнаты, очень удобные. Помню, окна были сделаны наверху, чтобы летом сохранять прохладу. Толстые стены очень были, и, действительно, летом, в самую жару, всегда было прохладно. Входишь в дом – и благодать.

Вообще, когда эвакуация началась, то нам в Чистополь предложили ехать, всех писателей туда отправляли. А мама как раз получила телеграмму от Верочки: “Приезжайте, мы вас ждем”. И мы поехали.

Бабушка не захотела ехать, наотрез отказалась: “Я останусь на Малой Никитской, буду сторожить дедушкины вещи”.

Потом, когда уже немцы подходили к Москве, музейные ценности стали упаковывать и бабушке тоже сказали, что она в любом случае должна уехать. Вещи Горького отправили в Куйбышев, а бабушка поехала к нам в Ташкент.

Когда об этом узнал Лахути – знаменитый поэт восточный, он бабушке отдал целиком свой дом.

В Ташкенте было много интересных людей. К нам приходила Анна Ахматова, я ее хорошо помню. Такая величественная, любила сидеть в кресле на балконе. Специально для нее его туда подавали, и она садилась, словно восходя на трон.

Рина Зеленая приходила, у меня даже снимки сохранились. С ней всегда было весело. Она была очень живая. Райкин в нашем доме бывал со своей женой. И даже как-то устраивал у нас вечер, показывал свои номера. Потрясающе имитировал, как ловит рыбу: никак не получалось ее, скользкую, схватить, она выскакивала, он за ней нырял, хватал, потом она вырывалась, и он снова влезал в воду. Очень было смешно.

Вообще, многие актеры с мамой дружили. У нее очень большой был круг знакомых.

Что происходит потом? Первым претендентом на руку мамы был директор Института мировой литературы, академик Иван Луппол.

Он занимался дедушкиным архивом, мама ему помогала. В один из дней он предложил маме поехать с ним в Грузию. Мы уже понимали, что в Грузии они будут вместе и вернутся как муж и жена. До этого Луппол у нас в доме не оставался, только приходил обедать.

Его арестовали, как только они приехали в Грузию. Академик должен был открывать юбилейные торжества. У меня сохранился билет на эти празднества. В Сагурамо, это под Тбилиси, его и

забрали. Мама вернулась в Москву одна. Мы потом с ней где-то за городом прогуливались, и она рассказывала, как все произошло…

После войны в нашем доме появился архитектор Мирон Иванович Мержанов. Он, кстати, строил Сталину Ближнюю дачу. (И стал автором проекта медали “Золотая звезда Героя Советского Союза”. – *И.О.*) Он часто приходил в наш дом, брал нас с собой в Дом архитектора, возил за город, где у них было большое хозяйство. Мы хорошо проводили время. Он был уже фактически маминым мужем, потому что и ночевал уже у нас. Мы его очень полюбили. Очень был жизнерадостный, приятный, веселый.

А потом и его арестовали. Причем это случилось прямо при мне, ночью. Я проснулась, услышала шаги по лестнице. Явно мужские. Слышу, голоса какие-то там, у мамы. Думаю, что ж такое – ночь, шаги, голоса. Я приоткрыла дверь и в щелочку посмотрела…

Это на Никитской случилось. Я дождалась, когда два незнакомых человека в штатском вывели Мержанова. Мама его провожала. Ну а потом она пошла к себе, и я тут же побежала к ней в комнату.

Мержанов уцелел в лагере. Но он уже был совершенно больной, зубы все выпали, даже разговаривать практически не мог.

И третий мужчина был, Попов. Мама уже в преклонном возрасте находилась, и ни о какой свадьбе, конечно, речи не шло. Их познакомили общие друзья, Попов был товарищем хорошим. Надо же было, чтобы хоть какая-то мужская помощь маме была.

Все знали, что она застенчивый человек, никогда ни у кого ничего не попросит. А чувствовала себя уже весьма неважно, сердце пошаливало.

Этот Попов был зятем Михаила Калинина. Его первая жена умерла.

С мамой Попов познакомился, по-моему, на отдыхе. Они очень подружились. Так вот его тоже арестовали.

Как только Сталин умер, на третий же день выпустили и Мержанова, и Попова. А Луппол погиб во время войны. В лагере, где он сидел, голод был, их вообще не кормили. К бабушке приходил потом человек, который с ним сидел, и рассказывал, как Луппол сошел с ума, ползал по земле, выискивал травку и ее обсасывал. Так погибал академик, яркий, интересный мужчина, умница.

Мы с мамой на эту тему никогда не говорили. И она сама меня просила никогда ни с кем не говорить и ничего не рассказывать.

Я только недавно первый раз рассказала об этом своей дочери. А вы, получается, второй.

Говорили, что за мамой ухаживал нарком НКВД Генрих Ягода и что у них был роман. Неправда. Мама мне сама говорила, что Ягода специально был к ней подослан Сталиным, чтобы внушить, как здесь хорошо и сколько Сталин сделал для благополучия страны. Потому что Сталин сразу, едва увидев маму, решил на ней жениться. И нарком НКВД должен был этому поспособствовать.

Я наблюдала за ними – мама и Ягода ведь никогда никуда не уходили, все время были у меня на глазах. Ягода приезжал к нам, часто с женой, иногда Гарика, своего маленького сына, тоже брал с собой. И я бы почувствовала, если бы между мамой и Ягодой что-то было. Наоборот, он явно все время маму словно подталкивал под Сталина. Альбомы привозил с его фотографиями, книги с биографией, репортажи о стройках, которые были как свидетельство того, как у нас в стране все замечательно. Кстати, действительно многое тогда было сделано, этого нельзя отрицать.

Так что Ягода был как сталинский сват. И когда он не справился с порученной задачей, то получил приговор – встать к стенке. Хотя эта участь его ждала в любом случае, уже за то, что он слишком много знал.

Мы с мамой об этом тоже говорили, и она считала, что именно с такой целью Ягода появился.

Поначалу мама не знала, что Настя рассказала мне о предложении Сталина. А потом я ей призналась. И уже тогда что-то у мамы спрашивала, и она мне подтверждала.

Но вообще мама не любила на эти темы говорить, то и дело просила: “Не надо, ну не надо!” Словно отмахивалась ото всего.

Ей тяжело было вспоминать и не хотелось, чтобы я тоже об этом думала. Иногда мои расспросы даже вызывали у нее раздражение. Но я все равно не сдавалась и в итоге кое-что смогла разузнать.

Разговор Сталина с мамой состоялся после того, как дедушка умер. При Горьком это было бы невозможно даже представить. А так, буквально через год после его смерти, Сталин подъехал к нам на Никитскую. Вроде бы по делам – мама сама написала ему письмо, что надо организовать музей Горького. И вот под предлогом этого он и приехал. И сделал предложение.

На что мама абсолютно твердо сказала: “Нет”. И после этого начались аресты тех мужчин, которые возникали возле мамы.

Так мне рассказывала сама мама. Это было в Жуковке, я хорошо помню. Мы прогуливались, и она говорила. Потому,

может, Сталин и хотел, чтобы мы со Светланой (дочерью вождя. – *И.О.*) сблизились. Мы дружили с ней со второго класса. Нас за одну парту посадили. А познакомились еще до школы. Сталин первый привез ее к нам на дачу.

Тогда еще дедушка был жив. Наверное, это был 1934 год. Он хотел, чтобы Светлана дружила именно со мной и с Дарьей, моей сестрой. А потом меня отвезли к ней.

Получается, наша дружба была срежиссирована. Но получилась. И на всю жизнь.

Потом уже Светлана не могла пережить, что я вышла замуж за Серго (сына Лаврентия Берии. – *И.О.*). Она была влюблена в него со школы, если не раньше. Потому что первый раз она с ним встретилась еще девочкой в Гаграх. Их познакомила Нина Теймуразовна, мать Серго. И я первый раз его увидела у Светланы в Сочи.

Сохранилось даже письмо Светланы отцу, где она пишет: “Ты пока еще не приезжай, потому что бассейн не готов”. А в конце приписывает: “Марфа на дереве сидит и шлет тебе привет”.

Мы с ней такие две хулиганочки были, по деревьям лазали.

Помню, мы были с ней в бассейне, когда приехали Нина Теймуразовна и Серго. Светлана вышла к ним и тут же куда-то увела Серго. Я ждала их, ждала. Плавала, плавала. А потом разозлилась, обиделась, вышла из бассейна и попросила одного из охранников вызвать мне машину и уехала к маме.

На момент моего замужества за Серго она уже была замужем. Но ей было все равно. Она, может, потому и замуж вышла, так как понимала, что Серго уже не женится на ней. Что она только не делала для этого. Во время войны Серго был в Омске, учился в академии. Так она просила своего брата Васю и летела к нему. Бедный Серго потом не знал, что делать с ней. Она шла напролом.

Я как-то ее спросила:

– Светлана, что-то ты редко стала звонить, мы не видимся.

– А ты что, не понимаешь почему?

– Нет, Светлана, не понимаю.

– А то, что ты вместе с Серго. Ты же знала прекрасно, что я люблю его больше всего на свете.

– Но у тебя ведь уже муж и сын родился!

– А не имеет значения, может, я через пять лет разведусь.

Так что она все равно его не выпускала. Мы уже с Серго жили, а она звонила. Если я подходила к телефону, она вешала трубку. А когда он, начинала говорить, хотела еще раз с ним встретиться. Но он уже избегал.

Была ли она избалованным человеком? Я бы не сказала. Но

характер у нее был своевольный. Одевалась очень просто. Плакала мне, что, когда стала превращаться в девушку, отец резко изменил к ней отношение. Начал ревновать. И вот она придет к нему, он завтракает. Сталин ей: “Что это ты вырядилась? Что за кофта? Переоденься!”

Ну как же так можно было! Что я ей говорила в такие моменты? Ничего, выслушивала… Что я могла сказать? У меня была к ней страшная жалость изначально.

Мы знаете, как с ней познакомились окончательно? Когда во второй раз за мной прислали машину, я приехала на дачу к Светлане. Нянечка ее меня встретила и привела наверх к ней. Она сидела на диване и что-то шила. Сидим, молчим. Две маленькие девочки, не знаем, о чем говорить. Первый вопрос я ей задала:

– Что ты шьешь?

Она ответила:

– Платье для куклы.

– А почему черное?

– Потому что это из маминого платья. Я хочу, чтобы моя кукла в мамином платье ходила.

Потом посмотрела на меня:

– Ты разве не знаешь, что у меня мама умерла!

И стала рыдать. А я сказала:

– А у меня папа умер.

И тоже заплакала. Наши слезы нас сцепили.

Светлана приезжала к нам на новогоднюю елку в Горки. Дедушка устраивал, когда в СССР ее еще официально не ставили. Может, поэтому Сталин и разрешил елку, когда узнал, что Горький очень празднует. У нас был большой праздник, приглашали всех детей – писателей, соседских. Дедом Морозом был наш сосед, полярник Отто Шмидт. С большой черной бородой, с мешком подарков, которые он раздавал детворе. Мамы наши решали заранее, что дарить. Чтобы подарок получить, надо было или станцевать, или стишок рассказать. Я пела “Спи, младенец мой прекрасный” и держала большую куклу. Дедушка слушал и плакал.

Светлана тоже стих какой-то говорила.

Бывала она у нас и на праздновании Нового года на Малой Никитской. Как-то мы гадали – на подносе жгли бумагу, а потом ставили так свет, чтобы на стене появилась тень. Светлана тоже сожгла бумагу, и ей кто-то начал говорить. Разумеется, пророчил все хорошее. А когда мы за столом уже сидели, она мне шепнула: “Что он там трепался, когда там могила с крестом была видна. Сказал бы сразу”.

Что она там увидела? Но я ее не стала расспрашивать. Сама

испугалась.

Пытались ли за ней ухаживать? Нет, наоборот.

А мы с ней хулиганили… Как-то в Мухалатке проводили вместе лето. И попросили, чтобы нам дали винтовку. И стреляли в цель, очень даже неплохо, между прочим. Так и научились стрелять. Я потом в архитектурном институте вообще ходила на стрельбище. Стреляла и лежа, и с колена, и стоя.

Хорошо помню день, когда умер Сталин. Моя сестра плакала. А я – нет. Я жалела Светлану. Мы с Серго были на похоронах. Подходили к Светлане, она с Васей сидела у гроба.

Я Сталина не боялась. Я вообще была небоязлива. Нет, я Сталина ненавидела. Из-за Светланы. И фразы, которую он произнес с невероятной злостью, глядя мне прямо в глаза. Мы сидели обедали, все было спокойно. Он любил подтрунивать надо мной. В тот день спросил, много ли мальчиков вокруг меня крутится. Я тут же в краску, застенчивой девочкой была. Потом вдруг откладывает ложку и спрашивает: “Как там ваша старрррруха поживает?” Светлана вполголоса пояснила, что это он о бабушке моей спрашивает. Меня как будто по голове стукнули. Бабушка для меня была святым человеком.

Я не так давно была в Риме и оказалась с приятельницей в церкви. Священник меня пригласил к нему в кабинет. Я поднялась. Он усадил меня и показал карточку: “Это сделала ваша бабушка. Она добилась разрешения на эту карточку”.

Оказалось, что на Соловки попал его отец, там был страшный голод. Пароход не мог подвезти продукты в плохую погоду, на острове часто просто не оставалось пищи. Конечно, охрана припасы себе делала, а заключенных не кормили. И бабушка выхлопотала его матери карточку, согласно которой женщина могла посылать раз в месяц посылку с продуктами. Так они выжили. И когда я уже выходила из церкви, этот настоятель мне сказал: “Бабушка ваша была святым человеком”.

Очень многих она спасала. За границу как-то отправляла. Она очень была за границей популярна, она еще при царе жила несколько лет в Париже, членом партии эсеров была, с ней ничего не могли сделать. Ее хорошо знали и побоялись тронуть.

Светлана, кстати, с моей мамой тоже была дружна.

Да все, кто видел маму, ею увлекались.

Что такого было в маме? Красивая она была, конечно. Но дело не в красоте. Она была женственная, добрая. Очаровательная. Именно так о ней говорили: “Очаровательная”. И вот так ей не везло.

Простил ли Сталин отказ? Ее-то простил. Но все, кто подходил к ней близко, обязательно страдали.

Он интересовался всеми. Если ему о ком-то докладывали, то немедленно следовала кара.

Говорили ли мы с мамой о папе? Это была для нее непростая тема. Когда он приехал в СССР, все и началось. Его просто стали спаивать, зная его склонность к алкоголю.

Почему он простудился в тот роковой день? Мама сказала: “Еще раз увижу тебя в таком состоянии, мы расстанемся”. И когда он все-таки в таком состоянии приехал, находясь до этого в гостях у Ягоды, то не посмел зайти в дом, решил посидеть в саду, заснул и замерз.

Об отце мама не любила говорить. Это была ее боль. Она всегда говорила: “Потеряли мы Италию, потеряли мы нашу любовь и друг друга”.

Папу похоронили на Новодевичьем. Памятник сделала Вера Мухина, но идею предложил дедушка, взяв за основу работу Микеланджело, создавшего из мрамора раба. За папиной головой, если обратите внимание, огромная глыба, которая словно прижимает его к земле. Этой глыбой был дедушка, он так считал. Если бы не требование Ленина оставаться подле Горького, папа мог бы многое сделать, он был очень талантлив.

Когда памятник был готов, бабушка сказала Мухиной: “Вы продлили мне свидание с сыном”.

Дедушка без Максима прожил всего два года, но это уже было скорее просто физическое существование. Мы все хотели, чтобы его тоже похоронили на Новодевичьем. Но Сталин распорядился: только Кремлевская стена. Кто бы посмел поспорить…

К тому, что у мамы после смерти отца были мужчины, я относилась спокойно, считала, что мама должна выйти замуж. Особенно мне нравился архитектор Мержанов, который и меня отправил в архитектурный институт, за что я ему очень благодарна.

Мама жила до последнего дня на Малой Никитской, ей оставили три комнаты. Остальное уже было музеем Горького.

В доме были повариха Даша, уборщица Анюта. Правда, дедушкину комнату убирала сама мама, никого туда не подпускала.

Она никогда не готовила, была скорее хозяйкой дома, принимала гостей.

Прожила недолгую жизнь. Столько переживаний выпало, и все она держала в себе. Всегда была очень вежливой, улыбчивой, никому не показывала, что у нее на душе творилось.

Вы видели портрет мамы кисти Корина – так она выглядела в последние годы. Сумела сохранить свою красоту. Я даже сама любовалась ею.

Мама умерла неожиданно, ей было всего шестьдесят девять лет… Да, она жаловалась на сердце, у нее бывали приступы. Но все равно верилось, что впереди еще есть время. Помню, мы обсуждали ее грядущий семидесятилетний юбилей, думали, как будем отмечать.

В тот день она мне утром позвонила. Просила приехать… До сих пор не могу себе простить, что не бросила все дела и не поехала к ней в Жуковку. Столько лет прошло, а только начинаю думать про это, как сразу слезы на глазах появляются…

Мама позвонила, а я решила, что еще успеется. Ну, как всегда бывает. Господи, все же мы люди живые, кто же думал… Ну, в общем, она пошла к своей приятельнице, художнице. И там ей стало плохо. Она вытащила какое-то лекарство, стала принимать. Мимо шел Николай Булганин[23], у него там же, в Жуковке, дача была. И он маме предложил: “Вам что-то нехорошо, зайдите ко мне, моя дача рядом”. Мама отказалась: “Нет-нет, я сейчас к себе пойду”. Она действительно смогла дойти до своего дома, легла на диван. И все.

Гроб стоял в дедушкином доме на Малой Никитской. Мы похоронили ее на Новодевичьем, рядом с папой…

Литературная запись Игоря Оболенского

Маша Слоним
Мама, или Гамак жизни

“Англичанка, возвращайся домой!” – это сказал мой дед Максим Литвинов моей английской бабушке Айви на смертном одре. Но тогда бабушке вернуться в Англию было невозможно, был конец 1951 года, и фраза звучала, при всей трагичности ситуации, нелепо. Но не прошло и десяти лет, как бабушка, написав трогательное письмо Хрущеву, получила благословение властей на временный выезд и полетела в Англию. Не навсегда, а всего лишь на год – увидеться с сестрами. Вернулась в Москву она в 1961-м, потому что здесь у нее оставались заложники – все мы, семья.

“Англичанка, возвращайся домой!” В 1972-м бабушка Айви вняла, наконец, этому совету и, написав трогательное письмо Брежневу, получила благословение властей. Действительно уехала домой, в Англию, и жила там до самой смерти.

“Англичанка, возвращайся домой!” – услышала моя мама Татьяна Литвинова, родившаяся в Лондоне, полвека прожившая в Советской России.

Бабушка Айви написала трогательное письмо Брежневу с просьбой отпустить к ней дочь Татьяну, потому что ей, Айви, жить осталось недолго и она хотела бы повидаться перед смертью с дочерью. Мама ждала благословения советских властей целый год, но получив, наконец, визу, отправилась в Англию.

В Англии к тому времени жили уже все мы, не только бабушка, но и моя сестра Вера с дочкой, и я с сыном Антоном.

Так вышло, что женскую часть нашей семьи два века подряд мотало между Англией и Россией.

Бабушка Айви с двумя маленькими детьми устремилась в молодую советскую республику вслед за мужем Максимом Литвиновым, а также за идеями справедливости и всеобщего равенства. Оба ее ребенка – и моя мама Таня, и ее брат Миша родились в Англии.

Когда мама вернулась в 1977 году в Англию, она думала, что восстановление ее британского гражданства – это простая формальность. Ведь она родилась там. Всего-то – получить копию свидетельства о рождении в архиве. Но узнав, что мама – дочь Максима Литвинова, бдительные работники Хоум Офиса ей поначалу отказали, сославшись на то, что в момент ее рождения Литвинов был дипломатическим представителем Советской

России в Лондоне. Был-то он был, но правительство Великобритании за ним этот статус официально не признавало, хотя и поддерживало с ним неофициальные контакты. Послом России в Лондоне в 1918 году считался К. Д. Набоков. И когда мама родилась, дед сидел в Брикстонской тюрьме. Его арестовали в Лондоне в ответ на арест в Петрограде британского агента

Брюса Локкарта, которого обвинили в контрреволюционной деятельности. В тюрьме дед просидел недолго, Локкарта выдворили, а деда освободили, но этот факт дал маме основание доказать, что ее отец к моменту ее рождения не был дипломатом поскольку не обладал иммунитетом.

Англия была для мамы, конечно, родиной, и не только по факту рождения. Мама с бабушкой всегда разговаривали между собой по-английски. Мама английскую классическую литературу любила так же страстно, как и русскую.

> Когда на шестом уже десятке я очутилась в Англии, в довершение к знакомому всякому советскому человеку, попадающему на Запад, культурному шоку я ощутила еще один – на нашем с мамой языке, таком родном и особенном, почти тайном, масонском, говорят все. Владеть двумя языками с практической стороны – благо. Да и не только с практической. Расширяет кругозор. Но не спешите завидовать. В этом двойном лингвистическом подданстве есть и залог некоторой ущербности, неуверенности и даже шизофренического раздвоения.
>
> Впрочем, предложи мне переиграть свою лингвистическую судьбу, я бы скорее отказалась. Ни без Шекспира, ни без Грибоедова я не согласна жить[24].

Двуязычие даже стало ее профессией, она переводила английскую и американскую классику и современных писателей на русский. А вместе с Айви они переводили русских писателей на английский для издательства Прогресс. Работали медленно, дотошно, обсуждая каждое слово, каждую фразу, смыслы, а заодно и вообще своих любимых писателей – русских и английских. А их, любимых, было много! Диккенс, Теккерей, Джейн Остен, Беккет, Джойс, Свифт, Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Бабель. Бабушка, кстати, приехав в Россию, не зная ни единого русского слова, начала чувствовать русский, прочитав стихи Хлебникова!

Чувство слова, любовь к литературе сблизили маму с Корнеем Ивановичем Чуковским. После бабушки Чуковский был,

пожалуй, самым ее близким другом и собеседником.

Вот одна из записей в дневнике Корнея Ивановича о маме.

5 мая 1953 г. Сегодня от ее (Марьи Ефимовны) празднословия у меня разболелся живот, словно я проглотил ножницы, и по глупости и с такой режущей болью поехал к Литвиновым – к Маше и Вере – познакомиться с ними. Девочки оказались поразительные (с дивным цветом лица), с той прелестной уютностью, какая мне теперь нужна как хлеб, но все время у меня в желудке ворочались проглоченные ножницы, и пребывание у них было для меня страшной физической пыткой. Как я высидел у них полтора часа, непонятно. Танин муж лепил статуэтку (Мишину жену и ее дочку) жена в это время читала сказку о Василисе Прекрасной, девочки сидели и слушали, а Таничка готовила для них ванну. (Майский все еще в заключении.)

Я в полуобморочном состоянии от боли все же был счастлив, что вижу Айви Вальтеровну – единственную, ни на кого не похожую, живущую призраками английской литературы XVIII, XIX, XX вв. Как она взволновалась, когда я смешал поэта Гаусмана (Housman) с поэтом “А.Е.”, участником ирландского возрождения. Как будто речь идет о ее личных друзьях! Сколько в ней душевного здоровья, внутреннего равновесья, спокойствия, как любит она и понимает Таню, внуков, Мишу, сколько оттенков в ее юморе, в ее отношении к людям – и какой у нее аппетит! Курица, пироги и еще какая-то обильная снедь уничтожалась ею с молниеносной поспешностью. Таничка в силках своих семейственных домашних работ и литературных трудов…[25]

Но маминой первой и самой сильной любовью была живопись. В юности, против воли отца, который хотел почему-то, чтобы дочь занялась химией, она пошла учиться в Московский художественный институт, откуда ее, впрочем, довольно быстро выгнали. Официальная причина отчисления – за формализм, но шел тридцать девятый год, Максим Литвинов был уже в отставке, и все ожидали его ареста. Директор института Игорь Грабарь не хотел иметь студентку – дочь врага народа.

Из ИФЛИ, в который она после этого поступила, ее тоже выгнали, на этот раз за то, что она отказалась доносить на профессоров за антисоветский характер их лекций. Профессора преподавали античность, и мама вполне искренне удивилась: как это возможно – доносить?

Мама в отличие от своего отца Максима Литвинова вообще

была плохим дипломатом. Еще в школе она выступила на обсуждении/осуждении предателей и вредителей, проходивших по Шахтинскому делу[26] в 1928 году. Тане было всего десять лет! Мама встала и сказала, что не понимает, за что их судят.

Какие-то вещи она потом научилась не говорить вслух, но на всю жизнь сохранила какой-то незамутненный, чистый, честный и даже немного наивный взгляд на всё. Когда настало время открытых писем в защиту заключенных, она их подписывала. Да и сама писала. С шестидесятых годов ходила на митинги на Пушкинской площади, в день Конституции. Ходила тайно от нас, детей. Она очень боялась, что нас схватят, арестуют, но сама не могла не пойти. Выступала свидетелем по делу Владимира Буковского.

Я помню, как она пыталась помочь казакам-некрасовцам, которых обманом заманили в Советский Союз из Турции, пообещав, что поселят их вместе, а потом разбросали по Ставропольскому краю. Мама писала письма и даже ходила на прием в ЦК, много лет атаман казаков ей писал и даже однажды приезжал к нам в Москву.

Многие события тех лет мама воспринимала как личную трагедию. Советское вторжение в Чехословакию ее потрясло, как смерть родного человека. И не только потому, что на Красную площадь вышел ее любимый племянник Павел Литвинов.

Услышав, что советские войска вошли в Прагу, мама плакала.

Я помню, как 21 августа она, заплаканная, вошла в лифт, и соседка, жена известного композитора, спросила ее, почему она плачет. Мама сказала: “А вы что, не слышали, что наши танки в Праге? ” Соседка страшно удивилась: “Так вы из-за ЭТОГО плачете? ”

А вот записи в ее дневнике за август 1968 года:

2 августа. Дорога мимо Чешского посольства – монументальное, просторное здание – целый квартал. О, милые, держитесь! В магазине спортивных принадлежностей – чешская куртка – желание купить ее за то, что чешская.

21 августа. Проснулась со словами “прими мою душу, Ян Гус” и тяжелым чувством… и, как-то с горя, вновь уснула до половины десятого.

И в те же дни, видимо, после 25 августа:

А что мы можем? Мы можем показать, что мы не можем.

Но самое гнусное, что мы можем: Слон (ее муж, мой отец Илья Слоним) – лепить, я – переводить, Верка (моя сестра) – поступать в ВУЗ и т. д.

Павлик может себе позволить не мочь, так как он освободил себя от ответственности перед родными. Кстати, сегодня суд над Марченко. …

… Пыталась слушать радио, сильно глушат. Телефонная связь с Ч. Прервана. Пока жертв (у пражан) как будто, немного…

Заметила, что мое доброжелательное отношение к прохожим и попутчикам в городском транспорте переменилось, все кажутся врагами, а я словно чех среди русских… Такое чувство, что среди чужих…

Занятие живописью после рождения меня и Веры для мамы стало непозволительной роскошью. В семье, где уже был один художник (мой папа Илья Слоним был скульптором), нужно было зарабатывать деньги каким-то другим образом, и мама зарабатывала литературными переводами.

Но рисовала она всегда – делала наброски в метро, на концертах, в поездах. Часто, особенно в пятидесятые и шестидесятые годы бдительные граждане вызывали милицию, и ее отводили в участок. И выглядела она странно – короткая стрижка, мужская рубашка, брюки. А уж увидев, что в паспорте в графе “Место рождения” город Лондон, в милиции окончательно убеждались, что перед ними шпионка. Но в конце концов отпускали.

А живопись… Иногда ей удавалось вырваться с этюдником на пленэр, но в обычной жизни это было трудно. Зато летом мама уезжала от всех в Грузию с этюдником и мольбертом и там жила своей особой жизнью. Она подряжалась собирать мандарины и писала. Привозила оттуда кучу холстов и картонок. В основном она была недовольна ими, но кое-что проходило через ее контроль. А контроль был очень строгий, потому что планка – высокая. Она обожала Сезанна, Ван Гога и вообще импрессионистов, дружила с Татлиным и Фальком. Мы, дети, тоже с Фальком “дружили”, ходили с мамой к нему в гости через Большой Каменный мост в его удивительную мастерскую на противоположной набережной, поднимались по громкой металлической винтовой лестнице и оказывались в темноватой, как я помню, комнате, пропахшей масляными красками. Фальк нам с сестрой нравился, у него была очень добрая улыбка и интересные бородавки на лице, он дарил нам коробочки из-под красок, привезенные еще из Парижа. Это было счастье.

Переехав в Англию, мама, конечно, потеряла огромную и важную часть своей жизни – среду, общение с друзьями, которых у нее в России оставалось еще много. Эмма Григорьевна Герштейн, Лидия Корнеевна Чуковская, Люша (Елена Цезаревна Чуковская), Анатолий Найман и Галина Наринская, ее брат Миша и его жена Флора. Мама, конечно, продолжала с ними переписываться, но ей явно не хватало настоящего человеческого и интеллектуального общения, встреч и многочасовых разговоров по телефону.

Вот что она рассказывала в одной из ее передач для программы “Поверх барьеров”:

> Я живу здесь в Брайтоне на берегу моря, небогато, но чрезвычайно благополучно. И все-таки для меня Англия заграница в негативном понимании этого термина. По письмам из России, и по впечатлениям от моей поездки в Москву, и по встречам с приезжими соотечественниками я поняла, чего мне не хватает в моем прекрасном далёке. Нет за границей, если судить по Англии, того электричества, что ли, заряда отчаянности, которого сами носители этого заряда, измученные тяжелой повседневностью, быть может, в себе и не замечают.

Зато здесь, в Англии, мама, освободившись от семейных и гражданских обязательств (в Москве она очень помогала и сидевшим в лагерях, и их семьям), с головой окунулась в живопись. Она быстро разыскала классы рисунка в Университете Сассекса, обросла компанией английских художников, которые ее обожали и уважали, подружилась с прекрасной, высоченной и некрасивой художницей Карол, которая под маминым влиянием начала изучать русский язык. Мама проводила мастер-классы по живописи в Лондонском колледже, участвовала в выставках и даже продавала свои картины. В общем, жила полной жизнью художника. Вначале мы ей снимали мастерскую, а потом я ей купила настоящую мастерскую в двух минутах ходьбы от ее квартиры. Там она проводила все дни, принимала гостей – и художников и просто друзей, приобретенных в Англии, друзей, оказавшихся за границей (к ней часто приезжал Иосиф Бродский, Виктор Некрасов, с которым она очень подружилась) и тех, кто приезжал из Москвы (Сергей Капица). И, конечно, мама писала брайтонские пейзажи. Окна ее квартиры выходили на Ла-Манш. Она всегда обожала море, и последние тридцать лет ее жизни

прошли под звуки моря внизу. Любимое место мамы был полуразбитый пирс Уэст Пиер. Она его рисовала, писала и спасала – участвовала в мощной кампании, которая развернулась в Брайтоне по реставрации пирса. Спасти его так и не удалось, сейчас его каркас наполовину ушел в море, но как-то еще держится, реет над водой своими черными чугунными кружевами, как напоминание об ушедшей викторианской эпохе. На маминых картинах и рисунках он слегка более сохранный, чем сегодня.

Мама очень полюбила Брайтон, но часто жаловалась на тяжелый серый английский свет.

За светом и на всевозможные выставки мама ездила в Париж. Она могла мгновенно собраться, узнав, что в Париже, например, выставка ее любимого Сезанна, часами стоять в очереди, а потом гулять по набережным, часто в сопровождении Вики Некрасова или Наташи Горбаневской, с которой она очень дружила и которую ценила. Я тоже иногда ездила с ней, мы шлялись целыми днями по городу, заходя в книжные лавки, в музеи, в галереи и в гости к друзьям.

Мама не любила быт, и в Англии ей удалось свести его к минимуму. Простая еда – макрель она покупала у рыбаков и жарила на гриле, а иногда просто варила себе рыбу, которая продавалась в пакете и в нем же и варилась. Она была непритязательна и нетребовательна в жизни, и только краски, холсты и карандаши всегда вызывали у нее детский восторг.

Читая ее дневники (а мама многие годы почти ежедневно вела дневник), я была поражена, какую огромную часть своей жизни в Союзе она была вынуждена посвящать именно быту: достать денег (денег всегда не хватало), выстоять очередь за абонементами в бассейн, купить нам с сестрой какие-то платья… Помню, как она несколько ночей отмечалась в очереди за румынским письменным столом, чтобы мы могли делать за ним уроки. При всем при этом она еще успевала переводить, ездить по издательствам, в Переделкино к Чуковскому, ходить в бассейн, на концерты и иногда рисовать!

Точнее всех, по-моему, описал маму Корней Чуковский в своем дневнике…

15 октября 1967 г. Таня – наиболее одухотворенная женщина из всех, с кем мне доводилось дружить. Свободная от всякой аффектации и фальши. Это видно из ее отношения к отцу, которого она любит нежно и – молчаливо. Никогда я не слышал от нее тех патетических слов, какие говорятся дочерьми и

вдовами знаменитых покойников. Она любила отца не только сердцем, но и глубоким пониманием. Она живет у меня вот уже неделю, и это – самая ладная, самая светлая моя неделя за весь год. Больше всего на свете Таня любит свою мать и своих детей. Но и здесь опять-таки никакой аффектации. И умна – и необычайно чутка ко всякому лжеискусству…

Она много и охотно рисует, но всегда крохи, всегда наброски, – ее альбомы полны зарисовками разных людей – в судах, в кофейнях, в вагонах железной дороги, – порой в них пробивается сильная талантливость, а порой это просто каракули. Вообще ее отношение к изо-искусству хоть и понятно мне – но не совпадает с моим. Зато литературные оценки всегда совпадают.

Чего нет у Тани и в помине – важности. Она демократична и проста со всеми – не из принципа, а по инстинкту. Не могу представить ее себе солидной старухой.

Солидной старухой, кстати, мама так и не стала, до конца жизни она оставалась смешливым, веселым, доверчивым и остроумным, полным самоиронии человеком. Так что Корней Иванович был бы доволен.

Брайтонская жизнь без быта была, конечно, для мамы счастьем. Но и тут она разрывалась между занятием живописью и писательством. Многие годы она писала книгу воспоминаний – об отце Максиме Литвинове, о друзьях-художниках… Она не могла заниматься и тем и другим одновременно, потому что была очень цельным человеком и к каждому из этих занятий относилась страшно серьезно.

> Литература и живопись требуют совершенно разной работы мозга, они несовместимы так, чтобы днем можно было рисовать, а вечером – писать. Если я 2 часа в день занимаюсь литературой, то ей посвящены и все остальные 22 часа в сутки (да, и во сне)[27].

В конце концов ее страсть к живописи победила, она забросила мемуаристику, так и не закончив книгу, и полностью ушла в живопись, которую не оставляла почти до самой смерти.

Наверное, мы все были романтиками. И нам всем очень везло.

Бабушка Айви, которая прожила первые 28 лет в Англии, больше 50 жутковатых лет в России и последние 5 счастливых лет в Англии, ни разу не была арестована и не сгнила в лагерях. Это было чудо, потому что, несмотря на большой опыт жизни в

России, она так и не научилась жить тихо и незаметно. Например, в 1938 году она из Свердловска, где преподавала английский, написала письмо в английские и американские газеты, в котором выражала опасение, что она скоро может исчезнуть. Она явно боялась, что ее убьют или посадят. Письмо, конечно же, было перехвачено и попало к Сталину вместе с доносом на бабушку американского архитектора, через которого она пыталась передать это письмо. Рассказывают, что Сталин вызвал деда, показал письмо и сказал: “Что будем делать с этим письмом?”, на что дед будто бы ответил: “Разорвем”. Не знаю, разорвал ли Сталин оригинал письма, я видела лишь копии донесения об антисоветских настроениях бабушки и перевод этого письма на русский.

Впрочем, и на деда, как известно, готовились и громкий процесс, и покушение. Он тоже был не очень-то осторожен. Как вспоминает переводчик Сталина В. М. Бережков, Анастас Микоян в личной беседе будто бы ему рассказывал:

> У Сталина была причина расправиться с Литвиновым. В последние годы войны, когда Литвинов был уже фактически отстранен от дел и жил на даче, его часто навещали высокопоставленные американцы, приезжавшие тогда в Москву и не упускавшие случая по старой памяти посетить его. Они беседовали на всякие, в том числе и на политические, темы.
>
> В одной из таких бесед американцы жаловались, что советское правительство занимает по многим вопросам неуступчивую позицию, что американцам трудно иметь дело со Сталиным из-за его упорства. Литвинов на это сказал, что американцам не следует отчаиваться, что неуступчивость эта имеет пределы и что если американцы проявят достаточную твердость и окажут соответствующий нажим, то советские руководители пойдут на уступки. Эта, как и другие беседы, которые вел у себя на даче Литвинов, была подслушана и записана. О ней доложили Сталину и другим членам Политбюро. Я тоже ее читал. Поведение Литвинова у всех нас вызвало возмущение. По существу, это было государственное преступление, предательство. Литвинов дал совет американцам, как им следует обращаться с советским правительством, чтобы добиться своих целей в ущерб интересам Советского Союза. Сперва Сталин хотел судить и расстрелять Литвинова. Но потом решил, что

это может вызвать международный скандал, осложнить отношения между союзниками, и он до поры до времени отложил это дело.

Дедушку вынули из нафталина в начале войны, когда понадобился второй фронт, и назначили послом в Вашингтоне. Когда через какое-то время он был отозван, бабушка еще оставалась в Вашингтоне и собиралась вернуться в Москву через Лондон. Но Громыко, который занял пост Литвинова в Вашингтоне, не позволил бабушке лететь через Лондон, опасаясь, что она там останется.

И маме моей повезло. Прожив 55 лет в Советском Союзе, она не была арестована, в отличие от многих ее друзей, хотя всегда была несдержанна на язык и совершенно не умела хитрить… Она не погибла, как ее молодые друзья-художники, ушедшие в первые дни войны в ополчение. В 1941 году, когда ее родители отправились в США, она отказалась ехать с ними, сказав, что не может покинуть свою страну, когда страна воюет. И осталась в Москве – расписывать крыши и тушить зажигалки. Она не умерла от голода, несмотря на то, что отказалась от спецпайка, который ей был положен как дочери Литвинова, и постоянно теряла карточки, которые получала в Информбюро, в котором работала. Она чуть не замерзла насмерть на автобусной остановке холодной зимой сорок третьего, но ее спасли люди, которые стали бить ее по лицу, чтобы она проснулась.

В мамином дневнике за 1968 год я нашла такую запись:

Годы между 1934-м и 1940-м – гамак моей юности. Два гвоздя, которыми он был прикреплен: вера в жизнь (1934) и вера в смерть (1940), – прогнулись, выскочили, гамак оборвался. С тех пор живу, потирая синяки, полуочнувшаяся ото сна.

Мама часто размышляла о том, кто она, о своей принадлежности какой-либо стране. Иногда даже во сне.

1 июля 1969 г. Вчера, после сновидения, в котором я была воинствующей патриоткой, но неизвестно, какой страны (на выбор были: Англия, Советский Союз, Чехословакия, кажется, все же Россия).[28]

<…>

Какой же язык считать родным?

Тот ли, на котором колыбельная? Или тот, на котором

впервые заговорил?

При всей моей любви к английскому языку, с его литературой, с его особым юмором, ментальностью, для меня все же сомнений нет – в ритме, в стихии русского языка я прожила три четверти своей жизни. Радовалась и огорчалась, дружила и ссорилась, любила и ненавидела, больше, впрочем, любила, – все на русском. Язык ведь – еще и пространство, где ты страдал, где ты любил, где сердце ты похоронил.

Мама вернулась в Англию в 1976-м, чтобы провести последние годы со своей мамой и воссоединиться с нами. За три года до этого буквально умолила меня уехать, так боялась моего ареста. Сестра Вера была вынуждена остаться в США, где ее мужа Валерия Чалидзе лишили советского гражданства. Я перетянула Веру с дочкой в Англию незадолго до маминого туда приезда.

А потом я бросила всех – и маму, и взрослого Антона, и его внуков, и сестру, и уехала назад в Россию. За новой жизнью, за новой любовью, за интересной работой в новой России.

Что нас удерживало в России, что гнало вон и обратно? Семья, язык, литература, друзья, любовь. Но всё это с нагрузкой несвободы.

Когда я эмигрировала из Советского Союза в 1974 году, Наташа Горбаневская сунула мне в Шереметьево листочек со стихами на мой отъезд.

Я перечитываю их сейчас, накануне своего отъезда из России в Англию.

Маше Слоним

На пороге октября
с полосы аэродрома
поднимается заря,
как горящая солома.
На пороге зрелых лет,
словно пойманный с поличным,
трепыхается рассвет
над родимым пепелищем.
На пороге высоты,
измеряемой мотором,
жгутся желтые листы
вместе с мусором и сором.
На пороге никуда,

на дороге ниоткуда
наша общая беда —
как разбитая посуда.

И вот снова октябрь…

Андрей Макаревич
О балерине

Однажды, в старинные хипповые времена одна дама вознамерилась погадать мне по китайской Книге Перемен. Я не люблю всякого рода гаданий, но отступать было некуда. Книга Перемен (Ай-Чинг), древнее сакральное произведение, была очень популярна в те годы среди прочей изотерики. С ее помощью можно было вычислить все, касающееся твоей судьбы, а также твоих прошлых и будущих жизней. Если, конечно, уметь ею пользоваться. Йоко Оно, говорят, постоянно высчитывала, куда и когда Леннону ходить и куда не ходить. Это его, правда, не спасло. И тем не менее.

В общем, я решил узнать, какова была моя прежняя жизнь. Девушка довольно долго вертела книгу туда-сюда, шевеля губами, и в конце концов сообщила, что, во-первых, нынешняя моя жизнь уже седьмая и скорее всего последняя, то есть душа уже набралась опыта и вернется на Землю вряд ли. А во-вторых, в прошлой жизни я был женщиной, являл из себя особу при дворе короля, занимался искусством, и дело происходило в Испании, кажется, в XVI веке. Каким же видом искусства могла заниматься эта женщина? Конечно, танцами! В Испании-то. (Интересно, что именно профессию душа моя по наследству не получила. Этому сопутствовали еще два обстоятельства: во-первых, мы в молодости постоянно играли на танцах, и я все время видел, как танцевать не надо. Как надо, я не видел ни разу. Во-вторых, наш барабанщик Сережа Кавагоэ однажды сообщил мне, что все люди делятся на обычных и корявых, и я без сомнения отношусь ко второй категории. Это произвело сильное впечатление.)

Ребята, можете считать меня сексистом. Я часами могу смотреть, как работает Барышников. И тем не менее считаю, что сфера приложения труда у женщины по сравнению с мужчиной сильно ограничена. Это продиктовано самой природой или, если угодно, Всевышним, и нечего тут кричать о равноправии. Ну не люблю я шпалоукладчиц. И водительниц-дальнобойщиц. То есть так люблю, а кушать – нет.

Попробуем разобраться. Первая мысль – женщине неорганично заниматься чем-либо, связанным с тяжелым физическим трудом, – в корне неверна. Ибо балет – это в том числе адский физический труд, а что может быть органичнее балерины? Видимо, дело в другом – женщина, носительница Божественной красоты, лучше всего реализуется в профессии,

которая заставляет эту красоту максимально раскрываться и работать. Танец, музыка, актерский труд. Очень потом – поэзия, литература, живопись (это уже сублимация). Потом все остальное. Очень важная и незаменимая работа – мама. Людмила Прокофьевна в “Служебном романе” была мымрой. Боялись ее, не любили, хотя руководила отделом, видимо, хорошо. Потом приподнатужилась, обновила внешность и стала очень ничего себе. Это она не для работы – для Новосельцева. Отделом своим она после этого будет руководить лучше или хуже? Или вообще уйдет к чертовой матери? Кино на этот вопрос ответа не дает.

В конце одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года (Господи, как давно!) “Машина времени” получила статус профессионального ансамбля в стенах государственной концертной организации “Росконцерт” и нас выпустили на бескрайние просторы страны. На просторах тут и там располагались типовые дворцы спорта. Поскольку сольный концерт во дворце спорта, особенно для таких орлов, как мы, был вещью в те времена в принципе немыслимой, нам полагалась нагрузка – первое отделение. Состоять оно могло из чего угодно – эстрадный оркестр, певцы и певицы, пантомима, обязательный конферансье, шутки, репризы, смех. Нам невероятно повезло – к нам определили ансамбль эстрадного танца “Сувенир” под управлением Тамары Сергеевны Голованової.

До этого момента меня совершенно не интересовала хореография – ни классическая, ни современная: Битлы без подтанцовок выступали. К балету я был глубоко равнодушен – не мое и все. Ансамблей эстрадного танца (эстрадного, а не народного, заметьте – народных было как грязи) на тот год существовало, по-моему, два – “Сувенир” и “Ритмы планеты” Санкина. И было это по тем временам весьма новомодной штукой.

Я не знаю, что со мной произошло. Мы с “Сувениром” работали по два концерта в день (в выходные – иногда по три) и я, вместо того чтобы отдыхать, ходил смотреть их первое отделение – бесчисленное количество раз. Я знал его наизусть. Если это и было окрашено какими-то личными переживаниями (мы все тогда повлюблялись друг в друга), то лишь очень отчасти. Я был совершенно заворожен гармонией, возникавшей из звуков музыки и пластики женского тела (ребята там тоже здорово работали, но при чем тут это?) Я вдруг увидел, что танец – одно из божественных предназначений женщины.

Я слышал мнение, что профессиональное занятие танцем уродует фигуру женщины. Сами вы уроды. Профессиональное занятие танцем доводит ее до совершенства. Как вы полагаете,

господа, что в этой самой фигуре женщины самое главное – если так вообще можно ставить вопрос? Ноги? Задница? Талия? Грудь? Вы ошибаетесь, господа, поверьте мне. Вышеперечисленные детали, конечно, имеют значение, но красота женщины спрятана в ее шее – насколько она длинна, как посажена на ней голова. В этом залог осанки, а в осанке читается отношение к миру. Так что женщина с божественными формами, ангельским лицом, но с короткой шеей – досадное недоразумение, не более того. И ее никогда не возьмут в танцовщицы. Балерина может отдыхать, согнувшись в три погибели и развернув ступни под сто двадцать градусов в немыслимую позицию, – и она все равно божественна.

Сувенировцы пахали как звери. Мы все тогда пахали как звери, но нам все-таки было легче. Представьте себе: после двух концертов мы все вместе собирались в гостиничном номере, варили супчик из пакетных концентратов (это называлось “суп-письмо”, буфет в гостинице закрывался как раз к нашему возвращению), пили водку, травили байки из рок-н-ролльной и танцевальной жизни и хохотали как безумные. Часа в четыре утра мы расползались по номерам, совершенно счастливые, и вот тут “Машина времени” могла себе позволить забыться сном. А бойцов “Сувенира” Тамара Сергеевна Голованова в восемь утра строила на балетный класс – чтобы служба медом не казалась. Знаете, что такое балетный класс? А дальше – опять два концерта и опять посиделки до утра – гастроли в среднем городе тогда длились неделю-полторы. В Питере – три.

И ребята и девчонки из “Сувенира” очень любили свою работу – как бы ни ругали ее. И они потрясающе работали – абы кого в команде не держали.

Многие из них уже умерли. Многие – давно.

Песенка “Заполнен зал, в котором было пусто…” – это про них.

А с Майей Михайловной Плисецкой я и знаком-то не был и ни разу не встречался – откуда?

II. Опасные связи

Диана Арбенина
Конец прекрасной эпохи, или Как закалялась сталь

день первый

у меня мало времени.
сегодня 29 октября 2014 года.
сегодня десять лет, как тебя не стало.
и здесь сразу: кто кому вправе говорить о времени?!
и здесь и сразу: отвечаю – я. я. я. я. я. я. я. я. я. я. я. я.
потому что погибать проще, чем оставаться.
уезжать проще, чем оставаться.
бросать проще, чем оставаться.
умирать проще. проще. проще. проще. проще.
СЛОЖНЕЕ ЖИТЬ.
твой отец ослеп. мама красива в своем безумии.
десять лет без тебя. я не верю.
целых десять лет этой моей
странной разгульной
великолепной угрюмой
радостной бессмысленной
жизни
кануло в лету.
и вот мне сорок, а тебе по-прежнему и всегда будет тридцать.
это наглость, наглость, дружище, так хитро не стареть.
вы сговорились, может, в то морозное октябрьское утро?
и аннушка по заказу разлила масло?
и каналы по заказу спрятались в туманы, а ты в эйфорию?
и трамвай по заказу смог не зазвенеть, когда ты шагнула на рельсы ровно перед его мордой?
вы, что ли, все как один сговорились?!
и что ты – перед тем как тебя размазало по шпалам железное чудовище – что ты закричала? мама? мамочка? а что было последним твоим живым звуком?
или стерпела молча?
или смолчала, как всегда, когда тебя обижали-унижали?
или спокойно смотрела своими близорукими в его противотуманные глаза, пока не ударил и не потащил за собой-под собой-в себя-к себе?
или боролась с инерцией тормозного пути – “кто кого?”
разумеется, трамвай тебя!

и это в 2004 году.

на четвертом году жизни новорожденного XXI века мы не словили твою голову, летевшую по трамвайным путям.

гол.

мяч в ворота.

и что делали в этот момент твои руки?

курили?

как всегда, держали фильтр?

ты была влюблена?

когда была последняя постель с сашей?

или не было вообще, а все сказки?

лиза ушла сама или ты ее, как всегда и всех, вынудила?

ты слышала, как я искала тебя за семь дней до твоей смерти?

мы приехали в питер, и я зашла к тебе. позвонила в дверь. мне отворил твой вечно бухой сосед и сказал, что тебя убили. я не поверила. послала его Цензура и стала искать тебя по участкам с ментами и свидетелями. и нашла тебя. и мы смеялись. а потом был концерт в бкз, и через два дня после моего отъезда тебя не стало. вот теперь тебя убили по-настоящему.

таким образом, ты погибла дважды: сначала смерть намекнула, а потом пришла за тобой сама.

почему так? почему? за что?

слишком много вопросов. ни одного ответа.

я схожу с ума.

наше последнее прощание было после того концерта в вагоне питерского экспресса. ты провожала нас. я уговаривала тебя поехать с нами зайцем на полке для багажа и жить с нами в москве. я была уверена, что так надо сделать. дальше тянуть было нельзя – ты с каждым разом сдавала все сильнее и очевиднее. надо было вытягивать тебя из питерского гнилья и спасать.

– поехали!

– но у меня нет паспорта!

– вот черт! ну нет так нет! поехали зайцем!

– я не могу. мне надо забрать паспорт. завтра заберу и приеду.

– поехали сейчас. ну его!

– нет. динуль, заберу и приеду. обещаю.

и рука с другой стороны вагона, и ты побежала вместе с ним. мне кажется, я подумала тогда, что вижу тебя последний раз.

так и случилось. ты погибла.

тебя просто
прямо в лоб
снес трамвай
в пять утра

29 октября 2004 года.
трамвай успел.
а я нет.

день второй

ее смерть живет во мне. каждую секунду. ее смерть живет во мне, как живут во мне мои дети. эта смерть дышит со мной в такт. так же безукоризненно следуя за мной везде, как маленькая ахмадулинская дочь за дождем.

я не принимаю смерть, но она – плющ. вечно зеленое растение, отвратительное в своем непоколебимом спокойствии и уверенности, что всех переживет. еще бы! смерть терпеливо наблюдала за нами. ждала. и когда наступил момент, исполнила свой долг.

и вот ее пьедестал! а я молча задыхаюсь у изножья, не имея слабости сказать: “я тебя ненавижу. тебя нет”.

стоит сорваться, она тут же осклабится: “меня нет? вы уверены, мадемуазель? не смешите! эту жизнь выиграла я. а вы обречены ходить по кругу”.

и я – полная веры в то, что смерти не существует, и поэтому никто из нас никогда не умрет, – каждый день здороваюсь со смертью ольги.

день третий

иногда очень хочется сломать шею
роскошной розе в каскадах дыма,
не пить свой бокал намного быстрее,
чем тебя сочтут до дна нелюдимым,
поднять чей-то стул за любую ножку,
осквернить окно водопадом трещин,
пробить и выкинуть, как сережку
в подарочный флирт для игривых женщин,
и кинуться вслед, чуя ярость в лапах,
в паденье превысив стремленье бега,
упасть. и прочувствовать горький запах
деревьев в коросте саднящей снега.
ты была поэт. не именно стихами.
стихо-творения – всего лишь почерк поэта.

ты была поэт в самом выразительном значении этого звания.

ты была идеальна в единственном его предназначении – великодушии и любви.

я не утрирую. добрее не сыскать и совестливее не найти.

не веришь? спроси тех, кто остался жив.

я расскажу про тебя как есть. не обижайся, пожалуйста. наплюй на общественное мнение – оно суть проституция. оправдываться и краснеть не за что. было как было. и было честно. головокружительно честно. временами мы огребали по полной от этой честности. честно до тошноты, мордобоя, пьянок и прочих атрибутов молодости. молодость прошла. теперь если пьянки, то с чувством вины и отвращением; мордобой немыслим; честность каждый день ныряет в двойные стандарты, а тебя физически нет. однако…

однако это не панихида по прекрасной эпохе. сейчас – даря тебе бессмертие этими буквами – я отдаю ей дань. я вспоминаю нашу молодость и ликую от того, что с нами все это было. мой рассказ о тебе полон той же радости, которую ты приносишь, изредка навещая мои сны. я просыпаюсь, и мне очень хорошо от того, что мы опять были вместе. а потом я встаю, и начинается мое настоящее. мое настоящее изумительно, ольга. я настолько счастлива, насколько может быть счастлив живущий. и мне так тебя жаль, ольга. так жаль.

день четвертый

и вот она – *story about the most wonderful trouble woman in the universe*[29].

мы стали знакомы в 1992 году. дуэт покорял магадан, песни шли в гору, люди влюблялись как таковые, и пошлое “ложились штабелями” здесь уместно.

помню участие в каком-то студенческом концерте, и пыль изнанки кулис, и я спотыкаюсь о чьи-то гулливерские ноги.

– простите, – шепчу. – ничего страшного, – мне в ответ.

(именно глагол) задираю голову и много выше себя вижу девичье лицо в огромных ботанических очках.

так мы опознали друг друга. она была режиссер молодежного магаданского театра.

преданная истории, русской, зарубежной и вообще любой литературе, знающая русский, старославянский, церковнославянский как свои пять, ныряющая в недра искусства в любом его проявлении, будь то театр или кино, репин или сальвадор, гомер или зощенко, и свободно чувствовавшая себя на его просторах.

высоченного роста, в ту пору длинные русые волосы и громадные очки и немного птичьи руки с постоянной сигаретой. джинсы ее казались мне парусами, куртки – плащ-палатками, шаги – верстами, мера напитков – кубками. выпив, она брала

гитару и, не имея слуха, пела свою:

в холодных странах, где сизый лед, я иду только вперед.

а в жарких странах, похожих на ад, я иду почему-то назад.

а в аргентине и в мексике солнце коснулось вершин пирамид.

кто-то жалеет о том, что было. я о том, что еще предстоит.

и тебе было все равно, есть у нее слух или его нет. ты не замечал, что играет она, как большинство барышень, “трень-трень-трень”. все это было несущественно перед громадным обаянием, которое излучал этот человек.

она влюбилась в дуэт. дуэт принял это как должное, со свойственной юношеской безответственностью за тех, кого приручил, и улетел в долгожданный питер.

а ольга затосковала. и здесь, думаю, началось ее движение к смерти.

день пятый

она тосковала недолго. она вообще не умела сидеть и ждать, если горело. а здесь не просто горело, под ее огромными ногами буквально взрывалась земля – так ей хотелось к нам. и через несколько месяцев после нашего отъезда она продала чучело крокодила (экспонат отца – именитого чукотского костореза) и купила билет в питер. в ночь перед отъездом, многократно прощаясь с легионами друзей, она финально отправилась в баню и там упала спиной на раскаленные камни в парной. вероятно, это был знак. но кто из нас в семнадцать лет придает им значение? ольгу привезли к моему отцу в травмпункт, и он оказал ей все, что можно было оказать в тот момент. я не помню, меняла она билет или нет. мне кажется, да. прилетела она летом в моей кожаной мотоциклетной куртке, обвязанная мазью вишневского и поверх бинтами, с перевязанной рукой, которой она вообще не могла шевелить. мучилась с полгода. шрамами гордилась всю оставшуюся жизнь.

изначально был план перевестись в питерский университет, где к тому времени начала учиться я. она собиралась на филфак, у меня было отделение “русский как иностранный”. все рядом. но дело до перевода все никак не могло дойти. отчего, спросите вы?

первые пару лет праздновалась жизнь в петербурге. было не до учебы. потом начались ежевечерние разговоры: “завтра утром пойду в деканат и начну заниматься процессом”. года через четыре она начала лгать, что учится. мы малодушно молчали, зная, что она до сих пор не была в универе. почему она лгала? почему мы молчали? почему не заставили ее нырнуть в родную для нее среду, которая, уверена, спасла бы ее от того ужасного

утра?

отвечу жестко: нам было все равно. нас уже крутило в центрифуге музыкальных побед, ее – в центрифуге питерского болота.

день шестой

питер суров и коварен. ты можешь ничего не делать, защищаясь эпитетами “богемный город”, “столица русского рок-н-ролла”, “особый темпоритм города”, “вечно пьяное веселье митьков”. в общем, праздник, который всегда с тобой. все это так и не так.

питер – город, в котором выживает только тот, кто пашет как вол, кто не покупается на псевдораздолбайство, кто обходит стороной гульбища коммунальных квартир, кто не доверяет слову “завтра” и верит только слову “сейчас”.

она была слишком доверчива. слишком тонка. слишком слаба. и одинока. и он стал ее есть. нет, здесь уместнее глагол “жрать”.

сначала он закусывал ее былыми заслугами, псевдоученичеством и исподволь незаметно грыз гранит северной прочности. чуть позже у всех у нас закончились деньги. их не то чтобы стало мало. их не стало вообще. начался сбор бутылок и ожидание переводов от родителей, которые были уверены, что переводы тратятся на учебу, общежитие и студенческие милые забавы. денег не было и не было, и в этот момент питер подкинул ольге свою любимую наживку, самую сладкую и низкую наживку, самую проверенную наживку – алкоголь.

пили постоянно. вечером. ночью. утром. днем спали. вечером открывалась дверь, и на столе появлялась “балтика 4” и чуть позже коньяк дагестанский “три звезды”. и опять вечер в ночь – ночь в утро – утро в небытие – небытие в вечер. круговая порука.

никогда не хватало. открывалась адресная книга, и по фамилиям мужчин гулял пальчик “кому позвонить? кольке? витьке? кто принесет выпить и поесть”. и приносили.

помню, мы как-то слетали домой к родителям. ольга – в кисловодск, я – в магадан. встретились бодрые, розовощекие, отдохнувшие от ежедневных питерских сквотов, обнялись на невском и в один голос воскликнули: “боже! какой прекрасный город питер! в питере грешно пить!” и через пятьдесят минут я абсолютно никакая играла руками, ногами и лбом на пианино в валютном баре “чайка”, а пьяная в дым ольга кадрила каких-то датчан.

помню, как 29 декабря мы пошли в театр “балтийский дом” и

напились шампанского в буфете, и ольга ни с того ни с сего вдруг пописала в театральную урну. после вышли на улицу, и в компании завязалась драка под черными деревьями на белом ночном снегу. пинались-бились отчаянно. ольга полезла нас разнимать, и мы тут же остервенело наварили ей ни за что. причем уже все вместе, с упоением дубася по рукам и ногам, пытаясь дотянуться до лица. только рост спас ольгино лицо от фингалов и ссадин. дикое время.

помню, как гуляли по чернышевской, пили пиво из бутылок, и не хватило. стали искать. на ловца и зверь: ольгу заклеил какой-то майор, и она пошла с ним. майор, войдя в квартиру, уснул, а ольга произвела исследование его карманов и взяла у него беспроцентный многовековой кредит. утром, увидев охапку скомканных бумажек, мы восхищенно выдохнули: “о..!” – и онемели, узнав, откуда привалило такое богатство. ольга улыбнулась, вышла на невский, засунула голову в окошко театральной кассы и на все деньги купила билеты на все классные спектакли. так мы посмотрели, в частности, виктюка, виноградова, фрейндлих в бдт и многое хорошее другое. однако судьба – злодейка: после первого спектакля ольга заболела гриппом, слегла с температурой, и все ее билеты сгорели.

помню поездку в данию. после первого дня походов по магазинам руководитель группы собрал нас и попросил больше ничего не воровать. все зарделись и кивнули. на следующий день мы встретились с ольгой у входа в отель. она гордо дефилировала в ноябрьском стылом воздухе, неся на плечах новый кожаный жилет; картину довершала сигарета в правой и бутылка ядерного датского пива в левой. на наш вопрос: “клевая жилетка. подрезала, поди?” – ольга замахала гривой, запротестовала, повернулась к нам спиной и поплыла в отель. и тут мы разинули рты: на спине ее так же гордо, как улыбка на ее лице, колыхалась огромная не срезанная таблетка контроля и этикетка с веселой, заоблачной не только для кого-то из нас, но всего отеля ценой. через день баснословный трофейный жилет уже носил парень-водила. она дарила все, что у нее было.

помню драку в общаге на мытнинской набережной. на последнем этаже в присутствии зимнего дворца через неву летом. ольга была пацифист. она не могла поднять руку и убить тараканов, которые табунами скакали по всей общаге вдоль и поперек. и она всегда ужасно переживала от того, что никого не могла остановить: публика каталась по полу, в диком упоении размазывая друг по другу кровь из бровей и носа. ольга подбегала к бутылке грейпфрутового ликера и пила из нее будто компот у бабушки в летний полдень. в какой-то момент она схватила

этажерку с книгами, доходившую ей до подмышек, и, размахивая ею, ни с того ни с сего закричала: “чехов – щенок!!”. все на секунду замерли, засмеялись и продолжили мордобой. а в следующий момент я увидела ее в окне, заваливающейся в ту страшную внешнюю сторону. мгновенно осознав, что сейчас случится, я успела подскочить к уже половине ее туловища, стала тянуть в комнату и – ура – победила: ольга обрушилась на пол, а у меня в руках остались рукава ее платья. чехов – щенок.

день седьмой

всего неделю спустя.

теперь я часто думаю, есть ли фатум и насколько он предрешен. написано на роду или просто так вышло, что человек прожил двадцать семь лет, а не семьдесят два, тридцать девять, не девяносто три.

можно как-то уберечь-уберечься или, что бы ни делал, все равно наступит утро, и первый в этом дне и последний в твоей жизни трамвай.

я не мучаюсь, думая об этом. я прямо и спокойно смотрю в монитор и анализирую, что с нами произошло.

мы бросили ольгу. фигурально и фактически. дуэта больше не было, я уехала в москву и приезжала в питер сначала часто, а потом только на концерты пару раз в год. ангел-хранитель остался за бортом и никому из нас, как мы думали, не был нужен.

чем она занималась? отвечу: воздухом. по-прежнему были сказки про учебу в университете, с каждым годом ольга не забывала прибавлять себе ученический год, по-преж-нему все реже, но писались стихи, начинались и останавливались на прологе поэмы, какие-то люди, какие-то несчастные любови, какие-то фильмы. по-прежнему не было денег. и, черт возьми, по-прежнему были вечерние планы барбаросса, которые цвели лихорадочным буйным цветом на ольгином языке; она фонтанировала, обещала, клялась, что завтра утром, непременно утром, но ЗАВТРА она начнет наконец эту самую настоящую жизнь. взаправдашнюю, великосветскую хайсэсаети-жизнь с бентли, страусиными перьями, непременно лошадьми и красивыми людьми в смокингах, а стул под ее грузной фигурой скрипел, пальцы с давно не стриженными ногтями держали вечную измятую сигарету, стены в лохмотьях побелки заливала ночь, а ольга заливала в себя уже не коньяк, а денатурат. утра же не было. утро ольга уже вообще не жаловала своим присутствием. вставала около пяти вечера, и никто не знал, почему она не умирает от голода, а как-то даже пухнет. на поминках я увидела

людей, с которыми она дружила последние годы: у них были мутные вчерашние глаза людей без шансов. мы же – те, к кому она так преданно рванула и ради кого бросила все, чего достигла, – ее бросили. вероятно, все же я не верю в судьбу. согласись она тогда после концерта сесть в мое купе и уехать жить в москву, до сих пор была бы жива. я бы спасла ее. точно спасла. мне ничего не нужно было от нее. только бы она сидела в кресле-качалке и писала стихи, а позже нянчилась бы с моими детьми. я бы спасла ее. уверена.

день восьмой

в то утро и в тот момент, когда на нее в питере несся трамвай, я спала в москве и видела сон. меня окружило плотное кольцо ольгиных родственников; все они в безразмерных тельняшках, и все, перебивая друг друга, что-то мне говорят. я хочу выйти из их круга, они не выпускают, кольцо сжимается, и я рвусь, рвусь, рвусь и наконец вырываюсь. я проснулась и кубарем скатилась по лестнице на улицу. был солнечный октябрьский рассвет. меня дубасил озноб, и я долго сидела на крылечке со своим тогда еще маленьким сенбернаром и обнимала его за меховую шею. такого ужаса я не переживала после ни одного кошмарного сна. минут через сорок я вернулась в дом, выпила чаю и открыла книгу. я даже помню, что я читала, когда мне позвонили из питера…

день девятый. последний.
ольга! ольга! тоскую!
тоскую, тоскую, ольга!
кожей ботинка латаю
дыру из воска и бронзы.
ольга! ольга! мне тяжко!
не жизнь без тебя на болотах!
плевать, что ко мне безучастны
аборигены из сквотов.
ольга! из дома новость:
отец по делам ездил в Питер.
твой памятник будет в мае.
всех позовем. не обидим!
мариша стихов почитает,
запутается в окончаньях…
отец был красивый и ровный,
под веками прятал отчаянье.
ирмуля свой рост сокращала,

отцовы гладя запястья.
а он молоком топленым
молчал. разрывался на части.
ольга! ну как же так, ольга?!
не манна, не каша с брусникой!
давно не виделись!
здравствуй!
здравствуй, в небе индиго!
где угол? где угол? поставьте
меня на горох преступлений!
я выдержу все за возможность
друга увидеть колени!
осиновый кол в душу впился!
я вою под одеялом!
в трамвай как в поход на голгофу!
о господи! только не пьяной!
ольга, проснись! я тоскую!
ольга! я вечно рада
тебе приносить бульоны
и россыпи винограда!
и прятаться, плакать украдкой
где-то меж связок в гортани.
тоскую! тоскую! тоскую!
и легче, чем было, не станет.

Мария Голованивская
Укус софы

Рассказ писателя N

Девица одна, из дворянок, лет эдак пятнадцать назад рассказывала мне случай из ее детства, который чрезвычайно меня поразил. Чем, собственно? Разве мало видали мы душевных терзаний, в особенности со стороны детских, совсем еще не тронутых душ? Превеликое множество, и среди них такие, что содрогнешься безвозвратно. Но тут история особенная: растление происходило через предмет сугубо научного свойства в буквальном смысле этого слова. Слыхано ли дело, чтобы развращение постигало от занятия геометрией или естественной историей?

Давеча прочел я в “С.-Петербургских ведомостях” о необыкновенном научном успехе этой барышни, и с удивительной ясностью передо мной предстал тот вечер и тот рассказ. Свершения ее блистательны: Софью Корвин-Круковскую, ныне по мужу именуемую Ковалевской, избрали в Московское математическое общество, присвоили приват-доцента – первой, первой женщине во всей Европе. Но отсутствие робости и кротости в характере – еще не основание, чтобы вскочить в бурлящий котел человеческих страстей. СК жила и живет с ошпаренной душой, еще более неприкрытой и беззащитной, чем у иных тихонь.

Через полгода я сватался к Анне Васильевне, Софьиной старшей сестрице, да и глупо. Наскочил, не поразмыслив, и вообще, незачем было. Но не в том сейчас сюжет. В Соне. В яростности ее. Шел я тогда от их дома на Васильевском к себе на Малую Мещанскую – не ближний свет – и все перебирал, как четки, слова ее, все спрашивал себя, отчего так мутна моя душа, и вот только теперь понял.

Когда я познакомился с сестрами Анной и Софьей, Софе было семнадцать лет, а говорила она о дальнем детстве – своих двенадцати. Чистый с виду ангелок, но с коготками и с инфернальными страстишками. Откуда? – задался я вопросом при первом же взгляде на нее. Миловидна: круглое лицо, обрамленное парой витиеватых локонов, *blonde*, – но во взгляде виден излом и способность на дело.

Первый мой визит к ним прошел прескверно. Явился я для знакомства с Анной – ее старшей сестрой, та представила в

“Эпоху” рассказ и повесть, очень недурно и живо написанные. Разговор шел натянуто, их *maman* не оставляла нас ни на минуту – сколь все же нелеп этот предрассудок, требующий постоянной и удушливой опеки о крайне условных и по сути никчемных *politesses*. От стесненности перед глазами моими почти все время скакали мушки, и я твердо решил уж больше не ходить к ним. Но по возвращении у меня случился криз, я пролежал четыре дня и намерение свое переменил: увеселения после сброшенной глыбы романа о преступлении прописаны мне со всей серьезностью ордонанса, доктор мой – толстый и седой Герценштубе, подергивая головой, повелел принимать “разгрузочные впечатления”, оттого я и подстегнул себя: отправился в ответ на вторичное приглашение как миленький.

И тут Софа, словно желая вознаградить меня за неловкость первого знакомства, пропозирует: не желаете ли послушать мою историю из детства? Ох, внутренне простонал я, сколь же слушать мне откровения барышень? Но из приличия кивнул.

– Жили мы тогда, – начала Соня, – почти постоянно в нашем имении Полибино Витебской губернии. Временами нас навещал дядя – старший брат моего отца Петр Васильевич, и очень я была к нему привязана. Дядюшка представлялся нам всем существом в полном смысле слова не от мира сего. Хотя, будучи старшим в роде, принужден был изображать главу семейства, а выходил один смех: каждый, кому только вздумается, помыкал им, и первая – моя гувернантка, и все в семье так и относились к нему, как к старому ребенку.

– Он был холост? – поинтересовался я.

– Говаривали, – ответила Соня после паузы, – что супружницу убила прислуга из ненависти, очень уж жестока она была и несправедлива.

– Сонечка, не черни родню, – одернула ее Анна, – прислуга вечно рассказывает небылицы. Но что правда, был он вдовец.

– История ведь будет с плохим концом? – осторожно предположил я. Краем глаза я заметил, как сестры переглянулись, прежде чем Соня продолжила.

Софья продолжила о дяде, и я живо представил его себе с ее слов: ленив, тяжеловесен, большеголов, чтение до одури, до запоя, красные растертые глаза, перхоть на засаленном вороте. Ну-ну. Вот он с хрустом поднимается из пыльного кресла в дубовой библиотеке, шуршит газетой, ругает каналью Наполеошку, чертыхается на Бисмарка.

– Политика делала его кровожадным, – уточняет Софья, – заслышав о злодеяниях деятелей, он принимался трясти большой головой, беспощадно фантазировать, воображая нелепые казни

для преступников. Но длилась его отвага недолго, он быстро стихал, всегда внезапно, лицо его изображало вдруг смущение и раскаяние, особенно когда наша общая любимица левретка Гризи принималась скулить от его речей, а такое случалось нередко.

– Но какой у него был взгляд? – поинтересовался я.

– Большие глаза, черные, влажные, – ответила Софья. – И вот еще одна его черта: он, бывало, пожалеет кого-то и тотчас забудет об этом. Во второй раз никогда не спросит, а человек, особенно в несчастье, ждет! Дядюшка также чрезвычайно был увлечен и журнальною наукой. Всякий раз сведения из недавно прочитанного превращали наши мрачные обеды в увлекательнейшие беседы.

– А читали ли вы, что Поль Бер понаделал искусственных сиамских близнецов? – с жаром вопрошал дядюшка. – Срастил нервы одного кролика с нервами другого. Вы бьете одного, а другому больно. А? Каково? Вы чувствуете, чем это все пахнет?

Я живо вообразил себе эти трапезы. Теперь уже было ясно: дядюшка – утонченный и хитрый душегуб, и история с его женой – не россказни кухарки, а подлинная и многое выдающая правда.

Во время рассказа Анна многажды пыталась перебить младшую сестру своими добавлениями, но та словно не замечала ее попыток. Софья неслась по своим воспоминаниям, как на санях с ледяной горы, уже не видя нас, и я ощутил необычайный прилив сил – прав был мой доктор, отвлечение дает иногда более, нежели даже самый утонченный препарат. Но, значит, вот какие у сестриц отношения! Позволяет себе не замечать ее! Воображение правит ею, а не комильфотность! Опаснейшее свойство, чистое погубление души.

После истории о близнецах Сонечка внезапно поднялась из кресла и заходила по комнате. Поскольку она увлечена рассказом, я позволил себе всмотреться. Выгнутая спина, шея с показавшимися красными пятнами, болезненный блеск в глазах, пальцы стиснуты до синевы – еще немного, и она дошла бы до исступления, если бы в комнату не вошла их мать, отчего наша *parleuse* очнулась и села на прежнее место. Неужто истерия, успел подумать я перед тем, как начать раскланиваться.

Как и в первый раз, *maman* силилась завязать интересный разговор, ничуть не заметив, что в комнате что-то происходит. Как и в прошлый раз, робея и конфузясь, она подыскивала слова для того, чтобы выразить свое восхищение моими сочинениями и предложить мне вопрос поумнее. Но и я, и дочери отвечали ей односложно, и она настаивать не стала, предоставив нас нашей беседе.

Когда за *maman* закрылась дверь, Анна заулыбалась странной

улыбкой: вам интересны тайны детской души, не так ли? Замечали ли вы, как дети бывают порочны в своих не только фантазиях, но и действиях? Я рассмотрел Анну повнимательней: вот и в ее душе сейчас происходит недюжинная борьба – младшая берет все внимание на себя, а каково ей, бедняжке, к которой соблаговолил заглянуть настоящий писатель!

Говорила Соня не громко, но отчетливо, продолжая ходить взад-вперед.

– И вот, когда я подросла, дядя принялся говорить со мной о науках, рассказывать про инфузорий, про водоросли, про образование коралловых рифов. Дядя сам не так давно вышел из университета, так что все эти сведения были свежи в его памяти. Я слушала его, широко раскрыв и уставив на него глаза.

– Но замечал ли он это ваше восхищение? – полюбопытствовал я.

– Не знаю, – сказала Сонечка задумчиво, – я не размышляла на этот счет.

– Вы уже знаете эту историю? – осведомился я у Анны Васильевны. – Или весь этот турнюр вы, как и я, слышите впервые?

– Слыхивала, но не так подробно, – отчего-то умильно проговорила Анна. – Сестра моя – беспримерный талант, и решительно во всем, теперь я это отчетливо вижу. Какая наблюдательность, какие детали! Не желаете ли записать?

Я отчего-то затряс головой. С одной стороны, я устремлялся к финалу, понимая, что история обещает быть волнительной, с другой стороны, я искренне жалел беспощадно задавленную Анну.

Словно прочитав мои мысли, Анна Васильевна отчего-то хрипло воскликнула:

– Соня, я думаю, тебе надобно закруглять рассказ, видишь, нашему гостю не по себе?

Мысли мои ходили от Сони к Анне. Жалость к обеим сестрам сменилась естественной реакцией на их свежесть и молодость. Я уже представлял попеременно то ту, то другую в своих объятиях – грешен человек. Мне, сорокашестилетнему старику, такие фантазии были особенно приятны, но в последние годы воображение мое пожухло, неизменно омрачая его полеты видениями смертного одра и мучительной агонии. В этот раз сбоя не было, я хотел знать продолжение и с жаром внимал каждому слову Софьи Васильевны.

– И вот, – продолжала Софья, странно взмахивая рукой при окончании фраз, – каждый вечер после обеда и мама, и папа отправлялись вздремнуть с полчасика, а дядюшка усаживался на

мой любимый диванчик, брал меня на колени и начинал рассказывать про всякую всячину.

– На колени? – нервно уточнила Анна. – Не знала об этом.

– Он предлагал и другим детям послушать, – беззаботно ответила Соня Анне и махнула рукой. – Ты же тогда, Аня, отказалась слушать дядю, боясь уронить свое достоинство, не так ли? Ты же тогда уже соскочила со школьной скамьи – и не возжелала снизойти. Брату тоже сделалось скучно после первых пяти минут. Припоминаешь?

Мне захотелось как-то защитить Анну, но я не нашелся что сказать.

Соня продолжила, словно не заметив нервности сестры:

– Как же я полюбила эти наши “научные беседы”! Моим любимым временем изо всего дня были те полчасика после обеда, когда я оставалась наедине с дядей. К нему я испытывала настоящее обожание; откровенно признаться, детскую влюбленность, на которую маленькие девочки гораздо способнее, чем думают взрослые. Я чувствовала какой-то особенный конфуз всякий раз, когда мне приходилось произносить дядино имя, хотя бы просто спросить, дома ли дядя. Если за обедом кто-нибудь, заметя, что я не спускаю с него глаз, спросит, бывало: “А что, Софа, видно, ты очень любишь своего дядю?” – я вспыхну до ушей и ничего не отвечу.

Теперь уже я был вынужден подняться, ясное видение порока вызвало во мне внутреннюю дрожь и запросило движения. Гостиная, где мы сидели, была темной и просторной, шагов двадцать в длину, с абажурами и портретами по стенам, которые в мерцании свечей и каминного пламени, казалось, скривлялись при одном только упоминании плотских чувств. Я поймал на себе внимательный взгляд деда девушек – генерала от инфантерии Ф. Ф. Шуберта, известного своими достижениями и в математических науках, и мне привиделось, что он нехорошо подмигнул мне.

Я спрятал глаза в пол и почувствовал, что лучше мне сесть назад в кресло, так дурно мне сделалось. До чего бы дошло дело без гувернантского дозора? Испарина, покрывшая мой лоб, была любезно замечена Анной, и она, смягчившись после недавнего раздражения, предложила мне воды, позвонила в колокольчик и отдала распоряжение.

Я пил и краем глаза глядел на нее: до чего же дотерпелась бедняжка, что стала сочинять и втайне посылать мне свои повести? И не написала ли она чего-нибудь о сестре?

– Однажды, в то время, когда дядюшка гостил у нас, – продолжила Сонечка свой рассказ, – к нам приехали соседи-

помещики с дочкой Олей. Ее привозили к нам не очень часто, зато оставляли на весь день, иногда даже она у нас ночевала. Она была девочка очень веселая и живая, но характеры наши и вкусы были несхожи, и настоящей дружбы между нами не существовало.

Увидя Олю, первою моей мыслью было: “Как же будет после обеда?” Главную прелесть моих бесед с дядей составляло именно то, что мы оставались с ним вдвоем, что я имела его совсем для себя одной. Неужто присутствие глупенькой Оли все испортит?

– Но как вы, Сонечка, объясняли себе эту острую потребность в сугубом *tête-à-tête*? Ведь каждый мог нарушить его и причинить вам боль? – спросил я.

– Вы угадали, – тихо сказала Соня, – каждый день я шла словно босыми ногами по углям.

– Мерзавец, – вырвалось у меня, но, по счастью, ни одна из сестер моего возгласа не заметила: окна гостиной выходили на улицу, к парадному подъезду именно в эту секунду подкатила карета с гостями к генералу – их отцу, гости вышли и принялись шумно толковать о каком-то предмете, заглушив мой почти что вопль.

– И что же вы сделали? – спросил я шутливо у Софьи, когда за окном стихло. – Не отравили же вы ее?!

– Скрепя сердце я открылась подруге, сказав: слушай, Оля, давай я буду весь день играть с тобой и делать решительно все, что ни захочешь. Зато уж после обеда, сделай милость, уйди ты куда-нибудь и оставь меня в покое. После обеда я всегда разговариваю с моим дядей, и нам тебя совсем не надо!

Оля согласилась, и я в течение всего дня честно исполняла роли, которые она мне назначала, из барыни превращалась в кухарку и из кухарки в барыню по первому ее слову. Наконец позвали нас к обеду. Я исподтишка с беспокойством поглядывала на свою подругу, выразительными взглядами напоминая ей наш договор. Сдержит ли она свое слово?

– Можно вообразить, что ты всегда держишь свои обещания! – внезапно перебила ее Аня.

Я непроизвольно развел руками. Получился неожиданный властный жест, в ответ на который Анна отчего-то кивнула.

Но Соня не обратила внимания на выпад сестры, она опять неслась вслед за своими воспоминаниями. Прибавлю от себя, что в эту минуту я невольно восхищался обеими барышнями: и безоглядно, безоговорочно открывающей себя Соней, и Анной, показывающей свой излом не менее откровенно и с не меньшим достоинством.

– После обеда я, по обыкновению, подошла к папеньке и маменьке к ручке, а потом протиснулась к дяде и ждала, что-то

он скажет.

С этой минуты Соня рассказывала по ролям, искусно имитируя голоса.

– Ну что, девочка, будем мы сегодня беседовать? – басила она от лица дяди.

И вот я вообразил Соню, прыгающую от радости, она весело ухватывается за его руку, собираясь уже идти в заветный уголок.

– Но вдруг я увидела, – почти что проревела Соня, да так, что мы с Анютой вздрогнули, – что вероломная Оля тоже направляется вслед за нами. Неужели мои уговоры только раззадорили ее интерес?

– А можно и мне пойти с вами? – проговорила изображаемая Ольга. Ее бессовестные голубые глаза были полны таким умилением, что дядюшка начал таять, как кусок сахару, положенный в кипяток, отметила Соня.

– Разумеется, можно, милочка, – пробасила Соня за дядю. И она показала, как он любовался Олиным хорошеньким розовым личиком и ее бесстыжими голубыми глазами! Соня пыталась его уговорить, мол, Оля все равно ничего не поймет, давайте не брать ее на разговор.

– Ну, так мы будем говорить сегодня о вещах попроще, так, чтобы и Оле было интересно, – невозмутимо ответил дядюшка устами Сони, добродушно, как ни в чем не бывало.

Он взял обеих девочек за руки и направился с нами к дивану. Соня опять заходила по комнате.

– Постижимо ли это уму – он будет говорить для Оли, соображаясь с ее вкусами и ее пониманием, – это ли не пытка?! Ведь он – мой! Дядюшка мой!

– Ну, Софа, полезай ко мне на колени! – сказал дядя, понизив голос. Он как будто и видеть не хотел моего дурного расположения духа! Я с горечью отказалась, отошла в угол и надулась, – призналась Соня.

Дядя посмотрел на меня удивленным, смеющимся взглядом. Понял ли он, какое беспощадное ревнивое чувство шевелилось у меня на душе, и захотелось ли ему подразнить меня – я не знаю, но он вдруг обратился к Оле и сказал ей: “Что ж, если Соня не хочет, садись ты ко мне на колени!”

– Вам, должно быть, сделалось очень горько, но вины вашей нет, – поспешил я утешить ее. – Маленькое сердце обиженной девочки способно на очень многое.

– Прекратите! – почти вскрикнула Анна. – Софа, кончай же скорее свою *histoire horrible*, нету более сил слушать тебя!

– Оля не заставила повторять приглашение дважды, – вдруг затараторила Соня, – и прежде чем я опомнилась, она уже

оказалась на моем месте у дяди на коленях. Мне буквально показалось, что земля ушла из-под ног. *С* широко раскрытыми глазами глядела я на мою счастливую подругу, сложившую свой маленький ротик в уморительную гримаску. Вся она раскраснелась, даже шейка и голые ручонки стали пунцовыми.

– Но сколько ей было лет? – не удержался я.

– Девять. Меня точно подтолкнул кто-то. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я вдруг, неожиданно для самой себя, вцепилась зубами в ее голую, пухленькую ручонку, немножко повыше локтя, и прокусила ее до крови.

– Гадкая, злая девчонка! – напутствовал меня, выбегающую из комнаты, рассерженный голос дяди.

– Вас, должно быть, страшно наказали, – промолвил я после долгого молчания.

– Отнюдь, – покачала головой Соня, – я проплакала весь вечер в комнате няни, Ольгу в тот же вечер увезли, а наутро все сделали вид, что ничего не произошло.

– А что же дядюшка? – воскликнул я.

– А ничего, – констатировала Сонечка, – был и есть. Но тогда все померкло для меня – и интерес к естественным наукам, и походы в библиотеку, и светлый образ дядюшки. Я начала интенсивнее заниматься математикой. В ней он не разбирался.

Все ждали моего вердикта, но его не последовало. Я, скомкав конец беседы, торопливо раскланялся и выбежал на холодный воздух. Я бесконечно был впечатлен, но не самим ничтожнейшим происшествием – кто в таком нежном возрасте не царапал в кровь или не волтузил обидчика, – а Сонечкиным глубоким переживанием, постоянно питаемым болезненной фантазией, столь необходимой для гениальности. Несомненно, она была растлена мерзавцем дядюшкой, растлена интеллектуально, духовно, – оттого-то так бурно и вырвался из нее дьявол ревности, но она сумела пройти по краю бездны, пройти, вместив ее в себя, а не обрушившись в нее. Я острейше ощутил, что память об этом детском вожделении не в последнюю очередь сформировала ее, – и кто знает, не погас бы ее математический дар без этого потрясения? Премного за мою долгую жизнь размышлял я о порочности семейных идиллий, глядя на альбомчики с душещипательными фото. Впрочем, сюжет сей сейчас в большой чести, если не у нас, так у европейцев, и гнаться мне за ним смысла не было.

Сегодня, по прошествии стольких лет, жалею я лишь об одном: что по недостаточной чуткости не углядел, прошел мимо иной, чем мы привыкли, великой красоты – красоты умственной, сбитый с толку чувством к Анне. Сонечкина душа пронеслась

мимо меня неразгаданной. Но этот сломанный цветок, напитанный соками таланта, стал стремительно расти в новом, неслыханном в наших семьях направлении – и дал плоды удивительные, поразительнейшие, которые, без сомнения, окажутся привлекательными для многих трепещущих женских душ и, вполне вероятно, дадут им спасение.

Виктория Токарева
Я надеюсь…

Пришел автобус и привез новую партию отдыхающих. Партия оказалась шумной, как грачи. Южные люди вообще не умеют разговаривать тихо.

Лора (Лариса Николаевна) с интересом наблюдала, как в море залезают женщины в одеждах, в хлопковых рейтузах и в платьях с длинными рукавами. Ортодоксальные еврейки не показывают голых рук и ног. Нельзя. Далее они бреются наголо и ходят в париках. В такую жару. Но ничего не поделаешь. Вера. Иудаизм строг и даже жесток, как директор школы. Сплошные нельзя.

Лора стояла на берегу в раздельном купальнике. Руки, ноги, а также спина и живот выставлены на всеобщее обозрение. И ничего.

Лора любила купаться без лифчика. Топлес. Вся Европа давно так купается. Но не Израиль. Израиль – пуританская страна. Раздельный купальник – уже на грани.

Одетые пожилые женщины распластались в прибрежных водах, как гигантские плоские рыбы.

Камбалы. Они вымачивали себя в теплой соленой воде. Мариновали.

Лора стояла на берегу, смотрела и недоумевала. На что только не пойдешь ради веры. А камбалы смотрели на Лору и тоже недоумевали: стоит у всех на виду, голая, бедняжка, а мужчины мызгают ее глазами и вожделеют в помыслах. Фу!

К Лоре подошел худосочный мужичок, отдаленно напоминающий бульдога: выдвинутая нижняя челюсть, вытаращенные глаза.

Раньше Лора его не видела. Должно быть, приехал с новой партией.

– Здравствуйте, – произнес бульдог. – Вы меня узнаете?

Лора вгляделась внимательно.

– Меня зовут Миша Зальцман. Мы встречались в консерватории. Не помните?

– А-а!.. – радостно воскликнула Лора, хотя ничего не вспомнила. А не узнать человека – значит его обидеть.

– Вы когда приехали? – поинтересовалась Лора.

– Сегодня.

– Надолго?

– На четыре дня. Потом обратно. На этом же автобусе.

– Значит, вы в Израиле живете?

– Да. С девяностого года.

– А почему вы уехали?

– Все побежали, и я побежал, – улыбнулся Миша.

Вошли в море. Поджали ноги. Повисли.

Надо было скоротать время.

Миша рассказал, что развелся с женой. Жена с сыном уехали в Америку. Он остался в Москве. Потом переехал в Израиль. Сейчас живет в Ашдоде. Один.

– Почему один? – спросила Лора. – Это неправильно.

– А где я могу познакомиться? Не на дискотеку же ходить в моем возрасте.

– Одиноких женщин – море.

– Я тоже так думал, когда разводился. А оказалось: женщин море, а той, которая твоя, – ее и нет.

– А не надо перебирать, – посоветовала Лора. – Надо быть немножко легкомысленным.

На лодке плыл спасатель, похожий на подросшего Маугли: угольно-черные длинные волосы, точеный профиль, высокая шея, рельефные мышцы.

Миша Зальцман – далеко не Маугли. Скорее, старый бульдог с больными суставами и искусственными зубами.

Лора подумала: хотела бы она иметь такого бойфренда, как Миша? Ни за что. А такого, как Маугли? Тоже нет. Не хотела бы. Это чужое. Возле Маугли должна стоять подобная. Юная. Почти девочка. Ундина. Русалка. Сирена.

Не надо вступать на чужую территорию. Нельзя быть смешной. В отсутствии страстей есть своя прелесть. Свое достоинство. И свой покой.

В отеле по вечерам устраивали танцы. Солировал негр.

Он надевал особые фольклорные рубахи и вопил, пританцовывая. Двигался, как негр, – очень пластично, буквально переливался.

Белые так не могут. Видимо, у белых другое чувство ритма и что-то другое внутри.

Отдыхающие танцевали. Все были на отдыхе, никаких забот, тела пропитаны солью, настроение замечательное.

Лора обратила внимание на стройную блондинку. На ней была короткая юбка, кофточка внутрь. Видны стройные ноги, тонкие щиколотки. Ничего не надо скрывать под брюками.

Возник Миша в просторной майке и в шортах. Бульдог в шортах.

– Я нашла вам жену, – сказала Лора.

– Где? – забеспокоился Миша. – Кто?

– Вон. Блондинка с бусами.

Миша выделил ее глазами. Оценил.

– А с чего вы взяли, что она согласна? Может, она замужем?

– Была бы замужем, так и танцевала бы с мужем. А она танцует с подругой.

– Может, и мы попляшем? – спросил Миша.

Лора подумала и согласилась. Когда-то она танцевала очень хорошо.

Миша двигался неинтересно. Он весь – как недоваренная макаронина. В нем не было стержня. Неудачник, который был задуман Богом как неудачник.

На другое утро, пребывая на берегу, Лора подошла к блондинке.

– Здравствуйте, – поздоровалась Лора.

– Мы знакомы? – удивилась блондинка.

– Будем знакомы. Я – Лора.

– Инна, – отозвалась блондинка.

– Извините за вопрос: вы замужем?

– Нет. А что?

– Вы живете в Израиле?

– Да. А что?

– Вы хотите замуж?

– За кого? – растерялась Инна.

– Пошли, познакомлю.

Инна оторопела. Взволновалась. Лора поняла: она не просто хочет замуж, а ОЧЕНЬ хочет. Более того, это ее хрустальная мечта. А иначе для кого эти тонкие щиколотки и эти синие глаза, тоже хрустальные.

Миша стоял на берегу – тонконогий, пузатый, с седой порослью на груди. Тот еще жених.

– Миша, привет, – поздоровалась Лора. – Познакомься, пожалуйста, это Инна.

Миша смутился и представился.

Инна смотрела на него с явным одобрением. Лора поняла: подойдет любой. Инну замучило одиночество. Каким-то образом это было ясно. Это считывалось с ее облика.

Постояли молча. Не знали, с чего начать. Решили начать с того, что вошли в море. Осторожно прошли на глубину. Поджали ноги и стали делать под водой велосипедные движения. Руки балансировали, держали равновесие. Теплая тугая вода обнимала и выталкивала. Над водой возвышались головы и плечи. Поверхность воды была как бы заставлена бюстами.

Инна в широкополой шляпе, загорелая, синеглазая была просто неотразима.

Миша с редкими волосами, облепившими череп, был похож одновременно на бульдога и на мартышку.

Лора не задумывалась над тем, на кого она похожа. На кого-то из семейства кошачьих. Может быть, на пантеру. Лора пела в оперном театре. У нее было сильное бархатное контральто. Все восхищались и говорили комплименты в лицо. Лора привыкла. Множественная доброжелательность заменяет одну большую любовь. Но и большая любовь тоже была. Правда, в прошлом. Потом она сменилась на большую ненависть. И закончилась полным равнодушием. Лора не верила в счастье для себя. А для других – верила свято. Почему бы и нет? В самом деле: престарелый Миша, одинокая Инна – в чужой стране, как затерянные дети. Взрослые люди – тоже дети. Особенно мужчины.

Мишу отнесло течением. Лора и Инна остались одни, в смысле – без Миши.

– Вы откуда приехали? – спросила Лора.

– Из Риги.

– А почему вы решились на эмиграцию?

– На нас наехали. Надо было ноги уносить.

– Вы бизнесмен?

– Мой сын бизнесмен.

– У вас такой большой сын?

– Тридцать семь лет.

– А вам?

– Пятьдесят семь.

– Боже, я думала вам сорок.

– Я молодо выгляжу, – согласилась Инна. – Я занимаюсь йогой.

– Потрясающие результаты.

– Это нетрудно. Главное – не манкировать. Каждый день, как “отче наш”. В России женщины не следят за собой.

– Вы работаете?

– Я метопелет.

– А это что?

– Сижу с ребенком.

– С чужим? – не поняла Лора.

– Естественно. Девочка, три года. Изумительная девочка. Сейчас хозяйка потеряла работу. Не может содержать няньку. Я прошу ее разрешить мне приходить бесплатно.

“Хороший человек”, – подумала Лора.

– А где вы живете?

– В Ашдоде, – ответила Инна. – Я снимаю комнату.

– А сын с вами?

– Сын уехал в Америку. Люди с амбициями здесь не задерживаются.

– Почему?

– Маленькая страна. Маленькие возможности. Здесь хорошо стареть.

Помолчали. Солнце палило прямо в лицо, но не обжигало. Казалось, что стоишь под золотым дождем.

– А этот… как его… Миша, он кто?

– Пишет либретто для опер, репризы для цирка. Литературный человек.

– Способный? – осторожно поинтересовалась Инна.

– Образованный.

Лора уклонилась от ответа. Она не знала Мишиных возможностей. Однако замечала, что талантливые люди выглядят ярче и стоят крепче. Талант не скроешь. Он, как шило в мешке, обязательно вылезет наружу на всеобщее обозрение.

– А в Израиле он что делает?

– Не знаю, – созналась Лора. – Что-то делает, наверное.

Миша уже стоял на берегу. Ждал.

Лора и Инна вышли из моря. Омылись под холодным душем. Полагалось смывать с себя соль.

– Я пойду. Меня подруга ждет, – улыбнулась Инна.

Она обернула вокруг талии прозрачное парео и пошла к отелю.

Миша внимательно смотрел ей вслед. Можно сказать, рассматривал. И рассмотрел начальные следы увядания. Тут… Там… В одежде она выглядела лучше.

– Сколько ей лет? – подозрительно спросил Миша.

– Пятьдесят пять, – ответила Лора, утаив зачем-то два года.

– Оно и видно.

– Ничего не видно.

– Это тебе не видно, а я вижу.

– А тебе сколько лет? – подозрительно спросила Лора.

– Мне семьдесят.

Лора удержалась от комментария. Буквально прикусила язык. Ей хотелось оставаться вежливой.

– Ну… Нормальная разница. Тринадцать лет. А что бы ты хотел?

– Я ведь давно в разводе. Почти тридцать лет. За это время у меня было много женщин. Мой предел – сорок лет. А шестьдесят – это неликвид. Лежалый товар.

– Ты говоришь о женщинах, как о помидорах…

– А так оно и есть. Женщина – тоже товар.

– Товар – проститутки. На одну ночь. А я тебе предлагаю долгосрочный проект. Вместе идти по жизни. Она будет тебе друг, сиделка, собеседница.

– Мне нужна любовница, а не сиделка.

– Какая любовница в семьдесят лет? – не удержалась Лора.

– Мужчина остается мужчиной до конца, – с достоинством ответил Миша. – И потом, разве я плохо выгляжу?

Лора хотела сказать: ты выглядишь как старый козел. Но промолчала. В конце концов: не хочет жениться на Инне, не надо. Ей-то что?

– С такими запросами ты не устроишь свою жизнь, – предупредила Лора.

– Как знать… Любовь может появиться внезапно, из-за поворота. Выйдет и скажет: Здравствуй, Миша. А я тебя ищу…

– Ты в это веришь? – удивилась Лора.

– Я надеюсь…

Сгорбленная бабка, лет под сто, в черном купальнике с юбочкой, осторожно входила в море, держась за поручни. Ее губы и ресницы были накрашены в пять слоев.

“Тоже надеется”, – подумала Лора.

После Мертвого моря Лора съездила в Черногорию. Запаслась здоровьем. Впереди был напряженный год. Это только из зрительного зала кажется, что все легко.

Про Мишу и Инну не вспоминала. А что о них помнить? И так все ясно. Инна нянчит бесплатно чужую милую девочку. А Миша надеется на сорокалетнюю красотку. Она выйдет из-за угла и скажет: “Здравствуй, Миша, ты, прекрасен”. Но красотка все медлит, а Миша все ждет. В один прекрасный день Миша позвонил и сообщил радостно:

– Я в Москве.

– Молодец, – похвалила Лора. – А я на даче.

– Можно я к тебе приеду?

– Зачем? – не поняла Лора.

– Поговорить. Повидаться.

– Ну, приезжай, – разрешила Лора.

Лора не любила гостей, с которыми непонятно, что делать. Говорить особенно не о чем. Смотреть на него – тоже мало радости. Остается ждать, когда он уйдет.

Можно, конечно, не пускать. Сказать: занята. Но неудобно обижать человека, понижать его самооценку. Лучше самой потерпеть и помучиться.

Миша заявился на другой день в двенадцать часов дня. Это

значило, что день будет убит.

Под московским небом и в одежде он смотрелся лучше, чем раздетый на пляже. У него была хорошая дорогая машина и вполне интеллигентный вид. Глаза оставались слегка выпученными, но это не мешало.

Из будки вылезла собака, помахала хвостом. Поздоровалась. И вернулась в будку.

Миша окинул взглядом участок с деревьями, внушительный дом в глубине. Обернулся к Лоре.

– А я решил переехать в Москву, – сообщил он со значением.

Таким образом Миша намекал, что у Лоры есть шанс. Инна не прошла по конкурсу, а Лора набрала нужный балл. У Лоры есть статус (солистка Большого театра) плюс недвижимость. А у Инны ни того ни другого, только хрустальные глаза и бусы.

Лора все поняла и внутренне хмыкнула. Как самоуверенны мужчины: у самого ни кожи, ни рожи, ни ломаного гроша. А туда же. Куда конь с копытом, туда рак с клешней.

Однако вслух ничего не сказала. Улыбнулась любезно. Пригласила в дом, накормила обедом.

Домработница подала рыбу – синий палтус, греческий салат и пирог с яблоками.

Мишины глаза вытаращились еще больше, буквально вылезли на лоб. Он давно, а может, и никогда, не ел так вкусно.

Первые полчаса он не разговаривал, только мычал.

– У тебя зуб болит? – спросила Лора.

– Нет. Это я от удовольствия.

– Ты всегда мычишь от удовольствия?

Миша смутился. Потом сознался:

– В любви я не сдержан. Это да…

Лора решила поменять тему.

– Ты чем сейчас занимаешься?

– Я создал проект Российско-израильской дружбы.

Миша вытащил рукопись, отпечатанную на компьютере. Положил перед Лорой.

Она прочитала первую страницу. Там указывались цели и задачи. Цель – дружба между народами, и задача – та же. Шрифт был удобный, но за словами – пустота. Лора понимала: как могут дружить двое людей, даже десяток людей. Но как могут дружить народы… Тем более русские и евреи, которые не считают Христа мессией. Мессию они ждут. Мессия должен прийти. И при чем тут Миша и его комитет? Этим должен заняться папа римский.

В советские времена были такие организации, и даже Дом дружбы, красивейшее здание. Там сидели пол сотни бездельников, которые переливали из пустого в порожнее.

Принимали делегации, водили их к Вечному огню, приемы, тосты, речи.

Во время оперы иногда нужно создать шум в толпе. Массовка начинает активно двигаться и приговаривать: “О чем говорить, когда не о чем говорить…” Каждый гудит эти слова себе под нос, не согласуясь с соседом. Создается общее жужжание и волнение. Таким образом, достигается нужный шумовой эффект.

Лора просматривала проект, переворачивала страницы. Это было типичное: о чем говорить, когда не о чем говорить…

– Зачем это тебе? – прямо спросила Лора.

– Я возглавлю этот комитет, – гордо ответствовал Миша.

– За деньги?

– Естественно. Зарплата.

– Тогда еще ничего. Я думала, на общественных началах.

– Что я, дурак?

Лора промолчала. Вопрос не из простых. Может, и не дурак, но никчемушник. Как говорится, сто первый еврей. На сто умных, один отдыхает.

– Я хочу, чтобы ты вошла в общественный совет, – объявил Миша.

– Ты за этим приехал? – поняла Лора.

– И за этим тоже. У нас в совете будут очень уважаемые люди.

Миша назвал несколько имен, действительно уважаемых.

– А зачем мне это? – поинтересовалась Лора.

– Ты сможешь ездить в Израиль.

– Я и так езжу в Израиль, когда захочу. Зачем мне твой комитет?

– Ты поставь свою фамилию, вот здесь. А дальше решишь, – заторопился Миша.

– Я в эти игры не играю. И расписываться нигде не буду.

– Ну, это же не финансовый документ. Чего ты боишься?

Лора догадалась: Миша готовит себе рабочее место, синекуру, где можно получать деньги и ничего не делать.

– А другие подписали? – спросила Лора.

– Я звонил Дементьеву. Он сказал: подпиши за меня сам. Мой почерк никто не знает.

Значит, Дементьев отмахнулся от Миши как от мухи.

– Сейчас другая жизнь, – сказала Лора. – Большое притворство больше не работает. Эти комитеты ушли под воду, как Атлантида.

– Всплывут… – пообещал Миша. – Все возвращается на круги своя. Подписывай и не сомневайся.

– Врать неохота, – созналась Лора.

– Как хочешь… – Миша забрал со стола свой опус, спрятал в

папку. – В конце концов, я сам могу за тебя расписаться. Проверять никто не будет.

Лора не возразила. Она была уверена, что этот виртуальный комитет так и останется в Мишином портфеле. Современникам и потомкам не нужно это пустое жужжание: о чем говорить, когда не о чем говорить. Будем говорить только о деле и получать конкретный результат.

Лора сварила кофе. Вышли на террасу.

– Ты Инну помнишь? – спросила Лора. – Вы встречались?

– Я ездил к ней в Ашдод… – Миша замолчал.

– Расскажи, – попросила Лора.

Миша рассказал. Он явился в гости. В съемную квартиру. Хозяйка не разрешала Инне водить мужчин. Пришлось лезть в окно и затаиться, как вор. Миша боялся передвигаться по комнате, не мог даже кашлять и чихать.

Была и кровать, на которой они боялись скрипнуть. Миша не имел возможности мычать от наслаждения, да и наслаждения не было в таких партизанских условиях. Расстались они, ничего не поняв друг в друге, еще менее знакомые, чем до знакомства.

Лора слушала. Ей стало жаль Инну. В свои пятьдесят семь она должна вести себя как старшая школьница в присутствии родителей за стеной.

– Пригласи ее в Москву, – предложила Лора.

Миша сделал вид, что не услышал.

– Слушай, у тебя, наверное, много знакомых в театре: оркестр, кордебалет, солисты…

– Предположим.

– Найди мне кого-нибудь. Стройную, хозяйственную, лет сорока. Надоела сухомятка. Вдвоем веселее.

– Спустись с небес на землю, – посоветовала Лора.

– В каком смысле?

– Зачем ты нужен молодой и стройной? Тем более балерине или скрипачке? Был бы ты богатый, показал бы ей весь мир. Купил бы домик у моря или шале в горах. А что у тебя есть? Только русско-израильская дружба. Да и той нет.

Миша расстроился. Это было видно по его лицу.

– Я шучу, – сказала Лора.

– Нет. Ты не шутишь. Ты совершенно права.

– Пойдем погуляем, – предложила Лора.

Прогулка входила в ее планы. Она не хотела ее отменять. Решила совместить Мишу и прогулку.

Они шли вдоль реки. Утка учила плавать свой выводок. Утята были крошечные. Плакучие ивы свисали к воде.

– Ты живешь в раю, – констатировал Миша.

– Может быть, но я этого рая не замечаю. Театр, репетиции, четыре часа в пробках.

– Я могу что-то для тебя сделать? – спросил Миша.

– Что именно? – не поняла Лора.

– Ну… что-нибудь… – Миша остановился и смотрел ей прямо в глаза.

– Нет, нет, спасибо, – отмахнулась Лора.

Не хватало ей сидеть в его комитете или слушать его мычание.

Но Миша не был пошлым. Ни в коем случае. Просто никчемушник. За что бы он ни брался, все это было никому не интересно, и ему в том числе.

Сорокалетняя красотка, русско-израильская дружба – проекты, не имеющие перспектив. Маниловщина. Миша ставил перед собой нереальные задачи. Хотелось спросить:

– Ты сам в это веришь?

– Я надеюсь, – сказал бы Миша.

Миша пропал на полгода. Весной объявился. По телефону.

– Я в больнице лежал, – сообщил он. – Мне пийсмейкер вшивали.

– А что это? – спросила Лора.

– Ритмоводитель. Налаживает ритм сердца.

– И куда вшили? – поинтересовалась Лора.

– Под кожу. Небольшой такой аппаратик со спичечный коробок. На батарейках.

– Тикает?

– Это же не бомба с часовым механизмом.

– А куда вшили? В задницу?

– В районе сердца. При чем тут задница.

– А как же ты будешь заниматься любовью? Обнимать подружку и тикать?

– Я звоню с тобой посоветоваться, – переключился Миша.

– Давай… – разрешила Лора.

– Мне предложили кругосветное путешествие. Ехать?

– А сколько стоит?

– Триста долларов.

– Это что-то очень дешево. Таких цен нет.

– Нас отправляют на автобусе. Мы собираемся в шесть утра. Садимся в автобус – и по Европе: Германия, Франция, Италия, Швейцария. С первого по пятое. Пять дней.

– И все пять дней в автобусе?

– Ну да…

– И спать тоже в автобусе? – испугалась Лора.

– А что особенного?

– Ты умрешь за эти триста долларов. Такие поездки для подростков. Им все легко и все интересно.

– Но пожилые люди тоже нуждаются во впечатлениях. А тут – вся Европа.

Вообще-то Лоре было все равно. Хочет ехать, пусть едет. Но она понимала, что Миша одинок, как хвост. Ему даже посоветоваться не с кем. И такое положение вещей налагало ответственность.

– Сиди дома, – приказала она. – А еще лучше, поезжай в санаторий.

Миша молчал. Раздумывал.

Лоре стало его жаль. Хоть и никчемушник, но человек, не собака. Да и собаку жаль, если разобраться.

– Подумай сам, пять дней – пять стран. По одному дню на страну. Ты хочешь что-то увидеть и что-то запомнить?

– Я надеюсь…

– Нет! – решительно подытожила Лора.

– Да? – раздумчиво спросил Миша.

– Да. В смысле “нет”.

Миша вздохнул.

Лору пригласили в Италию. Потом было турне по Европе, и не в автобусе, а в самолетах, бизнес-классом.

Отели самые дорогие. Гонорары – внушительные. Бесконечные интервью. Статьи в газетах. Все это впечатляло, но хотелось домой. Соскучилась по дочкам, по дому и по своим зверям: коту и собаке.

Лора смотрела на журналистов и понимала, что они на ней просто зарабатывают. И если она вдруг провалится сквозь землю, они выключат диктофон и побегут в другое место. И даже не заглянут: куда же она провалилась. Слава интересна только в молодости, когда все интересно. В начале пути самоутверждение необходимо, чтобы понять: кто ты и зачем. А в зрелости, когда личность созревает, – хочется очиститься от шелухи, добраться до основного. А основное – это музыка.

Композитор, если он гениален, улавливает Бога на свою антенну и транслирует людям. А Лора – посредник, проводник. У нее для этого особая глотка, внутри – купол. Диапазон – три октавы. Когда она забрасывает звуки в верхний регистр, зал замирает. И сама она тоже замирает, вся растворяется в звуках, и ее, считай, нет. Время останавливается. Святые минуты. А все остальное – шелуха. Кроме детей, конечно.

Дело и дети – это и есть твердые островки в болоте жизни.

Лора переходила дорогу. И в это время раздался телефонный звонок. Звонил Миша.

– Ну, как ты? – заботливо спросил Миша.

– Спасибо, я в Испании.

– А в каком городе?

– В Севилье.

– На табачной фабрике была?

– А зачем? – не поняла Лора.

– Там Кармен работала.

– Подумаешь, Кармен… Обычная проститутка.

– Но ее воспел Мериме. Увековечил.

– Ты что звонишь? – поторопила Лора.

– Мы внука на море отправляем, – сообщил Миша. – Он болел всю зиму. Его надо прогреть.

Слово “прогреть” Миша выделил.

– Какой внук? – не поняла Лора.

– Мой. У меня от первого брака дочь. У нее мальчик. Давид.

Это была новость. Оказывается, у Миши есть дочь и внук. Но какое ей до этого дело… Звонит, докладывает. Как будто она родственница.

– Давай прощаться. Вернусь, поговорим.

Лора разъединилась с Мишей. Подумала: где-то в Израиле или в Москве у него есть семья, пусть даже бывшая. Почему бы не вернуться в семью, пусть даже через тридцать лет? Разве лучше выискивать сорокалетнюю красотку на один вечер? Да еще и придерживать рукой ритмоводитель.

Гастроли кончились. Лариса Николаевна вернулась домой. Раздала подарки.

Старшая дочь получила дорогую сумку фирмы *Hermes*. Спасибо не сказала. Как будто так и надо.

– Ты почему не говоришь “спасибо”? – спросила Лора.

– Это ты должна сказать “спасибо”, – ответила дочь.

– За что?

– За то, что тебе есть кому дарить.

– Интересно…

Младшей дочери Лора протянула бусы. Дочь надела их на голову. Баловалась.

Лора вспомнила, как моталась по магазинам, уставала, тратила немалые деньги. Ей стало обидно. Но какой смысл обижаться? На обиженных воду возят.

Да и кому жаловаться? Близкой подруге скажи, завтра будет знать весь город. Остаются не близкие и не подруги. Будут судить

между собой на тему: голос есть, а счастья нет.

Можно позвонить Мише, но это нарушит табель о рангах. Это все равно как если генерал позвонит солдату, стоящему на карауле и спросит: “Как дела, вообще…” Кстати, солдат может отозваться: “А тебе-то что, старый хрен…”

Лора не звонила Мише. Зачем? И Миша тоже не звонил. Растворился во времени и пространстве.

Однажды Лора вытащила из ящика письмо. Оно пришло от Инны, той самой невесты из Израиля.

Инна писала, что переехала в Америку, к сыну. Они живут не вместе, но рядом. Спрашивала: как найти Мишу. Из Израиля Миша уехал, а московские координаты ей неведомы. Не может ли Лора помочь, поскольку Лора – автор их знакомства.

Лора достала записную книжку, отыскала Мишин телефон. Набрала номер. Незнакомый голос ответил, что прежний хозяин здесь больше не живет. У него другой телефон. Голос любезно продиктовал новый номер. Он непривычно начинался с цифры “4”.

Лора набрала новый номер.

– Я вас слушаю… – сухо произнес Миша.

– Это Лариса Николаевна, – выкрикнула Лора, как будто сообщила радостную весть.

– Я вас слушаю, – так же сухо отозвался Миша.

– Это Лора…

Ей показалось, что Миша не узнал или не понял. Все-таки солдат должен обрадоваться генералу или хотя бы удивиться.

– Да, да… Я понял, – обозначился Миша, вполне безразлично.

– Ты переехал? – спросила Лора.

– Да. Я живу сейчас в доме престарелых.

– Как это? – растерялась Лора.

– Я сдал свою квартиру и получил комнату в казенном доме.

– Но ведь своя квартира лучше…

– Лучше. Но здесь четырехразовое питание и дежурная медсестра. У меня нет никаких забот.

– Тебя ищет Инна. Помнишь Инну? Она в Америку переехала.

– А зачем она меня ищет?

– Для любви, наверное, – предположила Лора.

– Какая любовь? Я умираю.

– В каком смысле? – растерялась Лора.

– В самом прямом. Уже была операция, предстоит еще одна. Меня химят и лучат.

Лора замерла. Она все поняла.

Невидимая, неумолимая болезнь ползет по человеческому

полю и косит клешней, а люди, как колосья, падают слева и справа. И неизвестно, когда твоя очередь. Вот и Миша не увернулся. Что тут скажешь? Но надо что-то сказать. Поддержать и утешить.

– Сейчас медицина сильно продвинулась вперед, – заверила Лора. – С этим долго живут, буквально десятилетия. И умирают от другого.

– Я надеюсь, – отозвался Миша.

– Мы тебе еще сорокалетнюю красотку найдем. Кстати, к нам в оркестр недавно поступила новая скрипачка из консерватории. Ей, правда, двадцать четыре года, но сейчас в моде большая разница…

Лора говорила, говорила, как будто хотела забросать проблему словами, как огонь песком.

Миша не реагировал. Какая там красотка… У него были дела поважнее. Он готовился к своей ГЛАВНОЙ встрече.

– А она стройная? – вдруг спросил Миша ожившим голосом.

– Кто? – не поняла Лора.

– Ну, скрипачка твоя… Для меня главное: фигура. Я толстых не люблю.

Людмила Петрушевская
Санаториум

Тени двух бедняг, двух возлюбленных, так и остались витать над столовой санатория, где все их наблюдали, двух конспираторов, и из них один как ни в чем не бывало останавливался у стола другого (другой), где эта виновница происходящего сидела горемычная, с пятнами на щеках, и глядела мимо него – но все окружающие уже знали, что его отсылают в филиал этого санатория, в дальний угол, в место новое, еще полностью не освоенное и мало кому известное, – а ее пребывание находится под вопросом, она тоже, видимо, улизнет вслед за ним, француженка мадам де Стаэль (это простое совпадение, она с известной м-м де Стаэль даже не родня, это вообще фамилия по мужу, но и он той старинной знаменитости не родственник, а обычный банкир, оставивший жене состояние. Без миллионов в этом санатории делать нечего, добавим).

Да, санаторий самый, можно сказать, дорогой, очень дорогой, у каждого клиента такие удобства, какие и не снились жильцам даже в самых знаменитых отелях, и на том точка.

Виллы тут трехэтажные, и все санитарные объекты отлиты из чистого серебра, а под зеркалами (венецианское стекло) выставлены разнообразные духи, кремы и косметика, и к вечеру приходит визажист и стилист, поскольку ужин предполагает каждый раз полный парад-алле. В санатории также работает свое ателье, где шьют все по лекалам от кутюр.

Но самое главное тут не удобства, самое главное – это подпольное (под вопросом и скорее легендарное) существование бригады геронтологов, хирургов и эндокринологов, и, собственно, на этот свет и слетаются пациенты со всего мира. По сведениям, бригада приезжает на определенные сроки, берут не всех. Результаты омолаживания не разглашаются. Говорят, что бригада состоит из получивших образование монахов аскетического поведения, прошедших выучку у тех, кто провожал святых на вечное сохранение в курганы. Ведь не они сами обеспечивали себе на сотни лет вперед полную сохранность всех клеток, это дело давно практикуется. И правительство смотрит на данные эксперименты косо, надо сказать, другим не рекомендует и само им не воспользовалось (по слухам, пациентам угрожает потеря личности в результате полной очистки памяти).

Хотя сохранить клетки на столетия – это одно, а сохранить мыслительные способности, разум и то, что называется душой, –

тут уже вопрос вопросов.

Причем в санатории по-простому, с открытой демонстрацией достижений соблюдены все правила экологии – тут сберегают дождевую воду, и отстаивается вода использованная, тут применяется труд местных жителей, а крестьянских детей воспитывают еще с начальной школы, отбирая самых красивых и смышленых. Все это было обещано правительству края, и поэтому санаторию выделили роскошный кусок земли, с дивными лесами и средней величины потоком, разбивающимся около устья на водопады, озерца и ручьи, – и был создан парк на побережье, где иногда затевают ужины и концерты, а дальше, разумеется, гремит море-океан. За оградой парка наличествуют священные деревья, редкие птицы, стайки белоснежных обезьян с черными личиками, а также одинокие, почему-то маленькие, леопарды и медведи, тоже мини.

И здесь такое ночное небо, что душа замирает.

Наблюдать его из внутренних садов (а в каждой вилле свой сад под открытым небом), видеть эти бриллиантовые созвездия, эти сияющие крупные драгоценности – вообще отдельное счастье для горожан, отмечают все.

Там она, мадам де Стаэль, из-за его плеча, обезумевшая, смотрела вверх, когда они располагались в саду, на ее широкой постели (ложе под стеклянным куполом и с тонким сетчатым балдахином, разумеется).

Каждую ночь парень линял из общежития к м-м де Стаэль и возвращался строго во тьме, до рассвета, таковы были условия конспирации в этом санатории. Все под покровом ночи!

Ему оставалось переменить одежду (у мадам они вместе плавали в подогретой ароматической воде бассейна, так что душ можно было и не принимать, да и нельзя шуметь ночью в общаге), и он кое-какое время спал – вот такие ночи у него получались!

Он исхудал, она – не очень, она осталась как была, оплывшая фигура, обвисшее старое лицо и глаза на мокром месте: эта любовь ее подкосила, ей под сто лет в обед, но что поделать с этой страстью, нет, с любовью!

Ибо страсти как раз, врачи подозревали, она не испытывала, просто только в постели она могла утолить жажду объятий – а эта жажда существует и помимо эротики (у матерей и детей).

С ним проводились беседы, он работал по указаниям докторов, но сладить с собой, видимо, не мог, судя по утомленности мадам. Два-три раза за ночь он эксплуатировал ее в своих интересах, нимало не заботясь о ней самой.

Она все выдерживала, как раз она-то о нем думала, старалась как-то способствовать ему, хотя иногда в целях самосохранения

удовлетворяла его устно.

Ее банкир (она простодушно все рассказала трем тутошним феям-пациенткам, о них речь впереди) в старые времена тоже предпочитал такую форму супружества: взяв ее молоденькой девушкой, всему обучил, что знал от продажных тварей. И ни детей, ни секса в ее жизни не было. Только кровавая первая брачная ночь, банкир в виде каприза возжелал вкусить ее девственности, чтобы потом хвастать перед коллегами. Но он так долго не мог – пожилой уже мужчина – закончить со всем этим, что у мадам де Стаэль образовался стойкий невроз по поводу сексуальных отношений.

Собственно, нерожавшая мадам в своем возрасте и теперь была физиологически девственницей, что поразило ее молодого любовника, который параллельно имел связь с сорокалетней пожилой уборщицей санаториума, женщиной, готовой к соитию в любой момент и в любом месте, в нее войти было легко (как по маслу).

Так что, можно считать, эта любовь была у них явно односторонняя, все подруги м-м де Стаэль данное обстоятельство заметили, а подруги были вострые, наблюдательные. Измученная, готовая к слезам она и подтянутый, как струнка, худой, головастый, маленький он. Фернандес, изволите видеть. Тоже немолод, ему под тридцать. Возможно, ему и в голову бы не пришло взваливать на себя эту сексуальную функцию, он бы постеснялся, но санаториум тем и славен был, что здесь шли навстречу буквально всем капризам и потребностям отдыхающих, даже непроизнесенным. И даже неосознанным.

А Фернандесу прямо было указано пойти к заболевшей м-м де Стаэль и принести ей, лежащей под балдахином, еду и складной столик – а затем взбить подушки, посадить и поставить стол на ее колени.

И произошло все то, что ожидалось.

Целомудренная, неискушенная, не знавшая мужского вожделения мадам дрогнула от этой мужской руки, шарившей у нее выше колен, чтобы подправить днище столика.

Она подчинилась, когда он захлопотался с этим днищем и невольно отслонил простыню, чтобы понять, где увязли ножки столика. Она просто сползла и легла навзничь, закрыв глаза. И взяла его за руку, буквально как ребенок.

Фернандес вообще убрал столик.

И как бы теснина, бесплодная расселина в горах подверглась внедрению космического тела, землетрясению, а также извержению вулкана, так можно было бы назвать дальнейший процесс.

На другой день после происшествия она все-таки вышла к ужину, и он, Фернандес, конспиративно сновал мимо нее – прямая спинка, большая голова, – и другие приносили ей тарелки, а он шпарил по соседним маршрутам. И она не имела смелости договориться с ним насчет следующего визита, а это была уже широко известная в санаториуме проблема второго свидания. Влюбленная, ошеломленная, почти плачущая, она тяжело возвращалась на свою виллу, спотыкаясь и оглядываясь, – но Фернандес не шел следом, видимо, убирал со столов.

Три подруги мадам наблюдали за ее унижением зорко, с полным пониманием. Эти три фурии давно обходились исключительно своей компанией, своими отношениями. Ссорами, изменами, заговорами – две против одной, как обычно. Они и жили на одной вилле – для экономии. Мисс Занд, фройляйн Пруст и леди Кристи (чистое совпадение, игра случая или шутка главного врача, отбирающего пациентов. Голландец, он скучал тут).

Ночь прошла у них в скандалах в спальне лидера, мисс Занд, и закончилась униженным ползаньем на коленях, угрозами самоубийства и так далее, но утром они все три вышли в обычном виде, белая как лунь мисс Занд в розовом платьице, фройляйн Пруст с распущенными седыми кудрями до лопаток и в романтическом длинном платье, а леди Кристи в очках и улыбающаяся во весь рот.

Странное это было трио, достопримечательность санаториума.

Мисс Занд носила стрижку “Алькатрац”, то есть была брита почти под ноль, но месяц тому, так что на ее голове с выдающимся носом уже взошла ровная, алюминиевого цвета щетина, как у какого-нибудь генерала. Розовое мини, пышное вроде абажура, заканчивалось как-то неприлично высоко, много выше ее массивных колен. Фройляйн Пруст, маленькая и полная, носила кудри ниже плеч, в память о юных годах. Это облачко седых волос лежало на ее выпуклой спине как синтетическая мочалка для оттирания кастрюль. А вот леди Кристи была худая, даже тощая, особа с жилистой шеей, на которой красовалась маленькая голова с вечно улыбающейся пастью. Эта улыбка разверзала ее череп почти до шейных позвонков, то есть леди ходила зубами настежь, рот до ушей. Проще говоря, головка ее была поделена почти пополам: купол с носом и глазами, затем пустое пространство, окаймленное сверху и снизу крупными от природы, своими собственными, пожелтевшими крепкими и большими зубами, и затем уже шел маленький скошенный подбородок и жилистая, крепкая, как щиколотка спортсмена, шея.

Самое первое, что приходило в голову человеку при взгляде на леди Кристи, – это сравнение со школьным скелетом, у которого нижняя челюсть давно отпала.

И эта троица вечно делилась, как амеба: то крепкая пожилая девчонка мисс Занд сидела за обедом в сопровождении романтичной старушки фройляйн Пруст, а отвергнутая леди Кристи улыбалась вдали, как изнемогающая от жары собачка. То, наоборот, леди Кристи активно хохотала с мисс Занд, а несчастная фройляйн Пруст сидела, как тюк, за отдельным столом…

А вот м-м де Стаэль выползла к ланчу бледная, изможденная, кое-как одетая в майку и шорты, причем уже после приема в клиническом корпусе, и массаж не дал ей желанного успокоения, и врач напрямую спросил ее, “как вы себя теперь чувствуете”, именно со словом “теперь”.

Она была близка к слезам и вымолвила, чтобы еду ей принесли на виллу. Что сегодня плохо себя чувствует после процедур.

– Ну тогда вам Стелла принесет, я распоряжусь, – провокационно произнес врач, поскольку требовался четкий контроль в завершение эксперимента. А потом он как бы засомневался и, глядя на вконец расстроенную пациентку, полуспросил-полувымолвил: – Маурицио?

– О нет, – еле выговорила мадам де Стаэль, – не надо.

Экзекутор продолжал:

– Может, Фула?

Мадам замотала головой.

– А кто?

Она прошелестела заветное имя.

– Но он же не справился со столиком…

Откуда им это было известно? Мадам де Стаэль сидела потрясенная.

– …Он нам сам должен давать отчет.

– Нет, справился, справился.

– Фернандес у нас вообще-то скоро уходит, мы его переводим в филиал. Он там будет работать с новым персоналом, будет обучать их, он опытный, а в нашей системе самое важное – это ротация.

– Он уходит сегодня?

– Нет, где-то через неделю.

– Сегодня пусть приходит, и все вечера, – проскрежетала униженная мадам де Стаэль. Раз все известно, то пусть. – Я буду платить.

– Что вы, это входит в обычную сумму, ужин в постель,

уборка.

И буквально через день все смешки, все нацеленные взгляды, все разговоры исчезли при виде этого отчаяния, откровенного, неприличного отчаяния мадам де Стаэль. Свидетели понимали – тут не страсть, не секс, не вожделение, а самая примитивная любовь перед разлукой, любовь сироты, взятой из детского дома, которую привезли, одарили, приласкали, оставили ночевать, а наутро сказали: все, мы вечером везем тебя обратно, у нас была благотворительная акция, в следующий уик-энд приедет уже кто-то другой из вашего детского дома. Ты же понимаешь, ты умная. Ротация!

Фернандес спустя неделю и вправду исчез – но и она пропала из санатория.

Видимо (думали заинтересованные те трое), узнав у Фернандеса адрес, она где-то там сняла номер в захолустном отеле, чтобы быть рядом с ним, но тут уже было широко известно, что найти искомое невозможно, не первый год мы в этих местах отдыхаем. Здешняя любовь удаляется сразу, суровые условия изгнания таковы, что дурная слава уменьшает зарплату и там, в ссылке. По негласному уставу, вызывать любовь стаффу запрещено. Она может случиться в виде физического отправления, не более того. Но в таком варианте все должно быть укрыто знаменитыми девятью покрывалами. А явное должно искореняться.

О физических отправлениях: в санаториумах по всему миру существует давний, вековой обычай типа права первой ночи – и всех последующих – на время срока. То же, что у европейских властителей и деятелей искусств по поместьям. Дюма-отец, русский граф Толстой с их случайными детьми. Но не любовь! Ее не скроешь ни под какими покрывалами.

Этот-то, описываемый нами, санаториум притягивал к себе тех, кто прибывал сюда быстро вернуть утраченную молодость, рассчитывая на умелые руки юных дев, массажи рук-ног-ушей, не говоря обо всем прочем, с финальными перьевыми прикосновениями, а также на странные (вонючие и черные) ванны после обмазываний специальной глиной, далее в распоряжении имелось что: ароматический душ, океан и бассейн с морской водой, несколько вариантов йоги и шестидневное голодание на рисовом отваре с полным – и магическим, без вмешательства, – опорожнением организма, кроме того, легкий, гигиенически оправданный, с маслами загар, ну и чистый, проверенный стафф. Который был обучен новейшим технологиям и мог находить деликатные тактильные пути как к выяснению потребностей клиентов, так и к преодолению свойственных тем

первоначальным табу. Кто не понимал и ежился-корежился, ничего не обретал в конце концов. По спросу и предложение.

Массажистки здесь себя уважали, они были обучены и бабками-матерями, и тренерами, и они не относили себя к жрицам любви – какая любовь? Технические приемы для устранения возникших сложностей. Медицинские способы решения проблем клиентов, определенные точки по организму – все.

Так что все предлагаемое в качестве дополнительных бонусов заказывали только многолетние посвященные, ведь тантрические практики, тайные техники по индивидуальному плану не афишировались тут, они, как правило, получали неожиданное воплощение в конце срока. Новое в массаже персонально для вас, так сказать. Когда уже и вилла предназначена следующим постояльцам, и санаториум заполнен. У клиента должна была остаться жажда возвращения! Врачи пасли здесь миллионные состояния, и пасли их не только психологически выверенно, но и весьма тактично. Никаких приманок. Только собственное решение! Три грации недаром ездили сюда каждый сезон. Что же, привлечение долголетней клиентуры – цель каждого оздоровительного центра, не правда ли?

Но и случай мадам де Стаэль не был вопиющей неожиданностью для врачей: имелось свое средство, ротация!

Мадам де Стаэль, бедная богачка, что она могла предложить своему любимому – жениться на ней и жить в ее замке на Луаре, играя роль живого вибратора? И в результате ждать ее окончательного ухода, и чего хорошего, а ну как слетятся двоюродные наследники. А просить ее о внесении в завещание, о брачном контракте – на это бедный слуга и не решился бы, она понимала.

Что же касается политики руководства, то такие случаи в санаториуме бывали и для стаффа ни к чему хорошему не приводили – следовала ротация на дальний объект типа концлагеря, вот что. Каторжный труд на стройке нового филиала, тесать красный известняк на кирпич по пять центов штука, без права на свидания. Раз в день миска нута. Пять лет. А не уводи клиентуру, баста.

Но даже при самом лучшем обороте событий, если бы она схватила в охапку любимого и увезла к себе во Францию – без языка, что его там ожидало? Враждебные местные слуги, ноябрьская тьма и зимние холода, чужая вода и еда, страшные гости, обычаи, которые никогда не поймешь. Или своими способами убьют наследники (Фернандес ведь должен был прочесть всю Агату Кристи, ее книги в замурзанном виде стояли

на полках в санаторской библиотеке, стафф их изучал, передавая друг другу, причем по наводке главврача).

Мадам де Стаэль и сама себе все это твердила, перебирая варианты. Здесь в стране не поселишься, у них только полугодовая виза. Да и племянники на родине имелись, мужнина родня с широко раскрытыми пастями. И завещание лежало у адвокатов. И она думала о том, как они отреагируют на появление нового наследника. И тогда каков может быть финал – психиатрическая клиника, яд или накроют подушкой.

Человеку ведь свойственно воспроизводить мысли других со всеми их аргументами, то есть что скажет и сделает этот, а что ответит тот. Жизненный путь весь расцвечен такими воображаемыми сценами, каждый сам себе драматург.

Кстати, мадам де Стаэль как раз относилась к тому разряду клиентуры, который был равнодушен ко всем тантрическим новинкам. Но и ее необходимо было удержать: ведь сразу после побега мадам были получены новые сведения, что она владеет миллиардным состоянием! Она оказалась в негласном списке “Форбса”, в пока что будущем списке: на ее участках в африканском Лесото были найдены алмазные месторождения с неисчислимым годовым доходом, результат провидческого завещания старика-банкира де Стаэля, который и после смерти держал штат геологов в Африке, поверив одному безумцу (а тот, в свою очередь, завидовал своему однокурснику, открывшему новые изумрудные копи в Шри-Ланке. Ревность – мотор всех первооткрывателей, да миллионеров тоже).

Так что история с Фернандесом, будем предполагать, произошла хоть и вне плана, но требовала разработки. Счастливый случай – только начало серьезной игры. Фернандес ведь не выполнял никаких указаний и вообще ничего не имел в виду, заботясь о мадам, это она восприняла его неловкое поведение как страстный и преднамеренный любовный ход и ответила, доверчиво взяв за руку слугу.

Однако же дело было сделано, главный шеф в Амстердаме не менял своих решений, Фернандес исчез.

Но после того, как известно, исчезла и мадам де Стаэль. Мало того, срок мадам закончился через десять дней, и на ее пустую виллу заехали другие.

Тем не менее разведка работала и донесла, что мадам плачет в своей дыре в дальнем городке, подкупает местных, чтобы ее проводили в тот филиал, на стройку, а связи с Фернандесом нет, телефон у него изъят. А там, в джунглях, легко напороться на ограду в виде проводов под высоким напряжением. Местные это знают и водят мадам кругами в безопасных окрестностях, и она

инстинктивно начала одна блуждать по побережью, даже отсылая сопровождающих, чтобы самой найти в джунглях ход наверх.

Короче, через одного коридорного в той дыре, где жила мадам, удалось сообщить ей, что Фернандеса переводят обратно.

И она, похудевшая и почерневшая, явилась в санаториум. На ресепшене ее встретили ласково, сказали: ой, мадам, вы, а вилл свободных нет. Она сидела, ей принесли специального успокоительного чаю. Наконец пришла администратор и сообщила, что вилла будет через десять дней. А пока можно пожить в доме у одного водителя, он с семьей обитает в черте санаториума, ниже по дороге.

Утром ее провели к главному врачу.

Состоялась трогательная беседа, мадам плакала.

Когда ее спросили, чего она добивается-то, мадам де Стаэль ожидаемо ответила, вся в слезах: “Хочу помолодеть”.

– На сколько? – последовал вопрос.

– На сорок… на сорок пять лет.

Главный кивнул, соображая.

Потом сказал:

– Это займет много времени. И средств. Команда приезжает со всем оборудованием, им мы тогда отдадим новый двухэтажный дом. Первый этаж уже готовят.

– У меня есть деньги, – отвечала мадам де Стаэль. – Зачем мне они? На пятьдесят лет, можно? На шестьдесят? И верните Фернандеса в столовую.

– Но вас заберут на все процедуры отсюда.

– Скоро?

– Это зависит от того, как пойдет наладка оборудования. Там и крыши пока что нет. Предупреждаю: еще у нас не полностью одобрен и апробирован этот новый проект. По заказу одного умирающего. Двух, вернее. Их держат в саркофагах с искусственным дыханием. Денег пока не хватает.

– Я буду сама это финансировать.

– Но мы не гарантируем вам любви, вот что.

– Этого никто не может гарантировать и в молодости, – сказала печальная де Стаэль, – я сама знаю.

Так и пошло. Тройка постоянных клиенток, дамы Занд, Кристи и Пруст, приняла несчастную бездомную в свои объятия, видимо, они уже были в курсе насчет алмазов, интернет-то работает. С ней ходили плавать в океан, ей советовали лучших массажисток, ее постепенно начали вводить в курс дела насчет практик левой руки, но она вела себя строго, садилась в ресторане спиной ко всем, спокойно могла разговаривать с Фернандесом по поводу меню, беседовала и с новой соседкой по

столу. Ночевала в доме у водителя. На ресепшене каждый день подписывала счета.

Стройка шла в горах, была скрыта джунглями, и долгая прогулка наверх всей четверки по грейдерной дороге привела компанию к высокому забору из кораллового цвета кирпичей. Железные ворота преградили путь. С участка слышались стуки и какие-то руководящие восклицания типа “давай-давай” и, судя по дальнейшим визгливым интонациям, “не туда, дурак”. Дамы из окружения мадам де Стаэль предположили, что это из экологических соображений, все только руками и ногами, без техники, без треска моторов и вони. Спортивная мисс Занд, используя подруг как стремянку, взгромоздилась на какое-то коренастое дерево с развилкой, постояла там и вернулась со словами: “Двухэтажный дом, вяжут крышу из пальмовых листьев. Здесь только так, да, экология”.

Мадам де Стаэль теперь вела себя точно как замужняя женщина, беременная от любимого человека, – была уверена в себе, принимала мужнину заботу без излишней благодарности, прислушивалась (внимание!) к своему брюху, ела осторожно и перешла к тренеру по йоге для столетних, его специально привезли. Не было никаких явных физических контактов с любимым, даже рукопожатий на людях. Он – явно – стал меньше ее интересовать, это подружки заметили.

И все прежние здравые советы искушенной дамской тройки – “нельзя так привязываться к объекту любви, только отпугнете” и “не плачьте, будет еще хуже” – все это уже было ни к чему. Перед ними возвышалась статуя типа девы с факелом, омываемая океанскими волнами денег, ограниченная в передвижениях и с огромным будущим.

Ее уже начали готовить.

Она ходила на уколы, пила какие-то отвары.

Мисс Занд как самая дошлая принялась все-таки повторять одно правило, ориентируясь на свою одинокую молодость: “Не бегайте за ним никогда, даже в новом возрасте. Мужчины этого не любят. Вот как я в двадцать лет влюбилась… Эх”.

Мадам де Стаэль молчала. Она не садилась с ними за один стол, не лежала с книгой в их обществе у воды и под сенью пальм и не слышала ядовитого щебета фройляйн Пруст, веских замечаний Занд и сдавленного хохота леди Кристи. И за ужином она молча воспринимала все доводы своих новых подруг, почти ничего не отвечая, такой невозмутимо слушающий телефон доверия, которому можно рассказать буквально все и который не возразит. И это еще больше раззадоривало их. Именно таковые, заметим, молчальники вызывают у людей приступы

откровенности. При том – что интересно – дамы облекали свои воспоминания в щадящую форму, давая объектам любви мужские имена. Если бы мадам де Стаэль читала “В поисках утраченного времени”, она бы поняла эту игру в Альберт-Альбертина.

Но ей было все равно. Она ждала. Она уже, пока что пребывая в старческом виде, отделилась от этих бабок, безобразных, как фриковатые героини каких-нибудь смешных мультфильмов. Она была такова же, как они, но не пыталась себя, что называется, подавать – ходила в обширной майке и таких же длинных и просторных шортах.

Фройляйн Пруст, имевшая по поводу всего свои романтические воззрения и воображавшая себя вечно юной со своим облачком кудрей, даже выступила на тему красоты, пользуясь временным расположением мадам де Стаэль. Она тоненьким, юным голосом сообщила, что именно ваше, пардон, физическое безобразие, нежелание что-либо предпринимать и есть знамение старости. Зимнее узловатое, в таком же периоде, как вы, корявое древо, не защищенное листьями, цветами и плодами, – вы понимаете? – безобразно тоже. Единственное, что может защитить честь и достоинство пожилой женщины, – это прикрытие для головы (королева Элизабет) или парик для тех, у кого не сохранилось хороших волос (Пруст при этом взбила прическу, раздернув на ходу спутавшиеся нити у себя на загорбке, и мельком посмотрела на головы подруг). Затем – она сказала – нужна длинная юбка и рукава ниже запястий. Аристократки в старину, те надевали на руки перчатки (опять-таки Элизабет как образчик), а для шеи придумали высокий ворот, закрывающий то, что не предназначено к обозрению, вы меня поняли. Но в нынешние времена все свободны в своих волеизъявлениях, и никто вам не скажет правды, кроме близких, никто уже не имеет права осуждать ничей внешний вид – ни богатого инвалида по разуму, ни актрисы-старухи, ни какой-нибудь бесноватой княгини… И специально не замечают катастрофических последствий пластических операций, которые нет-нет да и проявляются (тут Пруст возвысила голос) на новых лицах провалами вокруг носа, утолщениями на губах, удлинениями подбородка с целью натянуть обвисшую кожу (лицо по седьмую пуговицу) и неожиданными сборками на шее, как у скрывающих свой истинный вид инопланетян. (Фройляйн Пруст, кстати, сама себя при этом цитировала. Она вела колонку в местной газете где-то под Мюнхеном, на краю света.)

Что же касается мадам де Стаэль, то она исчезла именно тогда, когда освободилась ее вилла. То ли заперлась в своем помещении, а то ли вообще уже поселилась там, наверху, в

загробном доме, где должна была умереть (потеря личности и внешности же, как в земле!) и заново родиться.

Три дамы обменивались напряженными домыслами. Ведь здесь вершилась (частично) и их судьба. Ну вот как, как они там решают эту проблему снятия возраста до определенного момента? И не получится ли из мадам де Стаэль новорожденной миллиардерши? И не подменят ли ее какой-нибудь выписанной из Франции молодой внучатой племяшкой с целью провести пластическую операцию по портрету мадам в молодости (ДНК-то совпадет!)… И с целью замены дактилоскопии на концах пальцев (банк мадам де Стаэль взял у нее отпечатки на всякий случай, услышав про операцию и оплачивая счета санатория, – прилетали три француза).

Эти вопросы недаром угнетали тройку тезок великих писателей. Дамы ведь тоже считали свои миллионы. На их глазах происходил эксперимент. Ожидался, по непроверенным данным, приезд ученых с программой безоперационного вмешательства. Работа в гормональной сфере и с ДНК.

Когда мадам де Стаэль исчезла, исчез и Фернандес. По словам врачей, его отправили обучать вновь принятых деревенских подростков в дальнем филиале. Каторжные работы.

– Ибо, – главврач улыбался, – только с этим условием нам разрешено функционировать тут.

Мадам де Стаэль, однако, вернулась через неделю.

Сказала, что это был всего-навсего ретрит. То есть уход в молчание плюс голод.

Теперь она стала оживленней, посмеивалась над громовыми шуточками мисс Занд.

Но главное, что с ней произошло, – она явилась из своей виллы на завтрак розовая и свежая, как будто выспалась за всю жизнь. Она потеряла десяток килограмм, это было ясно видно.

И хотя ее туловище все еще оставалось оплывшим, лицо претерпело гигантскую метаморфозу. Никаких отеков и синяков под глазами! Никаких обвислых щек. Ровная шея. Ей можно было дать полтинник! Что есть цветущий для женщины возраст! Правда, бабьё заметило, что она немного странно себя ведет. Оглядывается, облизывается, чавкает, полезла пальцем в ноздрю. Горбится! Никаких следов воспитания! Все, над чем работают в цивилизованных странах с детьми раннего возраста, пропало. Она чешет голову, под мышками и (иногда) спину. Достает рукой до лопатки. Возит ногами, как будто все время пытается устроиться поудобней. То есть беспокойна, не так, как раньше была, статуя Свободы.

Покончив с десертом, бабы присели к ней за столик. Она

удивилась, вытаращилась, скорчила рожу, отклячив подбородок. Они стали ее спрашивать:

– Как вы себя чувствуете? Что у вас?

Она ответила, обратившись к леди Кристи:

– Бабуль, сколько время?

Та, пораженная, бестолково улыбаясь, полезла за телефоном.

Мадам де Стаэль протянула руку (никаких жилок у пальцев) и схватила телефон, стала рассматривать.

– О, “Нокия”. У меня тоже такой был. Старье. Я уронила в это… в унитаз, когда встала. У меня много их. Ну ладно, бабушки, пока.

И она забросила телефон подальше.

Леди, теряя челюсти, кинулась подбирать разбросанные детали.

Занд ласково спросила:

– О, мадам де Стаэль, а сколько вам лет?

– Шестнадцать уже, – отвечала та, вставая.

– Вы сошли с ума! Семьдесят восемь вам, – воскликнула, мило тряся головой, фройляйн Пруст.

– Мне восемь, – наморщив нос, сказала мадам де Стаэль. – Или шесть, не помню. А ты кто?

Подруги сидели оцепенев.

– Старая жопа, – заключила мадам де Стаэль.

– Ты отдала им все свои деньги? – спросила мисс Занд.

– Хрен им, а не деньги, – отвечала эта малолетка, заключенная в довольно немолодое и толстое тело. – Я им дала такую… это… просто карточку. Они стали спрашивать это… ну… код, а я не знаю.

– Ты одну карточку им отдала?

– Они спросили, это… а где остальные.

Каждый раз она останавливалась, как будто забывая слова.

– А ты?

– Мне жалко, что ли.

Старухи переглянулись.

– А у тебя тут за сколько заплачено?

– А я знаю? За год, кажется. Я не хочу тут. Задолбало. Ребят никаких нету.

– А Фернандес?

– А где он? Я его люблю! Я не могу, просто не могу! (Она заплакала.) Где он? Фернандес, Фернандес!

– Это надо у главного врача спрашивать.

– Я та-ак люблю его… Соскучилась прям. Фернандес… Я его найду тут, это… как там… он в лесу. Его это… прячут.

– Ты одна не ходи. Там леопарды.

– Прям.

Она действительно теперь говорила как шестилетний – и довольно дикий – ребенок.

– Ты спала с Фернандесом? – спросила мисс Занд голосом врача.

– Я спала с Фернандесом.

– Ну и как тебе было? (Они переглянулись.)

– Было это… очень тяжело, он на меня лег, и было – как это – оч больно. Но я, это… плакала, не плакала.

Старухи, кивая как завороженные, смотрели на мадам де Стаэль – ее лицо и тон все время менялись. Вдруг она сказала, совершенно осознанно, как будто перейдя на другой язык:

– Я понимаю, о чем вы. Но мои банкиры еще давно мне сказали, что заблокируют эти карточки при первой же попытке взять деньги без кода. А код мне не сообщили, ясно? Не считайте меня идиоткой. Мне уже четырнадцать лет.

Бабки, проверявшие в последние дни свои финансовые возможности, чтобы тоже пойти на омоложение, сидели буквально как пораженные громом. В то же время им явно хотелось побежать к главному врачу, сообщить ему о результатах.

Однако его не было, кабинет оказался закрыт.

К ужину возбуждение достигло предела, тем более что никто ничего не объяснил – и к тому же мадам де Стаэль явилась в верхний ресторан уже сорокалетней теткой, правда, такой же толстой. Она отказывалась узнавать старух, которые, наскоро проглотив что дали (микроскопические порции, Мишлен четыре звезды вегетарианский), прошли мимо нее и поздоровались. А когда они, как бы ослепленные новым зрелищем, вернулись, она встала и без слов удалилась, толстая, нелепая, с прыщавым подростковым лицом и тремя подбородками.

И больше ее в санаториуме не видели.

Главный врач появился через два дня, озабоченный. Прилетала на вертолете полиция. Мадам де Стаэль исчезла. Что-то произошло.

Три дамы пошли наверх, к тому объекту в джунглях. Ворота оказались не заперты, и посетительницы осторожно проникли на чужую территорию. Крышу уже настелили. Окна дома были плотно закрыты жалюзи. На газоне виднелись следы огромных колес. Вертолет?

Вернувшись, дамы посетили главного врача, и мисс Занд, лидер, задала вопрос напрямую:

– Ученые съехали? Сбежали? Что-то не получилось? Что сказала полиция?

– Да полиция вообще ищет кого-то по всему штату, это нас не

касается.

– А где эти экспериментаторы?

– У нас с ними трехлетний контракт, и они работают в разных наших санаториумах.

– А где мадам де Стаэль?

– Вот они ее увезли сейчас в филиал.

– Куда?

– Это на побережье.

– Можно ее навестить?

– Она в процессе наблюдения, нет.

– Ну хорошо, а почему она не так теряет в весе?

– Послушайте, и молодые тоже бывают полными, нет? – весело ответил старший врач и встал.

– Сколько это все стоит? – спросила, осклабившись как потный бобик, леди Кристи. – Полнота меня не пугает.

– Пока что, видите, процесс продолжается.

– А до какого возраста можно рассчитывать? – спросила мисс Занд. – Где остановятся?

– Думаю, по возможностям, – загадочно ответил этот красавец.

– Вот тебе и на, – резюмировала Занд. – Доведут до возраста шести лет и сдадут как сироту в приют.

– Погодите, а почему у нее лицо такое как бы бритое? Блестит кожа? – заметила мисс Занд.

– Вы ошибаетесь.

– Да нет же! – отвечала Занд, невольно проведя ладонью по щеке. – Я разбираюсь! – сказала она веско.

(Было время, когда Занд собиралась стать мужчиной и начала принимать гормоны и бриться на пустом месте, на подбородке, вызывая рост волос, но переиграла все обратно: мужчина-лесбиянка – это что? Жениться она раздумала (измена!), а так, неизвестно зачем, потерять круг общения, ведущие позиции и клиентуру? Она была все-таки довольно известной в определенных кругах. И Занд осталась дамой, хотя и зарастала довольно густой курчавой седой бородкой, если можно было неделю отдохнуть.)

Троица не собиралась уходить. Фройляйн Пруст тоже требовала ответа. Это здесь она играла третьи роли, дома-то Пруст фигурировала не только как колумнистка, но и как наконец нашедшая себя кинорежиссер-документалистка в области софт-порно. Мисс Занд, кстати, тоже была не пришей кобыле хвост, любительски занималась остеопатией, хилерством и гомеопатией, то есть являлась опытной ведьмой. Леди Кристи же паслась в высших сферах, увлекалась благотворительностью и

со временем стала профессиональной нищенкой, стучась во все спины. И научилась перед камерами ТВ своими историями исторгать слезы у зрителей (притом имея среди публики авторитет, так как ее состояние исчислялось миллионами).

Уже перед самым отъездом, месяц спустя, дамы поняли, что в округе что-то происходит. Ночами на дальних вершинах среди деревьев вспыхивали отсветы сильных фонарей, раздавались крики, как при облаве, легко узнаваемые без перевода. Днем по побережью таскалась толпа худых добровольцев с голубой капроновой сетью, намотанной на кривой стволик пальмы. И, наконец, в верхнем ресторане во время ланча появилась толстая, как тумба, немытая и нечесаная девушка в чем-то вроде сари, схватила с блюда декорированных фруктов гроздь бананов и тут же была поймана официантом. Она извивалась, кричала “отцепись, идиот, фак-фак” и “я заплатила за все, ты что, урод, новенький тут?”.

Дамы немедленно вмешались, окоротили возбужденного официанта, взяли мадам де Стаэль под локотки и усадили за стол. Тут она крикнула столпившимся у входа на кухню официантов: “Ты, Петер, и ты, Родриго, помните меня? А где Фернандес? Где он? Дам миллион, кто его приведет”.

Параллельно она начала лихорадочно чистить и жрать бананы, разбрасывая кожуру просто как обезьяна.

Дамы буквально поедали глазами ее лицо, юное, пухлое, грязное. Оно не отличалось красотой, у девочки имелись в наличии прыщи и типичная для подростка отечность под глазами, еще и нос был раздутый, а грязные волосы свалялись во что-то похожее на дреды. Брюхо наличествовало. Хиппи?

– Она помнит только недавнее! Бедная, у нее пубертат. Моя глупая девочка! – громыхнула мисс Занд и положила трепетную длань на голое плечо юной мадам де Стаэль. И тут же эта жадная рука была отброшена как бы между делом.

Официант принес дикарке порушенное блюдо фруктов, появился главный врач, дал указания, исчез, девушке поставили на стол сок в бокале. Она одним махом его выпила, а через минуту уже положила голову на стол и обвисла. Ее унесли.

– В этом возрасте мы все как сумасшедшие, – откликнулась фройляйн Пруст.

На следующий год та же троица приехала и услышала, что мадам де Стаэль все еще ищет Фернандеса, шныряет по джунглям – иногда в чем мать родила – и сбегает от учителей именно сюда, в санаторий своей первой любви, причем сторожа надеются на будущие подачки – пока что она знает только формулу “дам миллион”, однако денег банки ей не выделяют до

совершеннолетия (до восьмидесяти пяти?), а пока оплачивают санаторий, дом экспериментаторов и их изыскания, содержат педагогов, врачей и персонал. Но вот когда же случится искомое совершеннолетие, неизвестно, это должны установить судебные эксперты, а также психиатры, что делать.

В виде исключения местное правительство дало ей возобновляемую визу, потому что, первое, ее капиталы остаются в стране и, второе, из неких гуманных соображений – глупая девушка может не принять другой родины, страны с зимами, без этой свободы, джунглей и надежд, и может там погибнуть в холода, оставаясь вечной бродяжкой со своими криками “Фернандес, Фернандес”, – или наследники упекут ее в психбольницу.

Такое дал интервью местный главврач в женский журнал (издание лежало на видном месте в библиотеке). Ибо вся история – с разнообразными домыслами типа: не было ли там психологического давления, а также пыток и кандалов, – просочилась, благодаря проискам именно наследников, в мировую прессу, и боковые потомки банкира возбудили ряд уголовных дел (преднамеренное интеллектуальное убийство, первый случай в истории, в связи с этим исчезновение, то есть хищение, миллионов).

И трио дам, собравшись на лето, все кукует, что вот – поменялось у нее тело, кожа, полностью убрана память о прошлом вместе с простыми навыками поведения, и все сделали правильно, иначе нам, умным, с нашим воспитанием, образованием и опытом, было бы невыносимо жить снова среди идиотов-подростков! Это как в двенадцать лет окончить университет, сплошная тоска! Не с кем слова сказать! И на всю жизнь причем.

Да, у нашей бедной мадам де Стаэль, говорят они, уже возобладали гормоны другого возраста, разум стал пуст, а любовь (здесь они глядят мимо друг дружки в некую даль) и тоска остались. А м-м Занд как парапсихолог однажды добавила, что память есть у каждого кусочка кожи, у каждой поры, чуть ли не память у сердца – есть ли, нет ли. Память у этого ритмично дрожащего комка.

Рената Литвинова
Всё о Венере

Рассказ командировочной дамы из поезда

Однажды зимой в поезде “Красная стрела” в соседки мне попалась солидная женщина за сорок. Манеры, одежда, тон – все в ней было начальственное. Вечно звонил телефон, она сухо и четко отвечала, обложившись бумагами и планшетами… Наконец, ровно в двенадцать ночи, извинившись, она все отключила. Я читала газету, шурша всеми страницами, но испытала на себе ее взгляд, требующий общения.

– Магда Михайловна, – представилась она. – Ваше имя знаю.

Я сдвинула газету набок и уже кивнула ей всем лицом.

– Я все равно не засну. Не могу спать в поездах. У меня есть куча фильмов, вы же из кино, посоветуйте, что посмотреть?

Я стала изучать ее список в компьютере и нашла “Все о Еве”.

– Я бы сама его пересмотрела. Там Бетт Дейвис играет даму, которая из жалости берет к себе на работу помощницу…

– Так это про коварную секретаршу? – у соседки сделалось заинтересованное лицо.

– Да, про очень коварную! – пояснила я.

– У меня тоже была помощница, которую я взяла из жалости!

– И она пыталась соблазнить вашего мужа, как в фильме?

– Его в тот период не было!

– Она хотела занять ваше место?

– Не думаю, но…

Слово за слово. Вот ее история.

– Ее звали Венера. Если у Венеры было “убитое горем” лицо – значит, мужчины у нее не было две недели. Четырнадцать дней – это был “край”. Она ходила поникшая, суровая, ненакрашенная, не надевала линз – на покрасневшем носу, словно она плакала, красовались учительские страшные очки. Венера постоянно жевала, просила, чтобы я сделала ей чай, хотя была моей секретаршей, громко отхлебывала из блюдечка, как монах какой-то, истово глядела на всех осуждающим взглядом и вдруг говорила высоким, не терпящим возражения голосом:

– Мне нужно сегодня уйти пораньше, и завтра – выходной! Мне надо в клуб. Уже две недели прошло!..

Надо отдать должное ее честности. Голос Венеры был громкий, как со сцены, словно я глухой тупой партнер, от

которого ее охватывала истерика.

– Да, Венера, иди, конечно. Если тебе станет легче… – я осекалась на ее трагический взор, но не удерживалась и все-таки каждый раз добавляла: – Вот горе-то какое, бедная!

Это означало, что сегодня Венера пойдет плясать в ночной клуб – надо успеть принарядиться и накраситься. Там она будет искать себе мужчину, а во сколько освободится, пока не знает – как пойдет: она всегда надеялась на “вдруг”, неистово веря в свою особенность.

В такие “черные дни” надо было немедленно ее отпускать, при этом одолжив платье.

– Только не черное! – строго и громко указывала она из кухни, то и дело хлопая холодильником. – У вас все черное, даже выбрать не из чего.

Платье напрокат означало “навсегда” – так как платья после ее обладания ими пахли столь пронзительно и невыносимо! Особенно после плясок. Запах, как лисицы, пробирался во все вещи, концентрировался в воздухе вокруг – организм Венеры подавал отчаянные сигналы миру даже через ее поры: вот она я! Так почему же я целых четырнадцать дней одна?..

Как правило, она находилась через день. Войдя в квартиру с уже расправившимся лицом, двигала напрямую к холодильнику в моем кабинете, делала себе бутерброд, чай, основательно садилась и объявляла:

– Сегодня должен позвонить. Наверное, опять пойдем в клуб. Ему нравится, как я танцую. Вообще все мужчины завороженно смотрят, когда я начинаю танцевать! Я в танце забываюсь. Он увидел меня сразу, как я вошла, хлопнув дверью!

– Ты так специально, что ли, делаешь?

– Да! Чтоб все обернулись, и вот он рассказал, как я шла – как-то изгибами-изгибами, что он не смог удержаться… Я постояла одна, никто не подошел, и тогда я начала одна, прямо посреди всех, сама с собой, зайдясь… а ведь не пью!

– А он?

– Он сириец. Моложе меня на сколько-то, учится здесь. Он подумал, что мне тридцать шесть!

Вообще Венере было сорок лет. И у нее было две дочери: двадцати и двенадцати лет.

– Он сказал, что… да! Что полюбил меня. – Венера громко отхлебывала чай, предпочитала пить его “кипятковым”.

В периоды “любви” она была даже по-особому сияющая. Гладко зачесанные рыжие волосы, удовлетворенный взгляд серо-голубых глаз, облегающие платья, как у учительницы гимназии… увидев мой стакан с водой, который я поставила перед собой, она

крикнула:

– Вот! Вот такой, как у Ахмета! – и стала тыкать пальцем в мой бокал. – Вот вы видите диаметр вашего стакана?

– Ну так что ж?!

– Так вот у него такой же диаметр, у моего Ахмета! …Ну, там, внизу, прям точка в точку. Представляете какой!

Пить из этого пухлого стакана мне расхотелось. А глаза Венеры сияли.

Сияли они где-то дня два, потом потухли. Она стала нервная. В перерыве между переговорами, снова жуя что-то, сухо сообщила:

– Ахмет мне так и не позвонил.

– Ну… – случай "невзаимности" был не первый. Свежего утешения у меня не нашлось.

– Я сама позвонила ему.

Далее последовала пауза. Конечно, он не взял трубку.

Когда мы выезжали в командировки, Венера брала вечернее платье – на всякий случай – и строгий портфель. В гостинице при знакомстве с партнерами могла начать приплясывать, услышав обрывок какой-то музыки в фойе.

При этом все вежливо и с ужасом пережидали ее двадцатисекундный "пляс" с закинутым в потолок лицом… после она резко замирала и сообщала стеклянным высоким голосом:

– Вообще я же никогда не училась на секретаршу, я всегда мечтала сниматься в кино!

Где-нибудь в коридоре гостиницы, отойдя от всех на "непрослушиваемое" расстояние, я шипела на нее:

– Венера, зачем ты так странно изгибаешься? Говоришь всем, что ты актриса… ты же моя секретарша!

– Я сказала правду, – она отвечала, как революционерка перед казнью. – Я поддалась темпу музыки.

– Ты просто позоришь меня! Это выглядит пугающе!

На что секретарша, гордо закинув свою гладко причесанную голову, своими кроваво накрашенными губами отвечала:

– Да, я выгляжу как звезда, но веду себя не как звезда. Как некоторые…

– Ты имеешь в виду меня, Венера, говоря про "некоторых"? – признаюсь, эта ее "роль звезды", в которую она периодами впадала, меня даже завораживала. И плясала она так же искусственно, как звучал ее голос "мертвой учительницы" – в нем не было ни тепла, ни интонаций. Только тайная истерика, которую она всегда готова была включить: крик, оборона, нападение и упреки.

Поезд остановился в ночи на полустанке, проводник объявил,

что стоянка десять минут. Мы вышли с моей соседкой на воздух. Она курила. Наконец, не выдержав, я гневно спросила ее:

– Можно узнать, почему вы не уволили ее?

На что командировочная, закуривая новую сигарету, ответила:

– Господи, я сто раз думала, что надо ее отпустить, но куда?.. Вам, наверное, стоит объяснить, откуда взялась эта странная горделивая особа. Давайте вернемся в купе, так похолодало.

Мы заказали чай у проводницы, и началась новая история жизни Венеры. Начальная.

– Когда-то я училась с ней в институте. На первом курсе она блистала перед всеми – худой красавицей с отрицательным обаянием, – надменная и словно замороженная. Ей было едва двадцать, но у нее уже была маленькая дочь, хотя она жила в общежитии без мужа, почти нищая, без московской прописки, ей все помогали, жалели, молодые люди влюблялись напропалую. Вся загадочная и вечно голодная, с холодными глазами и истеричным голосом, она всегда подсаживалась ко мне в буфете, выбрав меня в слушатели. Обводя проходящих мимо студентов ледяным своим взглядом, рассказывала мне подробности очередного романа… Ну, например, как в поезде, кстати, встретила земляка и за всю ночь испытала девять… ой, или двадцать один… – соседка моя задумалась.

– А чего девять или двадцать один?

– Ну, такое слово “оргазм”. Оргазмов! Вот цифра мне не запомнилась, но она была внушающая. Я, между прочим, когда она вдруг попросилась ко мне на работу спустя годы хоть кем, как сейчас помню, поставила ей первое условие – никогда ни с кем не вступать в нерабочие отношения, но она, конечно, его нарушила… Но я отвлеклась. Так вот, помню, как в буфете к ней подошел студент – сейчас он профессор, светило – и попросил ее:

– Венера, я прошу вас больше не звонить мне по ночам…

– Негодяй! – криком она прервала его тихую просьбу, что даже у меня мурашки побежали по спине. – Щенок! С кем ты так смеешь разговаривать, я – мать!

Тот аж прям отпрыгнул.

Венера, успокоившись, кратко сообщила:

– Сначала он преследовал меня, а добившись своего, решил меня сселить…

Через год все бывшие возлюбленные Венеры по институту стали в страхе обходить ее за километр. Я иногда сидела с ее маленькой дочкой и наблюдала, как какой-то огонь, как туберкулезный жар, сжигал эту худую и рыжую женщину. Как безумная, уезжала она с новыми кавалерами – затянувшись в

черный плащ, выбегала в ночь с распущенными волосами, а мы с ее дочкой смотрели ей вслед в окно. Венера даже не оборачивалась.

Она появлялась в институте все реже. Далее завела “неодолимый”, по ее рассказам, роман с “гением”, бросила учебу, пропала года на три и вдруг объявилась, с обожженными по локоть руками. Голова ее была острижена клоками, как после тифа. Встречу она мне назначила по телефону:

– Это я, Венера. Доброй ночи. Мне сказали, что ты съезжаешь с квартиры, а мне жить негде, могу я снять ее после тебя?

Были лихие годы перестройки, все мы были бедны, и вот Венера – тогда ей было двадцать семь лет – сидела напротив меня буквально через час после звонка, такая же бледная, худая и крайне бедно одетая. Подозреваю, что костюм этот она заготовила специально, чтобы вызвать мою жалость. Волосы были словно мокрые, прилипшие ко лбу, кофточка с пришитыми заплатками… весь этот образ вызвал во мне полнейший шок. Вместо красавицы передо мной сидела измученная бытом женщина.

– Венера, – только и спросила я, рассматривая ее ожоги, – что с твоими руками?

– Он мне не поверил!..

– Чему он не поверил? Кто он? – не поняла я.

– Он не поверил, что я люблю его, и я опустила руки в кипящую кастрюлю и коснулась дна и не вынимала их, пока он не закричал! Так я доказала ему!.. Ты не знаешь, я же подрабатываю, готовя комплексные обеды на сорок человек, и у меня очень глубокие кастрюли!

Мы осмотрели квартиру, с которой я съезжала, – в новостройке, однокомнатная, наверху жила коммуна восточных людей, которые постоянно засыпали в ванной, и вода через день заливала мой потолок, и люстра начинала искрить… Ничего не смущало Венеру.

– Ковер я положу вниз лицом, чтобы убрать этот дешевый орнамент!.. Можно я вселюсь уже завтра?

Когда я отдавала ей ключи, сказала:

– Так жалко твои длинные волосы…

– Он не касался меня три недели, зная, как это для меня невыносимо! Даже не разговаривал, потом согласился быть со мной, но при условии – если я по пояс буду стоять на лестничной площадке, а он внутри квартиры и – только так! Меня увидели несколько соседей, из-за стонов вышли и… Так он наказывает меня… потом, он пока без денег, и пришлось продать волосы!

– Продать волосы?

– Это все тот же, он же гений, ты не помнишь его? Он был с параллельного курса. Он каждый день сидит за столом, работает! Пишет диссертацию. У него много научных открытий. Ложится в пять утра.

– А встает когда?

– Ну, в час… к обеду. Его звали на все кафедры мира, в Америку, а он отказался!.. Волосы сама состригла. Поэтому так неровно. Будут лишние деньги – пойду в парикмахерскую.

Мне показалось, что она соврала, причем продуманно – сразу вспомнился рассказ О'Генри о проданных волосах на подарок любимому.

– И сколько ты выручила за волосы?

– Ой… не помню.

Кстати, позднее я нечаянно услышала, как на работе она обучала девочку-стажерку:

– Надо "уметь вызвать к себе жалость". Если есть телефон его мамы, то позвони и пожалуйся на жизнь именно ей, а уж она знает, как разжалобить сына, чтобы он взял тебя на работу.

И меня пронзило: ведь через десять лет Венера появилась в моей жизни именно через мою маму – стала звонить ей и просить именно ее, чтобы та уговорила меня взять к себе на работу. Она жаловалась, мама передавала мне подробности ее несчастной и безденежной жизни. Полная сочувствия, я назначила ей встречу. "Ради меня", – кричала мне в трубку мама.

Итак, после того случая с обваренными руками мы не виделись десять лет. Венера ждала меня в кафе – очень потолстевшая, в белой заштопанной косоворотке и черной юбке до пят, наряженная под крестьянку, – едва узнаваемая! Вскочила, уронив стул своим большим телом, обняла за плечи, обдав запахом пота.

– Венера! Что с тобой случилось? – я спросила вообще-то о внешнем виде Венеры, который меня расстроил… или это была очередная разыгранная роль, ее типичная тактика – "ударить на жалость"? Она же приняла этот вопрос как жизненный, и начался долгий рассказ, который закончился примерно так:

– Я больше не могу готовить обеды на сорок человек, таскать на себе эти кастрюли, закупать ранним утром мешки с картошкой и выискивать мясо подешевле! Я больше не могу! Я больше не могу! У меня состарились руки от вечного мытья и готовки, мне нечего надеть, потому что у нас нет денег, спаси меня, возьми хоть кем-то на работу, но я так больше не могу!.. – она стала протягивать мне свои руки, показывая, как они пострадали, и вдруг я увидела, что ожоги куда-то пропали. Она перехватила взгляд и быстро сообщила: – Зажили… – и спрятала руки под

стол.

Ее прежние бесстрастные глаза глядели в меня с такой мольбой и болью, словно передо мной лежало задавленное машиной огромное живое существо – когда-то я выбежала на дорогу, увидев сбитую собаку – она умерла у меня на руках. Она смотрела точно так же! Потом Венера добавила:

– Семьдесят пять килограммов.

– Что семьдесят пять килограммов?

– Мой вес. Я всегда весила пятьдесят.

Мы расстались. Пораженная, я провожала ее взглядом – она уходила боком, не выпуская меня из своего поля зрения, жалко сутулясь и вспыхивая полуулыбкой, с тряпичной котомкой, в сбитых протертых туфлях – надо было умудриться собрать "весь образ" воедино, чтобы выглядеть так пронзительно! Кстати, больше этих вещей я на ней ни разу не видела.

Вскоре так сложилось, что одна из моих помощниц забеременела, а потом вышла замуж, что так типично для секретарш. Текучка кадров образовала вакансию для бывшей однокурсницы. Мне не хотелось с ней даже встречаться, но под напором мамы я позвонила Венере, и на следующий день она уже явилась ко мне на работу. И сразу озадачила меня тем, что первым делом, обойдя офис, нашла холодильник в маленькой кухне при кабинете, распахнула его и стала пристально вглядываться внутрь. Покопавшись, наконец вытащила колбасу. И всю ее съела!

Благодарный взгляд дней через десять она стала забывать дома, словно сумочку или шляпку. Быстро приосанилась, перестала пахнуть, месяца через три похудела. Даже сквозь дверь кабинета я слышала, как изменился ее тон – она надменно и жестко отвечала подчиненным, буквально в приказном тоне. Столь унижаемая дома, Венера Игоревна превратилась в деспота на службе. Окружающие отвечали ей той же монетой: сочувствие к "несчастной" (в первое время жаловалась она практически всем, шокируя подробностями) постепенно сменилось на тихую ненависть, но она шла сквозь все и всех с победно поднятой головой, никогда не здороваясь первой. Через четыре месяца кротко попросила отдать ей мои старые платья, так как у нее нечего надеть, а надо выглядеть хорошо при "такой должности"… Она стала чаще бывать у меня в квартире. Проявила рвение в разборке гардероба, из которого я отдала ей и пальто, и платья, и обувь. К ней вернулась "моя красота", как она описывала себя в третьем лице. Только все чаще стала критиковать домашнего "гения", который по-прежнему сидел по ночам, редко ложился с ней спать, избегая ласк, чем очень портил настроение. "Научный

трактат” его никак не кончался…

Хотя это был единственный человек на свете, который мог изменить выражение ее лица – из состояния хладного равнодушия в похоронное. То он прекращал разговаривать, то устраивал оргии с “золотыми душами” в общественных местах, то ложился спать отдельно, то плохо отзывался обо мне как о человеке. Я едва его помнила, но она исправно мне передавала оскорбительные высказывания в мой адрес. У меня не было мужа, и я, по словам Венеры, тоже ломала ей семью, задерживая на работе и отправляя в командировки. Я хотела, чтобы “она стала такой же одинокой”, настаивал он в пересказе моей секретарши.

– Зачем ты мне все это передаешь? – не вникая, отмахивалась я.

На девятый месяц работы, дождавшись, когда все ушли, Венера встала у косяка двери между кабинетом и предбанником и заявила:

– Он не спит со мной уже больше недели. И сегодня старшая дочь мне вдруг сказала, что я всегда нуждалась только в нем, а на нее мне было наплевать… тогда, в детстве, когда ей было двенадцать лет, она говорила мне, что он… ну, целовал ее, а я не придала значения… и она его ненавидела все эти годы…

– Как поцеловал ее?

– Ну, это было уже давно! Восемь лет назад…

– А ты спросила его тогда, что это за “поцелуи”?

– Я? Я спросила… – Венера вдруг растерялась. Припоминая, медленно перечисляла: – Она плакала, не хотела с ним оставаться дома наедине… но я не имела сил! Я с утра до вечера готовила, развозила обеды, и у меня все-таки была вторая дочь… Это она должна была меня жалеть и помогать! – Ее агрессивная атака сникла, она помолчала. – Они часто оставались дома одни, он работает на дому…

– То есть ты, Венера, не разобралась, что он делал с твоей двенадцатилетней дочерью? Ты не спросила ее, что же произошло? – я даже повысила голос.

– Я спросила у него, он сказал, что все неправда! И дочь уже тоже молчала, и ничего нельзя было добиться от нее…

Повисла пауза.

– Это очень странная история, – сказала я. – Прошло восемь лет, хотя бы спроси сейчас. Ведь она теперь… поразговорчивее?

– О да! Так хамит… и его ненавидит. Сейчас это не скрывает.

– Но ты должна спросить!

– Да, я спрошу, – тихо проговорила она. – Потому что, мне кажется, она стала ненавидеть и меня.

Она постояла, наверное, минуту – на ее равнодушно-

окаменелом лице появилось изменение, оно стало озабоченно-окаменелым.

В следующие дни, недели, месяцы разыгралась настоящая драма: Венера выяснила спустя восемь лет, что все эти годы “гений” заставлял ее старшую дочь жить, спать с ним, делать все, что он прикажет, угрожая, что он все расскажет маме, “потому что дочь сама виновата”. И закончилось это только года два назад…

Венера сидела на работе, не отвечая на звонки, вопросы, тупо уставившись в стену. Стучалась ко мне в кабинет, чтобы снова и снова повторить:

– …я вставала в шесть утра, шла с сумками на рынок, закупалась там, потом чистила картошку и морковку, делала фарш, он все это время спал, я варила эти супы в кастрюлях, жарила котлеты тоннами, откладывала ему, детям и уезжала, чтобы все эти неподъемные чаны развозить по офисам на троллейбусе и метро! У меня не было денег на такси! Я возвращалась вечером, а он сидел весь творческий и в муках над фразой – за столом в удобном кресле и чиркал в своих бумагах. А вчера я потребовала мне дать все почитать!.. Но он не дал! Неважно… все это время, пока меня не было, моя дочь возвращалась к нему из школы, и он раздевал ее, укладывал в нашу постель…

Она не могла остановиться.

В ее редкие паузы я спрашивала только:

– Как ты могла не замечать этого?

Она как автомат, как робот, который пытается вспомнить цифры, отвечала:

– Да, она была неуправляемая, она дерзила мне! Она ненавидела нас всех и плохо училась… она… она… она любила только танцевать, как я! – И на этих словах Венера выдыхала: – А теперь мы живем втроем: моя старшая дочь, я и моя младшая дочь от него! Он – отец моей второй дочери. И он – насильник моей первой дочери.

– А что он? Что он?

– Сначала он сознался, потом испугался и теперь все отрицает! – впервые за годы нашего общения Венера говорила не только о себе! Вопросы “нижнего отсека”, любовных пауз ее не занимали.

История эта длилась, наверное, год. Через общих знакомых несостоявшийся “гений” (уже можно об этом говорить как о свершившемся факте) передавал, что его оклеветали, подстроили и подтасовали. Мнения и симпатии разделились, был даже замешан священник, тоже бывший математик, который учился с нами, – он призывал к прощению. Но Венера подала на развод,

так как “гений” оказался официальным мужем. Его выписали из квартиры. Судебную канитель взял на себя мой адвокат. Муж был изгнан. Его родная дочь общалась с ним по выходным, выезжая на окраину города, где он смог снять себе угол. А старшая дочь поселила вместо отчима жениха араба, с которым познакомилась в том же танцевальном клубе, куда любила ходить ее мать. Вскоре она забеременела.

Бывало, теперь, после развода, мать и дочь нечаянно встречались и плясали там, соревнуясь, кто из них лучше. Венера теперь ходила каждую пятницу или субботу в клуб. В понедельник она рассказывала если не мне, то другим секретарям и даже посетителям:

– Я в пятницу пришла такая усталая, но стала танцевать, и все вокруг меня сплотились; затмила всех, даже дочь моя старшая отошла в сторону! До трех ночи не могла остановиться, а один мужчина сидел и ждал, ждал меня…

– Дождался? – слышала я через дверь вопросы к ней, и Венера радостно продолжала повествование:

– Мы поехали к нему!..

Зимой я заболела, надо было подписать бумаги, Венера заехала ко мне домой и вдруг вынула из сумки свои домашние тапочки и сказала отчетливо:

– Предупреждаю сразу, у меня на ногах грибок, поэтому я взяла свои личные тапки.

Она по наработанной траектории прошла в кухню, раскрыла холодильник, выбрала, что ей хочется, сделала бутерброд:

– Он приглашал меня, оказывается, в специально снятую для встреч квартиру! Там-то я и заразилась, в ванной, на резиновом коврике! А я никак не могла понять, почему такая странная и нежилая квартира!

– Это ты про кого? – не поняла я вначале.

– Это я про “ждущего” мужчину, который не танцует, а смотрит и ждет. Как хищник прям. Поджидает. И я еду… Я все надеялась на изменения в лучшую сторону, соглашаясь на такие ужасные выезды к нему, а он мне выставил условие – найти еще одну подругу! Чтобы нас было трое! Я так не могу. Я не такая.

– А какая ты?

– Мне нужен постоянный мужчина и только мой.

Она доела бутерброд и положила передо мной бумаги:

– На подпись!

Я подписала. Венера снова пошла к холодильнику, распахнув его и выбирая себе что-то “укусить”, как она выражалась. Не выдержав, я наконец спросила:

– Венера, я плачу тебе хорошую зарплату, не могла бы ты

питаться перед работой?

– А хлеб тоже нельзя?

Она, как поверженная громом, снова ссутулилась. В нее снова вернулась прежняя Венера, которая суетливо и заискивающе покинула квартиру.

После “недоступа” к холодильнику отношения дали резкую трещину – ее лояльность ко мне невероятным образом была связана с едой! Так прошли зима, весна, еще одно лето, осенью она снова стала понурая и раздраженная. Стала отпрашиваться – вдруг решила сниматься в массовке.

– Я на секретаршу не училась, это не мое! Дай мне шанс! Вдруг меня заметят?

– Но, Венера, тебе сорок лет, где ты собираешься сниматься?

– Завтра у меня съемка. Никак не могу прийти на работу…

К зиме Венере стало понятно, что “она не секретарь”. У нее нет времени на дочерей. Попросила несколько выходных, вернулась поцарапанная, с синяком, испуганная. Закрыла плотно дверь в мой кабинет и сказала:

– Стыдно признаться, я подралась…

– Венера, с кем?

– Со старшей дочерью. Она взяла все мясо из холодильника…

Я не дала ей договорить:

– Опять холодильник?

– Ну да, куда я спрятала кусок! И отдала его своему жениху! Я повесила замок на холодильник, хоть у нее и грудной ребенок…

– Какой ребенок? Она родила?

– Ой, да, от своего жениха… Но это не дает ей права брать мое мясо! Я младшей дочери дала деньги, чтобы она сама себе покупала что-то поесть. И вот старшая посмела мне нахамить, я дала ей пощечину, она вцепилась в мое лицо, я схватила ее за волосы и придавила ногой к полу…

Дочь беспощадно вытесняла мать из пространства, а Венера никак не соглашалась уступать ей место и уходить на “вторые роли”.

Недели через две я отправила ее купить лампочки в ближайший магазин – она пропала часа на три. Вернулась счастливая.

– Венера, где ты была пол рабочего дня?

– Я встретила его! Мужчину. Сергея! Я переходила дорогу, вдруг мне сигналят из джипа! Какой-то красивый мужчина. Он выскочил за мной! Затащил в машину! Сказал, что влюбился с первого взгляда! Пока я стояла на светофоре, такая печальная! Как я шла, он не мог насмотреться! Рассказал мне всю свою

жизнь. Я ему – свою. И про гения, и про кинокарьеру, и про дочерей… Он дал мне свой телефон! Вот! – она стала трясти у меня перед глазами крошечным обрывком с номером. – Как я плакала, когда сидела с ним в машине…

Прошло три дня. Все вокруг радовались в преддверии Нового года, ходили с полудня уже пьяные, а наша Венера впала в драму – сутулая, строгая, как Северный полюс. От нее веяло замороженной рыбой. В такие периоды она начинала активнее стучать дверью холодильника и постоянно жевала что-то. К рабочим вопросам была равнодушна, как мертвая.

Я подошла к ней:

– Ну, наконец, дай мне эту свою бумажку!

– Какую бумажку?

– Ну, с его телефоном!

– Сергея? Он не звонил.

– Я знаю, – сказала я, – что не звонил. Давай мы позвоним ему сами – или да, или нет.

– Да? – в ее глазах появился интерес.

Я набрала номер. Ответил мужской голос.

– О, добрый вечер, секундочку, я передаю трубку Венере!.. – сказала я как можно более ласково.

В ответ послышались короткие гудки. Далее Венера сама часов пять подряд звонила на его номер, пока его не отключили. Она зашла ко мне в кабинет и спросила:

– Вдруг я поняла: неужели он не хочет со мной говорить?

– Через пять часов прозвонов?.. Венера, а у тебя там с ним в машине тоже что-то… было?

– При чем здесь это? – воскликнула она.

Никогда я не узнаю правды – было или не было… Рассказывая историю Венеры, я ведь даже не заикнулась про свою жизнь, а у меня тоже были какие-то события, переживания, поклонники, друзья… Вот важен один факт – у меня был друг. Я знала его двадцать лет. И Венера не раз видела его, сопровождая меня на встречах, подвозя к нему в гости или в офис. До ночи мы могли разговаривать обо всем. Сам он был одержим работой: работал в музее, вечные выставки, новые талантливые художники – практически он жил в своем кабинете! И праздники мои омрачились, что он заболел, никому не сообщив, тайно в одночасье уехал на операцию в Германию. Я узнала об этом, когда он позвонил мне из палаты и сообщил:

– Готовьте черную шляпу и вуаль, – голос его был все тот же, шутливый, полный сил. – Ведь завтра операция, и я, наверное, умру.

В тот день разразилась новогодняя вечеринка – все собрались

в огромном ангаре-ресторане. Венера появлялась то тут, то там в обтягивающем красном платье! В грохоте и мелькающем свете я видела ее танцующую, с запрокинутой головой, с поднятыми руками, мокрым лицом… Мужчины быстро схлынули с танцпола, пьяные, разбредаясь в разные стороны, падали, роняли стулья. В какой-то момент Венера осталась совсем одна – под грохот из колонок, – она царила там, подняв свои худые руки и лицо в потолок… Потом она резко исчезла.

Утром я улетала. Отправляя меня на самолет, в аэропорту она рассказывала:

– Он моложе меня на пятнадцать лет! Поехали в квартиру к его деду профессору…

– Венера, я же просила тебя, только не на работе!

– Страсть охватила нас! – начала она. – Я себя не помнила, и все было так естественно, что я ничего не стеснялась! Я сбросила с себя одежду и была какая есть!

– Не продолжай, прошу тебя! Тем более что я знаю его дедушку и папу.

Она так заморочила мне голову своими похождениями, что я забыла свой телефон и улетела без него, оставив в машине.

Весь Новый год я ей звонила и просила прислать мне телефоны друзей, так как номер моего друга не отвечал – его я помнила наизусть! Я звонила ей дня три подряд, на третий день она написала мне короткое эсэмэс: “Ваш друг умер”. И все.

Осознав, я переспросила:

– Так он умер там на операции, как обещал?

– Да, как обещал. Но я не знала об этом пять дней.

В рассвете наш поезд медленно причаливал к перрону Санкт-Петербурга.

Мы стали надевать пальто, готовить сумки.

– А хотите, я покажу вам ее фото? – сказала вдруг дама. – Она же сейчас снимается в кино!

Порывшись в телефоне, женщина показала мне Венеру. И я узнала ее! Она снималась в нашем фильме – нужна была женщина на роль умершей, которая лежала бы в гробу, – так это была именно она! Я запомнила Венеру, потому что у нее постоянно звонил телефон – прямо из гроба. И она виновато и неловко приподнималась на локте, шептала в трубку и снова ложилась, пряча его под себя. Но звонки продолжались из-под ее тела – они портили очередной дубль. Не выдержав, я подбежала к гробу и, помню, гневно сказала:

– Вы же мертвая, какого хрена вы отвечаете на телефонные звонки?

Я помню ее лицо – оно вызывало сочувствие.

– Простите, простите, да-да, я мертвая, я мертвая! – Она немедленно легла на подушку и закрыла один глаз, вторым наблюдая за мной. – Так подходит?

Я кивнула, она прикрыла и второй глаз.

На монтаже ее лицо мерцало на пленке, с ней не вырезали ни одного кадра.

Марина Степнова
Покорми, пожалуйста, Гитлера

Бледное личико. Черная челка косо легла на квадратный лоб. Под носом – чернильное пятно усишек. Гитлер! – сказала она радостно. И Копотов тотчас же шикнул – думай, что говоришь! И где! Но ведь правда – вылитый Гитлер! Кот, будто поняв, торопливо шмыгнул под живую изгородь – низкорослый, угрюмый, плюгавый. Тощий какой. Бездомный, наверное? Копотов пожал плечами. Здесь нет бездомных животных. Пойдем, не сиди на камнях, холодно уже. Она поднялась со ступенек машинально, как послушный ребенок, и так же машинально села снова, натянула на колени кофту, серую, грубую, похожую на постаревшую рыбацкую сеть.

Вот я никогда не могла понять. Неужели в нем вообще не было ничего человеческого? Но это же просто невозможно… Она уселась поудобнее, зашарила в кармане кофты, вытянула сигаретную пачку. Московскую, с жутким пародонтозным оскалом. Копотов поморщился. Тут не курили. Почти никто. Дорого. Вредно. Немодно. И про Гитлера не говорили – честно говоря, почти по тем же причинам. Она затянулась и сказала важно сквозь дым – человек обязан сострадать другим, если он все-таки человек.

Копотов, не дослушав, ушел в дом. Тыща слов в минуту – мама так про нее говорила. Была права. Копотов мимолетно подумал, что все чаще соглашается с матерью, давным-давно мертвой, а ведь как спорил с ней когда-то, как яростно орал, пытаясь доказать – а что?

Уже и не вспомнишь, к сожалению.

Он вернулся с диванной подушкой, с думочкой. Опять мамино словечко, теплое, домашнее. Вышитое. На, холодно же. Она повертела подушку в руках, как слепая. И все равно ужасно его жалко. Такой худющий. Прямо остов. Гитлер? Да нет же, глупый. Кот! Глазищи огромные, тонкая шея торчит из вязаного грубого хомута. Постарела все-таки ужасно. И подурнела. Очень. Как будто запеклась.

И все равно – она.

Копотов сделал еще одну попытку пристроить думочку. Простудишься. Не простужусь. Тепло же. Даже не верится, что январь. Смотри, все зеленое. Зеленое, потому что можжевельник и лавр. Лавр? Лавр. Как в суп кладут? Копотов кивнул и немедленно забыл и про Гитлера, и про кота, и про сигарету –

потому что она вдруг улыбнулась. Так, что у Копотова даже дыхание перехватило. Как будто и не было этих двадцати с лишним лет.

А помнишь, какой я тебе суп сварила? Ну, тогда, в общаге?

Еще бы он не помнил. Кто бы вообще такое забыл?

* * * * *

В девяносто третьем пришлось особенно туго. Все вокруг торговали, торговались, приторговывали по мелочи. Копотов даже как-то увидел на площади у Белорусского вокзала невысокого мужика с плакатом “Куплю всё” – и апокалиптичная лаконичность этой формулировки долго отдавалась то в голове, то в сердце. Сам Копотов откровенно пропадал. Время было не его, он сам был – не ко времени. Диссертация буксовала, репетиторство отмирало как вид, впереди маячил ужасный призрак выселения из общаги. Аспирантура должна была закончиться – неминуемо, как жизнь. Что будет дальше, Копотов боялся даже думать.

На кафедре было уныло, никто ничего не понимал, не знал, и только научный руководитель Копотова, лысый, желчный, злобный, с шизофреническим упорством делал вид, что все в порядке, – и раз за разом возвращал Копотову главы диссертации, испещренные ядовитыми, почти ленинскими маргиналиями. Проглотив очередную порцию “ослов” и “бездумных балалаек”, Копотов решился написать в один немецкий фонд с громким лающим названием. Фонд располагал уникальной библиотекой и раз в квартал выпускал десяток аппетитных брошюрок, малотиражных, сереньких, но вызывающих у любого историка сладостную дрожь во всех членах.

Над письмом Копотов корпел несколько дней, то и дело заглядывая в словарь и дуя на красные ледяные пальцы. В научной библиотеке не топили и даже не обещали, и над читальным залом стоял топоток: немногочисленные сидельцы из последних сил пытались не замерзнуть. Библиотекарша, немолодая, некрасивая, закутанная до бровей в пуховый платок – будто из блокадной хроники, честное слово, швыряла книги на стол, будто это они были во всем виноваты. Копотов подошел, деликатно попросил что-нибудь с сугубо деловой лексикой, может, есть какое-то пособие, я составляю официальное письмо, хотелось бы быть понятым совершенно точно. Немецкий его хромал, если честно, на обе ноги. Библиотекарша встала и вдруг прокричала низко, страшно, как над могилой, – они не имеют права! у нас фонды! фонды драгоценные! – и ушла куда-то в

книжную темноту.

От всего этого веяло не безнадегой даже, настоящим безумием.

Копотов управился наконец, измарав четыре черновика и едва совладав с непокорными умляутами. Холодея от собственной дерзости, он запросил целый список литературы, как говорила бабуля – и то и сё и жареное поросё. Расписался, подул на листок, как старательный первоклашка. Ну, Господи, благослови.

Очередь на почте хвостилась огромная, угрюмая. Тут тоже не топили. Хоть в общаге было тепло. Копотов отпер комнату, с наслаждением извлек из-под куртки похожий на веселого младенца батон. Укусил его за вкусный теплый бок. Сейчас чайку марцизнем! Он вынул из портфеля черновики, просмотрел бегло, радуясь сделанному делу, – и вдруг сел. Снова встал, серый, жалкий, растопырив так и не отошедшие от могильного библиотечного холода красные клешни.

На всех четырех черновых листках красовалось аккуратное – *mit tiefer Verachtung, herr Kopotov*.

С глубочайшим презрением. Копотов.

Все четыре раза.

Значит, так и отправил.

Копотов с трудом проглотил хлеб, еще мгновение назад – нежный, ноздреватый, живой. Посмотрел на часы – бежать на почту поздно. Как, откуда выскочила эта чертова приставка *Ver*, как волка в оборотня, превратившая глубочайшее уважение (*tiefer Achtung*) в этот возмутительный, наглый, бестактный ужас! Копотов всплеснул руками, всхлипнул и все-таки потрусил на почту, давно закрытую, темную, пустую.

Наутро он, разумеется, опоздал – всего на пять минут, но корреспонденцию (какое сухое, рычащее слово!) уже увезли в брезентовом мешке. Несколько темных во всех смыслах недель Копотов бродил по самому дну ледяного илистого отчаяния, ожидая ответного ядерного удара, вторжения оскорбленных фашистско-немецких захватчиков, чуда, одного-единственного, очень маленького. Пусть письмо потеряется. Не дойдет. У всех же не доходят.

У Копотова – дошло.

Старик-профессор, разбирающий почту, высоко вздернул пегие брови, мотнул головой, словно получив оплеуху, – и вдруг захохотал, хлопая себя по твидовым коленкам. Шельмец, ну какой шельмец! Лиззи, ты только посмотри, как он пишет – с глубочайшим презрением! А еще говорят, что русские потеряли гордость. Э, нет! Только не историки, Лиззи! Только не историки.

Извещение на посылку принесли к Новому году. Копотов, изумленный, не верящий, долго перебирал драгоценные книжицы, все не знал, куда их пристроить – как руки на первом свидании. Наконец составил стопкой у тумбочки – чтобы дотянуться даже ночью. Ни письма, ни открытки в посылке не было – пронесло, слава Богу. Не обратили внимания. Не прочли.

А к весне на кафедру пришла бумага. Один из германских университетов приглашал герра Копотова под свои легендарные своды для осуществления научной работы. Стипендию герру брался выплачивать столь глубоко презираемый им фонд. Он же сулил оплатить все дорожные расходы. Научный руководитель воздел бумагу к потолку, завопил, срываясь на жалкий крик, – они там с ума посходили?! Почему презираемый? Откуда они вообще тебя знают? Даже не лучший наш аспирант! Тогда как только у меня четыре учебно-методических пособия! Одних научных публикаций – сто двадцать девять! Копотов кивал виновато и угодливо, а сам мстительно отмечал в мысленной книжечке: вот тебе осел, вот тебе бездумная балалайка, вот тебе четырнадцать (!) раз переписанная первая глава!

Германия планировалась на сентябрь, впереди было целое лето – расставаний, сборов, счастливейших хлопот. Впрочем, быстро выяснилось, что расставаться и прощаться Копотову не с кем. Научный руководитель, завидя его издали, гневно вздергивал козлиную бородку и переходил на козлиную же, брыкливую рысь, норовя укрыться за ближайшей дверью. Однокорытники, и прежде совершенно чужие, мыкали свою собственную Москву и радоваться чужой удаче не спешили.

В общем, отвальная отвалилась сама собой.

Со сборами тоже вышло нескладно – за годы учебы Копотов нажил только тонну книг, нетранспортабельных, как пациент с черепно-мозговой травмой, чемодан барахла да собранную по сосенке посуду, на которую никто не позарился. Книги он пожалел отдавать сам, долго мучился, не зная, что делать, и потому малодушно казнил всех – решение, знакомое любому тирану или мямле. Книги были проданы – чужим незнакомым людям. Себе Копотов оставил только те, что прислал фонд, – не на память, просто желая задобрить судьбу, вдруг обратившую на него свое безумное, вылупленное, благосклонное око.

Он доживал последние недели в сразу ставшей просторной и гулкой комнате, полной только надеждами – тоже, впрочем, совершенно пустыми. Москва, люди, вещи – все подернулось дымкой, стало полупрозрачным, зыбким и то и дело шло нежной рябью, сквозь которую пробивался только свет, далекий, негромкий, настоящий. И свет этот придавал всему такую зримую

глубину, что Копотов, не склонный к пустопорожнему интеллигентскому лиризму, даже подумал как-то, что именно таким, наверное, и видят наш мир ссыльные ангелы.

И тут приперлась она.

Копотов, ничего не подозревающий, беззащитный, распахнул дверь и даже зажмурился, как маленький, – чур меня, чур! Но она никуда не исчезла, конечно. Стояла на пороге (слава Богу, в этот раз без чемодана) и, как обычно, собиралась расплакаться. Коса, торчащие скулы, глазищи. Все – как всегда. Это я, Саня! Она всхлипнула, раскинула руки – дурацкий, мелодраматичный жест, и Копотов покорно прижал ее к себе, худенькую, родную, и тут же испуганно оттолкнул, всей грудной клеткой почувствовав неладное. Новое, горячее, живое. Покраснел сердито, не зная, куда смотреть, что делать. Вы только подумайте. Сиськи себе отрастила.

Сколько он ее не видел? Да, больше года уже. И еще столько же не видел бы, Господи, прости.

Она пила чай, хлюпая, не вынимая ложечку из чашки. Вскидывала мокрые несчастные глаза после каждого глотка. Страдала. Сожрала при этом все печенье, до крошки. Правда, печенье принесла сама и ему предложила, всегда предлагала, никогда не забывала, что Копотов – есть. Как-то притащила из гостей пирожное-картошку, завернутое в салфетку, – с единственным маленьким жадным укусом. Сказала виновато – там только по одному давали. Это тебе. Нет, честно. Она его любила – Копотов это знал, правда, любила, очень. Может, его вообще никто так никогда не любил. Но это же не повод, черт подери! Являться вот так – без письма, без телеграммы!

Она не выдержала, все-таки разревелась – какая телеграмма? Оказывается, она и не уезжала из Москвы, жила сначала с этим, ну, ты помнишь, а потом с Виталиком, а он, а он… Копотов даже зубами скрипнул – опять?! Замолчи в конце концов! Я не обязан это слушать! Только не я! Он отвернулся, чувствуя, как жалко дергается щека, Господи, скорей бы уже уехать, не видеть никого, ее особенно не видеть! Даже не вспоминать, что она есть. Она тотчас же чутко перестала плакать, встала, подошла сзади, теплая, маленькая, виноватая. Пушистая вся. Как жеребенок. Прижалась к спине, и Копотов снова ее оттолкнул – испуганно, грубо, некрасиво, как чужую.

Господи, сиськи эти невозможные! Почему у нее? Только не у нее!

Вообще Копотов любил грудастых, грубых, бойких. Пока однокурсники атаковали филфаковок, он ошивался по общагам, по легендарным ЦПХ, предпочитая заумным сухарям свежую

сдобу. Швейки, ткачихи, укротительницы троллейбусов. Грубая роба, дешевые трусики. Мозоли на крепких жадных ладошках, бесшабашные махонькие надежды.

В конце концов Копотов прибился к целой комнате бойких развеселых девах. Полноценная малярно-штукатурная бригада. Плитку тоже ложим, если надо. Копотов их обожал, просто обожал. Можно было не пыжиться, не читать ненавистного Бродского, вообще ничего не делать. Девки сами покупали вскладчину спирт “Рояль”, жарили целую сковородку такой же румяной и огненной, как они сами, картохи. Напивались – весело, дружно, не напивались даже – переводили дух. Потчевали Копотова в восемь проворных рук – а вот капустки, картошечки, хлебца ему дайте, бабы. Горбушку хочешь? Не, мужику лучше мякушку. Копотов сонно жмурился, слушая их легкую пьяную болтовню, уютную, почти домашнюю – девок не волновала политика, срать они хотели в три вилюшки и на Ельцина, и на Гайдара, и на то, куда катится страна.

Да человек спит, бабы, не видите? Не орите!

А он спать, что ли, сюда пришел?!

Они хохотали заливисто, дружно, как гиены. Копотов улыбался виновато, тер глаза. Молодой, нескладный, нищебродный, он был для них вроде большой плюшевой игрушки – такой же нелепый, ласковый. Безобидный. С ним не связывали ни будущее, ни прошлое. Копотов был без очереди. Без сдачи. Без обязательств. Весь здесь и сейчас.

Девки убирали со стола, расстилали, позевывая, постели, стягивали покрывала, рейтузы, кофточки, свитера. А чего стесняться-то? Все свои. Копотов поначалу краснел, обмирал, ждал, пока все заснут, не решаясь вскарабкаться, шевельнуться. Но его малярше надо было на смену, к громадным валикам, ведрам, к мастерку – ну, давай уже, чего ты телишься? И Копотов решался, входил потихоньку в раж, так что старенькая койка иной раз по полночи победительно скрипела пружинами да ахала то и дело, не утерпев, копотовская простодушная жаркая подружка. Отахав свое, она засыпала мгновенно, словно выключалась, а Копотов долго еще лежал в темноте, медленно трезвеющий, довольный, чувствуя, как тяжело и нежно лежит на его тощем животе огненная, влажная женская нога. Счастье. Это все и было счастье, как выяснилось.

Как-то раз малярша не заснула, ушла куда-то, топоча, словно ежик, потом вернулась, зазябшая, вся колючая от мурашек и неожиданно требовательная. Как будто чужая. Копотов послушно, хотя и не без удовольствия, повторил свой подвиг, и малярша утопотала снова, в неверную, вздыхающую темноту, и снова

прибежала, и снова, и еще раз, пока Копотов не заснул, наконец, обессиленный настолько, что не мог больше даже удивляться, а комната все кружилась тихонько вокруг него, хихикая и лопоча, лопоча и хихикая…

Наутро девки, счастливые, даже чуть замаслившиеся от довольства, простодушно пересмеиваясь, сварганили ему глазунью из десятка яиц, и, только собирая фантастически вкусной корочкой последний густой, щедро наперченный желток, Копотов вдруг все понял. Опаньки! Он поперхнулся, закашлялся, налившись краской, но девки смотрели так уважительно, что Копотов справился с собой, распрямился и даже затребовал водки.

Дали, разумеется. Со всем почтением.

Он возвращался в общагу остограмленный, звенящий внутри и совершенно счастливый. Московский снежок, уютный, теплый, мягкий, таял на губах, на скулах, на непокрытой по-мальчишески голове. Впервые Копотов не зяб, не трусил краем тротуара, а шел вальяжно, распахнув куртку, присвистывал даже по-хозяйски, радуясь крепкому молодому орангутангу, который победил в нем аспиранта первого года обучения, жалкое, в сущности, существо.

На проходной сидела, скукожившись, девчонка, прижав коленкой клетчатый старенький чемодан. Копотов мазнул по ней сытым взглядом и пошел было к лифту, но его окликнула вахтерша. К тебе гости, Копотов. Глаза-то разуй. Девчонка поднялась виновато, и Копотов, близорукий, все еще по инерции счастливый, обернулся, узнавая сперва чемодан, потом…

Она. Господи, ну, конечно.

Вы только подумайте – она.

В лифте тоненько сказала – а я из дома ушла, Сань.

И только в комнате, выпутываясь из пальто, дурацкого, клетчатого, в рифму с чемоданом, призналась – почему.

Как ты могла? И еще – кто он? Два самых бездарных, жалких мужских вопроса. Что она могла ответить? Только ревела, прикрываясь локтем, как будто он посмел бы ее ударить. Убить – пожалуйста. Сколько угодно. Но ударить – нет, никогда. Сутки ушли на глупый допрос, который не привел ни к чему, ни к кому, Копотов даже на след не напал этого мерзавца.

Он не мерзавец. Я сама…

Что сама? Сама себя обрюхатила?! Тебе же восемнадцати нет, дура! Она, всхлипывая, отпиралась – мне девятнадцать уже, Саня. В нос. Задыхаясь от слез. От соплей. Дедятнацать.

Еще сутки на то, чтобы найти клинику по карману.

На пороге кабинета она стиснула его руку – жалкой ледяной лапкой. Посмотрела испуганно, все еще на что-то надеясь. Иди

давай, – буркнул Копотов грубо, помирая от жалости, от страха, от стыда. Она изо всех сил попыталась улыбнуться. Изо всех сил. Даже почти получилось.

Потом долго лежала в комнате, сжавшись под одеялом. Не плакала наконец. Просто молчала. Копотов ворочался на полу, кряхтя, на жиденьком матрасе. Жестко как, блин. Да еще пришлось выпрашивать. Унижаться перед комендантом.

Иди ко мне, Саня.

Он замер, перепуганный. Показалось?

Нет, не показалось.

Холодно же на полу. Иди. Если хочешь, валетом ляжем.

Глупости не пори.

Копотов зажмурился даже, как будто попытался спрятаться в темноте внутри темноты, задышал изо всех сил, притворяясь спящим. Всхрапнул старательно, поддувая носом. И проснулся за час до рассвета от игольчатой боли в затекшем плече. Она лежала рядом, на полу, упершись ему в бок острыми коленками. Спутанная пушистая коса щекотала щеку. Ресницы какие длинные. Синие прямо. Копотов покраснел, неуклюже попробовал высвободиться. И она, не открывая глаза, пробормотала – ты самый-самый лучший на свете.

Копотов замер, застигнутый врасплох, не уверенный вообще, что это все ему предназначалось – и ресницы, и коса, и эти слова, точнее, совершенно точно уверенный, что не ему. Но она потянулась и сонно повторила: ты самый лучший на свете, Саня. Я тебе за это суп сварю.

И сварила. Копотов возил ложкой в мутном ужасном хлёбове, по очереди опознавая лавровый лист, вермишель, картошку, до соплей разварившуюся луковицу. О, да тут тушенка! Где взяла? У меня сроду тушенки не было. Она хихикала игриво, довольная своей домовитостью. Не скажу. Секреееет! Вкусно? Копотов кивал, хотя было невкусно. Но она же старалась. Для него. В комнате было прибрано – кое-как, но рьяно. И Копотов, глядя, как она, порозовевшая, милая, снова живая, снует, звеня чашками и улыбаясь, даже подумал с сожалением, что, черт, зря я это все. Надо было отговорить. Ну, подумаешь, ребенок. Подняли бы, никуда не делись. В войну же рожали.

Она присела напротив, подперлась кулачком. Погладила Копотова по щеке и спросила легко, необязательно – я поживу у тебя?

Копотов, для солидности помолчав, кивнул. Живи.

Через две недели он ее выгнал. Застал – в собственной комнате! в собственной койке! – с самым гнусным общажным отбросом, который десятый, что ли, год ошивался на факультете,

то меняя очку на заочку, то проваливаясь в очередную академку, из которой он неизменно, как мелкий бес из преисподней, восставал. Тертый, мерзкий, сорокалетний прохиндей.

Мягкий морозец сменился полноценным февралем, колюще-режущим, ледяным. Копотов еле добежал до своих заброшенных на месяц малярш, трясясь от холода, как цуцик. В голове все прыгала, никуда не деваясь, голая лохматая жопа прохиндея, скомканное покрывало, ее разведенные доверчиво коленки.

Да хватит уже! Хватит! Три-три, нет игры!

Дверь открыл, дожевывая что-то, здоровенный бандюган. Адидасовские треники шуршали при каждом его движении, как дорогие шины по асфальту. Тебе чо? – спросил без любопытства, скучно. Копотов пискнул что-то про виноват, обознался, и бандюган, даже не кивнув, захлопнул у него перед носом врата рая. В глубине комнаты тотчас слаженно, довольно захохотали девки.

Надо было жениться на них, конечно. Да хоть на всех разом. Опоздал. И тут опоздал.

* * * * *

Она уронила еще дымящуюся сигарету, будто устала держать. Пошли в дом наконец. Тут не принято сидеть на крыльце. И окурки швырять куда попало – тоже не принято. Прости. Я случайно. Врет. Хотя нет, не врет. И правда – делает все машинально. Не просчитывая последствий. Вообще не думая. А зачем?

Так я суп тебе сварю?

Копотов, не ответив, пошел наверх, к себе. Долго сидел, открыв сразу четыре монографии, но ни в одной не понимая ни строчки. Надо было заканчивать работу, отчитываться, вся эта возня с грантами, вороватое рысканье за каждым куском начинали потихоньку утомлять. А дальше что? Опять преподавать? Копотов вспомнил предрассветные подъемы к первой лекции, сонные морды студентов, свое мычание сквозь набивший полный рот и так и не ставший родным язык…

Как же херово стареть – даже в очень хорошей стране.

Запах приплыл снизу, настойчивый, мягкий, властный. Как женщина. Копотов голодно сглотнул. И не выдержал. На кухне царил, конечно, адский разгром, но Копотов впервые не злился. Вкусно? Давай еще половничек подолью? Погуще тебе? Он закивал, соглашаясь со всем сразу, и она налила ему еще одну тарелку, до самых краев. Копотов запустил жадную ложку, хрустнул чем-то соленым, душистым. Оливка? Каперс? Это

солянка, что ли?

Она присела напротив, как когда-то. Как когда-то, подперлась кулачком. Ну, скорее, вариация на тему солянки. Сама придумала? Она кивнула. Машинально – снова, как тогда, поправила не существующую больше косу. Рука скользнула в воздухе и остановилась, как будто растерявшись. Копотов, жуя, подтвердил – зря ты постриглась. И вообще. Нельзя так распускаться. Сорок – это не возраст в Европе. Не знаю, как там у вас. Она взглянула, как будто испугалась, – быстро, исподлобья. И тут же принялась собирать посуду, неловко громыхая. Да в посудомойку загрузи, что ты бардак все время разводишь! Прости, я никак не привыкну. Копотов, нагретый, разнеженный, сытый, немедленно устыдился. Сказал примирительно – вот не думал, что ты научишься так кашеварить.

Я многому научилась, Саня.

Надо было обнять ее тогда, конечно. Вот именно тогда. Но она сама все испортила – как обычно. Спросила – у тебя пиалушка есть? Я хотела Гитлеру… Копотов не сразу, но сообразил. Ты про кота, что ли? Я же тебе сказал – тут нет бездомных животных… Она перебила: а голодные – есть. Копотов оттолкнул пустую тарелку. Какой-то дар все портить, честное слово. Не смей! На нас подадут в суд. И вообще – не позорь меня перед соседями!

Хорошо. Не буду.

Наутро Копотов, выходя из дома, споткнулся о дочиста вылизанную кофейную чашку. Рядом сиротливо лежал кусочек сыра. Гитлер явно не оценил пармезан.

* * * * *

Копотову понадобилась целая жизнь, чтобы понять главное, ужасное. Она была просто дура. Вернее, не просто, а дура сердобольная – сочетание настолько же неотразимое и русское, как и роковая красавица, до которых был такой охотник Достоевский. Но если условную Настасью Филипповну можно было (да и, честно говоря, следовало), отчаявшись, прирезать, то на сердобольную дуру нельзя было найти решительно никакой управы. Жалостливые, несгибаемые, бестолковые, они были готовы ради слезинки воображаемого ребенка растоптать жизнь вполне реального человека. Как правило, мужчины. Конкретно – его, Копотова, жизнь.

Но как она умела плакать, господибожетымой. Как просила прощения. Как улыбалась. Как безошибочно выбирала из неисчислимых тысяч самцов самую редкую дрянь, самую чистопородную, гнусную сволочь, как самоотверженно

принималась ее спасать. Копотов иногда думал, что это было сродни дарвиновскому естественному отбору: если на Мадагаскаре существовала орхидея с белым цветком глубиной в сорок с лишним сантиметров, значит, должна была быть и бабочка, обладающая столь же невиданно длинным языком. Дарвин умер. Бабочка нашлась. *Xanthopan morgani praedicta*. Коричнево-пегая, странная. Ночная. Точно так же на каждого мерзавца находилась своя сердобольная дура. А порядочный до крахмального скрипа Копотов так и мыкался бобылем. Бракованный экземпляр. Подвид, для которого у природы не нашлось ни бабочки, ни орхидеи.

Копотов вспомнил, как метался по предотъездной Москве девяносто третьего года: в наследство от Виталика ей достались долги, необъяснимые, фантастические. В общагу приходили какие-то тухлоглазые типы, маячили у проходной, ничего не боялись… Все, что Копотов выручил от продажи книг. Плюс еще одна, самая во всех смыслах дорогая. Первоиздание. Копотов дышать на эту книжку боялся. В две газеты оборачивал, прежде чем открыть. Да ладно, чего уж там. Тоже пришлось продать. Хватило не только на долги, но даже на то, чтобы снять этой идиотке комнату. Потому что она, видите ли, не хотела домой. Она хотела как взрослая – в Москве.

Копотов только рукой махнул – делай что хочешь.

Накануне отъезда он самолично проверил в новой комнате все выключатели, розетки. Потыкал пальцем в щелястую раму. Заклеишь зимой. Лейкопластырь купи в аптеке. Но заклеивай, как топить начнут. А то отстанет. Она кивала в ответ на каждое слово – притихшая, перепуганная. Все равно ничего не запомнит. Ни слова. И да, за комнату заплачено за три месяца вперед. А дальше – сама выкручивайся. Она вдруг села на кровать и тихо, отчаянно попросила – не уезжай, Саня. Я без тебя пропаду.

И, черт, Копотов целую ночь промотался по общажному коридору, чуть не плача от жалости и сомневаясь, сомневаясь. Может, правда, не ехать? И черт с этой Германией, диссертацией. Можно устроиться в ларек в конце концов. Другие же как-то устраиваются… Главное – вдвоем. К утру все было решено – по-взрослому, серьезно. Наотрез. Копотов вполне обжил воображаемый ларек и даже придумал, куда втиснуть в снятой комнате раскладушку. Только книг было жалко. Ну ничего. Новые наживем.

Всю дорогу до вокзала он глупо и радостно улыбался.

Но она не пришла. Провожать Копотова. На вокзал. Просто не пришла.

Может, проспала. А может, просто забыла.

* * * * *

Остаться в Германии оказалось, в общем, не так уж и сложно.

Конечно, Копотов скучал. Особенно почему-то по пельменям, которые не особенно раньше и любил. Вообще пищевые привычки отмирали медленнее всего. Домой он не ездил. Зачем? Мама писала регулярно. Она – нет. Не писала и не звонила. Вообще. Мама как-то уклончиво, впроброс, сообщила – мол, замуж вышла. Кажется, счастлива. И даже почерк у нее был огорченный.

Ну вышла – и вышла. В первый раз, кажется, из четырех? Копотов довольно быстро сбился со счета. Точнее – перестал считать.

Счастлива – и на здоровье.

Они увиделись только в 2005 году.

Копотов переминался у могилы, стараясь не смотреть на гроб и часто-часто моргая. Все двоилось, тряслось, как будто снятое с руки, – деревья, незнакомые лица, серое небо, губы самого Копотова. Он изо всех сил пытался не расплакаться, но не справлялся. Нет, не справлялся.

Мама умерла. Мама.

Пару раз всего перевел ей деньги, скотина. Всего единожды пригласил к себе. Как она удивлялась всему. Как радовалась. Ахала. Маленькая, одета плохо. Сутулая. Зато в горы каждый год катался на две недели. И в Италию летом. Тоже – каждый год. Один. Копотов закусил губу, всхлипнул. Хрюкнул даже. Отвернулся. Кто-то подошел, хрустя кладбищенским гравием. Взял за руку. И Копотов, не открывая глаз, узнал сразу же – по запаху, по теплу. Сгреб в охапку, привалился, зарылся носом, лицом. Расплакался, наконец, в полную силу, в голос, отчаянно. Она. Слава Богу. Только и сказала – Санечка, родной. И сразу стало легче.

Копотов, все еще смаргивая слезы, все еще задыхаясь, удивлялся. Великолепная стала. Вот именно это слово – великолепная. Высокая, тонкая. Шея, как у статуи. А одета как! Каблуки, шелк, кашемир. Пальцем стерла с его мокрой дрожащей щеки помаду. Темно-красную. Как укус.

Ты краситься стала, что ли?

Мне уже тридцать два года, Саня. Можно.

Копотов кивнул, успокаиваясь. Можно. Тебе вообще все можно. И всегда было. Только мне ничего нельзя. Она засмеялась – тоже по-новому, запрокинув голову, напоказ. За спиной у нее маячил какой-то мужик, грузный, квадратный. Следил за каждым движением, как волкодав. Муж? Она легко кивнула. Не

наигралась еще?

На этот раз все очень серьезно, Саня. Навсегда.

Мама писала, что в прошлый раз тоже все было… Копотов осекся. Ты надолго приехала? Она оглянулась на своего волкодава. Всего на пару часов. У Коти дела, он не может… У Коти! Копотов даже зубами скрипнул от отвращения. Она попыталась взять его за руку. Не злись, Саня. Я тебе позвоню. Или напишу. Обязательно! Или по скайпу наберу. У тебя же есть скайп?

Она, правда, позвонила. Через год, когда Котя канул в ожидаемое небытие. Бросил ее, скотина. Да еще и бил, оказывается. Как ты вообще могла это терпеть? Копотов дернул от злости микрофон. Она только плечами пожала. Он хороший человек, ты не думай. Просто не очень уравновешенный. Жалко его очень.

Да у тебя все хорошие! И всех жалко!

Да, сказала она очень серьезно. Все – хорошие. И всех – жалко.

Они тогда перезванивались почти каждый вечер. Как Копотов спешил домой, Господи. Отменил все вечерние встречи, занятия, бдения. Не разуваясь, бросался к компьютеру.

Привееет! Ну, рассказывай, как ты?

Копотов улыбался, едва удерживаясь от желания погладить монитор. Отчитывался самым аккуратным образом. Что ел, как спал, сколько тонн словесной руды наработал. Сны даже свои рассказывал, идиот. Ей все было интересно. Правда. Он это видел. Чувствовал. За пару каких-то месяцев она выучила по именам всех его коллег, знала, какие булочки он покупал к завтраку, напоминала, что пора забронировать апартаменты в отпуск. В Италию, как всегда? Да.

Слушай, а поехали в этом году вместе?

Копотов репетировал эту фразу несколько дней. Еле выговорил.

А? Поехали? У тебя же все равно в мужьях пересменка.

Монитор. Камера. Стол. Две незнакомые комнаты, испуганно вглядывающиеся друг в друга. Эрзац общения.

Копотов зажмурился даже. Давай, дура! Я соскучился до смерти. Скажи – да!

И вдруг там, у нее, в Москве, зазвонил мобильный. Она схватила его и тотчас вспыхнула от радости – ярко, молодо, страшно. Будто кто-то дунул в ночной костер. Извини, Саня. Это… я сейчас перезвоню. И отключилась. Больше не ответила ни на один звонок, ни на одно письмо. Просто исчезла. В очередной раз выкинула его из жизни.

Приехала только в этом году. Просто зашла на кухню. Копотов как раз ковырялся с тремя мусорными пакетами – стекло, органика, пластик. Вполне достойное занятие для историка. Сортировка ежедневной жизни.

Сказала – это я, Саня. И, как маленькая, уточнила – можно войти?

* * * * *

На перроне они снова поссорились – слава Богу, в последний раз. Копотов сдерживался изо всех сил, но это было просто невозможно. Сначала она попыталась сунуть чаевые таксисту – полную горсть мелочи и даже приблудившийся к этому бренчащему табору полновесный ойро. Водитель, степенный, немолодой, в порнографических совершенно подусниках, подаяния не принял, но посмотрел с таким вежливым недоумением, что Копотов даже зашипел – тут не принято давать на чай, дура, я же сто раз говорил… Она кивнула, вылезла из машины неловко, боком. Протянула монеты ему – горячие, влажные. Извини. Просто мне уже точно не пригодятся. Копотов машинально взял – и тут же отпихнул ее руку. Попьешь кофе в аэропорту, когда доберешься. Монеты снова перекочевали в ее пригоршню. Эмигрировали в очередной раз. В общем, купишь себе что-нибудь.

Она не слушала – смотрела куда-то за спину Копотова, так что он тоже оглянулся – толпы людей, носильщики, вкусный, вокзальный запах горячего железа, креозота и будущего. Давай нищему тогда отдадим. Вон, видишь того побирушку? Ужасно жалко. Побирушка, мордастый, щетинистый, черномазый, вальяжно расположился на перроне – картонка под увесистой жопой, пустая банка из-под пива. Это цыган. Ну и что? Она удивилась, как будто Копотов сказал несусветную глупость. А то! У него пособие – больше, чем у меня в месяц по двум грантам выходит. И жратва бесплатная три раза в день!

Копотов уже орал, все сумрачное, германское, выпестованное за годы, слетело мигом – на них оборачивались в недоумении, кто-то уже искал глазами спасительного полицейского, а Копотов все не мог остановиться, все перечислял свои незаслуженные обиды, пока не захлебнулся от злости. Ты зачем приперлась вообще? Я тебя звал? Попрощаться хотела, Саня, – сказала она просто и, привстав на цыпочки, поцеловала его в щеку – прохладными мягкими губами. Ты езжай. Не жди. Дальше уж я сама.

Она шла к вагону, неуклюже загребая ногами. Некрасивая,

жалкая, Господи. Только затылок был прежний – светлый, плюшевый. Детский. У подножки она оглянулась еще раз, но Копотов уже шел к стоянке такси, почти бежал. Облегчение, постыдное, яркое, как воздушный шар, парило у него над головой, обгоняло, норовило сорваться с невидимой нитки. Еще одна незапланированная трата, последняя. И жизнь снова пойдет привычным чередом.

Таксист, вопреки теории вероятности, оказался тот же. Читал, поджидая клиентов. Копотов, садясь, привычно подсмотрел – Достоевский. Однако. Спасибо, хоть не по-русски. А я думал – это вы уезжаете. Копотов удивился – почему? Тот, кто остается, всегда больше грустит. Ваша подруга была очень грустная. Копотов раздраженно поправил – она не моя подруга.

Все равно – очень грустная.

Таксист глубокомысленно покачал головой, покалеченной Достоевским, тронулся, и Копотов, провожая глазами вечернее небо, сырость, мглу, отплывающий вокзал, вдруг вспомнил, как она посмотрела на розы – мелкие, зимние, суховатые, и сказала удивленно: они даже в январе живые, а потом плакала ночью, каждую ночь – тихонько, как будто скулила. А он ни разу не постучался, не вошел, только злился, проходя мимо и подбирая с пола там носок, тут – мятую футболку. Какая страшная бардачница все-таки. Никакого порядка. Ни в жизни. Ни в голове.

Копотов отпер дверь и по невытравимой русской привычке пошел сразу на кухню. На холодильнике, прижатая магнитом, висела записка.

Покорми, пожалуйста, Гитлера.

Копотов вдруг всхлипнул, рывком распахнул шкаф, еще шкаф, холодильник. Выхватил, наконец, коробку сухого корма, громыхнул – слава Богу, осталось еще, и сразу почти увидел – припрятанное, в уголке. Консервы, тоже кошачьи. Сложены аккуратным зиккуратом. Самые дорогие. Он отказался покупать – еще не хватало! Тунец в сливочном соусе. Кролик с креветками. Я себе такое позволить не могу! Когда успела? На что? Копотов с острым, жарким чувством стыда вспомнил, как она копалась в кошельке, шевеля губами – все пыталась перевести евро в рубли. Кем она вообще работала? На что жила? Что делала, когда закончились все эти Виталики и Коти? Когда все ее бросили? Разлюбили? Все. Даже он сам.

Единственный, кто у нее остался, – этот чертов Гитлер.

Копотов распахнул дверь – кота не было. Гитлер, – окликнул он. В живой изгороди что-то шуркнуло и затихло. Копотов

громыхнул коробкой с кормом. Гитлер! Эй! Жрать хочешь? Нет ответа. Копотов заглянул под черные глянцевитые кусты, хлопнул калиткой и оказался на улице, праздничной, заграничной, ночной. Румяные, уютные фонари. Сахаристая изморозь. Гензель и Гретель. Самое безопасное место в мире. Как в детстве. Только совершенно, совершенно чужое. Чур, я в домике. Это она так говорила. Чур, я в домике. Дурочка, вечно пряталась в одно и то же место – под обеденный стол. Сидела там, занавесившись тяжелой скатертью. Ахала восторженно – как ты меня нашел? Из роддома приехала в розовом атласном одеяльце. Как Копотов боялся, что ее украдут! Хорошенькая, как кукла. Веселая. Бежала на толстых ножках, смеялась. На улице все оборачивались, улыбались. Точно украдут! Вот же дура! Копотов сгребал ее в охапку, прижимал к себе, трясясь от нежности и злости.

Ты кого любишь больше всех на свете? Никогда не задумывалась даже. Саню!

Копотов вдруг побежал, не замечая, что плачет, вообще ничего не замечая. Гитлер! – орал он по-русски. – Гитлер! Гитлер! В пряничных домиках засуетились. Захлопали там и тут двери, загомонили удивленные, негодующие голоса. Копотов заметался среди грубых фраз, виляя, уворачиваясь, шарахнулся от чьей-то морды, не признав соседа, милейшего, деликатного, совершенно одинокого. Как и он сам. Как он сам.

Гитлер! Гитлер! Пустите, суки! Да Гитлер же!

Из-за угла уже выворачивала полицейская машина, вырывая из темноты то синие, то белые сполохи, и крик сирены, истошный, отчаянный, на мгновение заглушил Копотова и снаружи, и внутри.

Кто-то наступил на упавшую коробку с кошачьим кормом и машинально извинился.

Гитлер пришел только утром. И следующим тоже. И после следующего. Долго и терпеливо сидел у закрытой двери. Никак не мог смириться. Еще через месяц дом сдали веселой, крепкой паре, белобрысой и счастливой до полной потери половых различий. Непохожей была только такса – в отличие от хозяев длинная, черная и гнутая, как обгорелая спичка. Таксу звали Ева.

Гитлер всего один раз посмотрел на нее из-под вечно живых лавровых кустов.

И тоже исчез.

Татьяна Толстая
Девушка в цвету

На втором курсе университета я осталась без стипендии. А мне были деньги нужны. Кофе, такси, сигареты. И я устроилась на почту разносить телеграммы.

Был июнь, вечером светло как днем, не страшно и очень красиво: пустой летний Ленинград, волшебные улицы Петроградской стороны; на стенах домов, над парадными – коты и ундины, треугольные девичьи лица оглушительной красоты – опущенные глаза, пышные волосы, дневные сны; глубокие подворотни, полные полумглы, лиловая сирень в садах и скверах, и вдалеке за Невой светла Адмиралтейская игла.

Отделение почты было на Кронверкском проспекте. Мне были рады: мало кто хочет работать летом в такую чудную погоду за такие ничтожные деньги. Начальница, воспаленная государственными тревогами и сложностями финансовой ответственности, рассказала мне, как строится нелегкая работа разносчика телеграмм.

Есть Маршрут номер 1, налево, и Маршрут номер 2, направо. Почтальон приходит в отделение, берет пришедшие телеграммы и идет либо туда, либо сюда, по очереди. Формально телеграмма заклеена, но почтальон обязательно заглядывает в нее, никакой тайны переписки, забудьте. Потому что почтальон – не тупой робот, а тонкий психолог.

При чем тут психология? А вот при чем. Лето. Люди тонут в водоемах. За месяц хоть одна телеграмма с сообщением о том, что “Николай утонул”, непременно придет. И вот представьте: вы приносите эту телеграмму, вручаете ее приветливой женщине, может, отводящей тыльной стороной руки прядь волос со лба, может, вытирающей руки о фартук. Женщины же все время что-то стряпают. Вот вы стоите на пороге коммуналки, эта женщина вам улыбается, солнце светит на лестничную площадку сквозь пыльные, чудом сохранившиеся остатки питерских витражей, как сквозь воду. Чистенько.

И если вы, не зная о содержании телеграммы, тоже будете улыбаться, радоваться жизни и комментировать прекрасную погоду и прочие глупости, а потом она развернет бумагу – а там “Николай утонул…” – это же какой удар, это же какое коварство, это, может быть, инфаркт.

Нет, к горю надо подводить по мере возможности плавно. Горе легче принять, если принес его тебе злой человек. Поэтому

надо сделать неприятное, злое лицо; откроют дверь – мрачно буркнуть: телеграмма! Не улыбаться, смотреть мимо, в пол. Сунуть квиточек: тут распишитесь. Расписались – сунуть телеграмму и с лестницы горошком вниз. И ниже площадкой можно постоять у стены, зажмурившись, стиснув зубы и запрокинув голову, не в силах выбросить из головы чужое, милое, последний раз в жизни счастливое лицо той, ни о чем не подозревающей, там, наверху. На берегу.

Постояла. Постаралась забыть. И дальше по маршруту.

И наоборот, если приходит, например, “встречная”. То есть: “встречай 15-го поезд 256 вагон 8”. Мирная, хорошая весть. А дверь открывает бабушка. Днем-то в основном бабушки дома. А бабушка эта – ведь у нас начало семидесятых – бабушка эта и войну помнит, и от эвакуации еще не отошла, и сколько ж похоронок она в руках держала! Поэтому, увидев телеграмму, бабушка обычно начинает пятиться со страхом в глазах, выставляет ладоши, чтобы оттолкнуть надвигающееся известие, бормочет: нет, нет, нет… Так что на случай, если откроет дверь бабушка, надо заранее, еще за дверью, сделать беспечно-счастливое лицо и сразу, с порога, помахивая телеграммой, запеть: все хорошо, вам телеграммочка хорошая, едут, едут, пеките пироги! – и прочую ерунду.

За одну доставленную телеграмму платят семь копеек. За недоставленную – три. То есть, если никого нет дома, ты пишешь на маленьком бланке маленькое извещение: “вам пришла телеграмма, она на почте, можете позвонить”. И бросаешь бланк в почтовый ящик. Но это не значит, что такую телеграмму повторно разносить не надо. Нет, ты тупо идешь с ней и через час, и через два… А люди-то на работе, людей-то дома нет… Коррупционный механизм, надеюсь, понятен.

Поэтому утренняя смена – она посытнее кормит. Три раза не доставишь, потом один раз доставишь – вот тебе и шестнадцать копеек с телеграммы. Многие тем и жили. Официальная же зарплата разносчика телеграмм, не соврать, была тридцать два рубля в месяц. А если ты не в штате, свободный художник, то примерно столько же, по рублю в день, баш на баш и выходит. Зато есть возможность ограбить бюджет на шестнадцать копеек, и я в грабителей этих не брошу камня. Не всякий вор должен сидеть в тюрьме, так я вам скажу.

* * * * *

Есть и такой источник обогащения, как чужое горе. Поминки. Один раз мне повезло: я приношу телеграмму соболезнования:

“всем сердцем с вами, скорблю о вашей потере” – дверь открывает безутешная вдова, за ней в проеме – интеллигентная, небедная квартира. Синие обои, мебель ампир. Портреты в овалах. Сделав приличествующее, чуть опечаленное лицо, вручаю телеграмму. Вдова расписывается на квитанции и вручает мне двадцать копеек на чай.

Оба-на! Первый раз в жизни получила на чай. Интересное ощущение. Вышла, села на лавочку в скверике покурить и обдумать. Это же какие деньжищи. Прикинула: унижают ли чаевые человека? Неа, не унижают, только радуют; извините, вдова и покойник. Вам время тлеть, а мне цвести. Мне восемнадцать лет, и я намерена цвести. Красно-лиловым персидским цветом.

Докурила, вернулась на почту – еще одно скорбное послание. Бодренько отнесла вдове. Вдова приняла послание, и по лицу ее прошла тень. Не от могильной сени, но от предстоящего ей ущерба: на этот раз она наградила меня пятнадцатью копейками. О’кей, тенденция понятна. “Повадились тут ходить, деньги мои выпрашивать!” – читалось на ее заплаканном лице, хотя я не произносила ни слова, молча протягивала квитанцию и шариковую авторучку на мочальной веревочке и молча же уходила в пахучую тьму подъезда; первый этаж был, со двора. Батареи отопления какие-то с торчащей паклей, ледяные летом. Коричневые, земляного цвета стены. Лампочка вывинчена. Третья телеграмма принесла мне гривенник, а все последующие вдова хватала с нескрываемой ненавистью в глазах и чаевых больше не давала. Просто вырывала телеграммы из моих рук и с глухим стуком захлопывала войлочную, утепленную дверь.

* * * * *

Питерские дворы устроены интересно и запутанно. Нумерация квартир непредсказуемая. 14, 15, 15а, 3, 78, 90, 16, 24, 18, а на самом верхнем этаже – 1. Седьмой и восьмой квартир в этом доме нет. А квартира номер шесть есть, но вход в нее из другого дома. Или из подворотни. А на некоторых дверях номеров и вовсе нет, и света на площадке нет, и вот ты стоишь на лестнице черного хода и водишь руками по войлоку, ощупывая дверь и слыша слабую вонь помойного ведра, невидимого во тьме, и различая глухие голоса за дверью, а чаще – глухое молчание, как под водой. Пока найдешь нужную квартиру – потеряешь кучу драгоценного времени. Уже в конце моего почтальонского срока я подружилась с почтальоном-инвалидом, у которого в книжечке была начертана четкая и ясная схема всех

парадных и черных ходов Маршрута номер 1 и Маршрута номер 2 – любо-дорого посмотреть! Он работал в штате, за тридцать два рубля, и уважал свою работу: никуда не спешил, ходил не быстро, знал, где опасные квартиры, а где приветливые, где живет маньяк, хватающий тебя за руку, чтобы втащить в свое жаркое, удушающе пахнущее сладким одеколоном жилище, а где живут девушки-близнецы, кто лежит прикованный к кровати, а у кого неделями никого нет дома. Странный был человек, немножко ку-ку, инвалид по голове. Ничего, кроме разноса телеграмм, его вообще не интересовало.

Он был как бы такой солдат Почтового Государства, государственный человек, без юмора. Почтовое дело представлялось ему, кажется, сияющим Проектом, одной из систем, благодаря которой Государственный Организм функционирует: лимфатической системой или, там, нервной. Он гордился, что он часть этого Проекта. А нас, временных и легкомысленных, он как минимум не уважал. Должно быть, он виделся себе старинным, еще 1808-го какого-нибудь года, чиновником в свежеизобретенном мундире Почтового ведомства: темно-зеленый кафтан с черным воротником и черными же обшлагами, на пуговицах – перекрещенные якорь и топор. Мне, во всяком случае, он виделся именно таковым, и, завидев его издалека в слабом летнем потоке людей, прямого, сухого, возвращающегося с Маршрута, я думала: вот идет, сквозь беспечную и смеющуюся толпу, само Государство, идет размеренно и строго и пахнет сургучом, мочальными веревочками, чернильными карандашами и резиновыми штампами.

Он показал мне свои схемы, не выпуская их из рук, не делясь со мной: если надо, пройди по парадным сама и срисуй. Он как бы давал понять, что причастен Государственным Секретам, планам железных дорог, синькам подземных заводов, чертежам стратегических зернохранилищ, но врагу и конкуренту не отдаст. Если пуля, если смерть – быстро схватит и проглотит книжечку, разжует! И чернила с разлинованных страниц будут стекать в его уже мертвую гортань.

* * * * *

В этом районе было много старых красивых домов, еще не полностью умерших, несмотря ни на что: несмотря на блокаду, на советскую нищету, на тени без вины арестованных и уведенных отсюда на подгибающихся ногах по этим чуть сбитым ступеням. В одной парадной, в фойе, был камин – так и простоял, холодный и

запустелый, с дореволюционных времен. А наверное, когда-то его топили, и по лестнице вверх поднималась ковровая дорожка, ну хотя бы до бельэтажа или, там, третьего этажа. И было тепло, и был консьерж с усами. И пахло кофе и ванилью. И лифт был коробкой света в сквозном, ажурном колодце. А теперь камин – могильная яма – был покрашен масляной зеленой краской, как и вся парадная. Прямо по мрамору, масляной зеленой краской.

А квартиры в основном были, конечно, коммунальными. Поэтому на дверях было по нескольку звонков, причем встречались и старые-престарые – плоская щеколда размером с половинку бабочки, с надписью кругом по латунному кружку: ПРОШУ ПОВЕРНУТЬ. Это был звонок механический, не электрический. Я знаю, как он работал, у наших знакомых такой был в квартире. От бабочки идет проволока, потом там под потолком латунная планка, и к ней подвязан колокольчик. Повернешь бабочку – колокольчик зазвонит. (Когда население обнаружило, что латунь содержит медь – ценный металл, все эти милые “ПРОШУ…” были вырваны по-мандельштамовски, с мясом, и сданы в металлолом; отвинчивали и медные ручки с дверей, но их не сдавали, они просто наполнили собой комиссионные магазины. Такие красивые делали ручки в 1914 году! Лилии, водоросли, а не ручки.)

А на одной двери был звонок удивительный. Стеклянная коробочка, имя хозяина, и когда ты звонишь, загорается лампочка в коробочке и высвечивается надпись: “Слышу. Иду”. И они слышат! И идут! Какие чудесные люди! А если никого нет дома, то надпись “Извините, дома никого нет”. Я спросила открывшую мне девушку, как переключаются надписи. Оказалось, это работает от ключа в комнате. Уходя, поворачивают ключ – и вот “нет дома”. Как это прекрасно!

* * * * *

Отнесешь телеграмму в дальний конец Маршрута, километр туда, километр назад, вернешься – а уже новая лежит, тебя ждет. Снова иди туда же. Мне было восемнадцать лет, мне хотелось привнести разумность и порядок в устройство почтовой службы, если не всего мироздания, хотелось быть полезной. Я говорила начальнице отделения: “Но почему же я должна так спешить отнести “встречную” телеграмму? Человек приезжает только через неделю! Да и люди все днем на работе. Давайте я накоплю штук десять и часа через два-три пройду по Маршруту. И мне веселее, и почта деньги сэкономит”.

Но она пугливо отвечала: нет, нет, нельзя; такова инструкция,

относить сразу. Она вообще была женщиной испуганной, встревоженной, согнувшейся под каким-то невидимым грузом. Как-то утром, прекрасным и сияющим, как и весь тот июнь, – росистым, с белой сиренью, с птичьим щебетом, – я видела, как она торопливо прошла на работу, ссутуленная, очками вперед, ничего не видя, кроме своей государственной заботы; руки плетьми висели перед туловищем. Она плохо спала; утро ее не радовало; росу долой, птиц к черту, сирень в топку. Есть ведь инструкция, а люди норовят ее нарушить. Как проследить? Как навести порядок? Каждого не проверишь! Не пойдешь за ним одновременно по Маршруту номер 1 и Маршруту номер 2! А тут еще и секретное учреждение! Сигма! Приходит зашифрованное сообщение по государственным телеграфным проводам в засекреченную государственную Сигму! И эту наисекретнейшую телеграмму с болью отдаешь в руки легкомысленной вертихвостке! А если враги как-нибудь чего-нибудь там? Можно было бы подождать полчаса, дождаться инвалида с Маршрута номер 2 и поручить Гостайну ему. Он солдат! Он в мундире! Но ждать нельзя! Инструкция! Вот где засада.

И она вручала мне тщательно заклеенную телеграмму для Сигмы. Я должна была промаршировать прямо на проходную этого загадочного секретного учреждения и молча передать Гостайну в руки вахтера в чине не меньше полковника. Так же молча получить расписку. И – строевым шагом – назад. Она сжимала мне руки своими холодными руками, с тревогой и недоверием вглядываясь мне глубоко в глаза: доставишь? не подведешь? могу ли довериться? Она глядела мне вслед, стуча зубами от волнения, но ни разу не было, чтобы я ушла подземными тропами к врагам, унося шифры и коды.

Бедная, она всегда была на посту! Между тем местное население, как это всегда бывает, прекрасно знало, что таится за стенами без вывески: Институт прикладной химии, занимавшийся отравляющими веществами и взрывчаткой и испоганивший на десятилетия воду и землю в красивейшем месте города. Для тех, кто не знает нашей топографии: вот так Пушкинский дом, а вот так – через реку – баки с зарином и зоманом, не знаю, с ипритом каким. Рачительно так, по-советски. Я в первый же раз запуталась, куда идти: ну а как, если вывески и адреса нет? “А вы не знаете, где тут Сигма какая-то?..” – “А, ГИПХ! Вон там перейдете и вон туда! Вдоль забора, а там проходная!” Естественно, я отгибала уголок, запускала глаз под охранную ленточку и читала секретные телеграммы, отправляемые Центром Сигме по открытой связи. Всякий бы прочитал. Ничего там интересного не было.

* * * * *

Зато по другую сторону Кронверкского проспекта простирался мирный Зоологический сад, тоже утопавший в белой и лиловой сирени, и туда я тоже иногда ходила: на Алтае поймали медвежонка и спрашивали, не надо ли саду медведя. Потом почему-то пришла телеграмма, сообщавшая, что украли шестьдесят одеял. Каких одеял? Кто мог их украсть? Где? При чем тут Зоосад? Все это были клочки, обрывки чужих историй, рассыпанная мозаика, форточки в чужую жизнь – облачко музыки из окна, смех из распахнувшейся двери, таинственный угол комнаты, видный через щель в занавесках. Где-то там жила самая загадочная из моих адресатов – некая Конкордия Дрожжеедкина. Сколько ей было лет? Как можно было так назвать девочку? Счастлива ли она? Видит ли из своего окна белую ночь, подворотни, наполненные прозрачной мглой, и кусты цвета сумерек? Кого она любит? Кто любит ее? А я, кого я люблю?

Я бесплатно пробиралась в Зоосад – почтальону можно – и забредала в дальние углы, к воде, к Неве, там, где птицы, там, где никому не интересно: люди ведь ходят смотреть на слона, на белых медведей, на жирафа, на площадку молодняка, где можно погладить маленьких, еще безобидных тигрят, а на птиц смотреть не ходят. И я задумала вырвать у павлина перо и носить его в волосах или как-то еще, я точно не придумала. Просто вот захотелось павлинье перо, и все тут. Я решила прикормить павлина булочкой, а когда он подойдет близко к прутьям клетки, схватить его за хвост – может быть, перо и выпадет. Вон же там, на земле, рукой не дотянешься, валяются сброшенные птицами перья. Но вольер был забран густой сеткой, и павлин смотрел на меня враждебно, и булочка моя его не соблазнила, и над всей аллеей внезапно раздался громкий, издевательский хохот: меня явно разоблачили сторожа.

Я отдернулась от места совершаемого преступления, торопливо вставая с четвереньек, делая вид, что ничего не происходит, отряхивая коленки и придавая лицу отстраненное выражение: я? я ничего, я просто склонилась надпись прочитать, плохо вижу. Но рядом никого не было, и на аллеях никого не было видно, а насмешливый женский хохот, звонкий, издевательский, висел в теплом воздухе зонтиком, куполом, полусферой летнего неба. А-ха-ха-ха-ха! – надо мной, и над моими планами обобрать павлина, и над моими скопидомскими расчетами – копеечка к копеечке, все в кубышку; и над моими планами цвести, и над моими планами жить – сам по себе висел

этот смех, как будто мироздание внезапно обратило на меня внимание: ага, это ты подсматриваешь за чужими жизнями, мелкая мошка? Да ты сама как на ладони! А-ха-ха-ха-ха!..

Это был какой-то момент истины, непонятно какой, но истины: когда над вами смеются, а кто – не видать, открываются какие-то внутренние горизонты, раздвигаются стены, загорается свет, расстилается простор. Я стояла, вросши ногами в плотную песчаную дорожку, объятая смутным экзистенциальным стыдом. Вот так будет на Страшном суде. А-ха-ха-ха-ха!.. – женщина, она же Бог, начала свои разоблачения по третьему кругу, и я ее увидела: светлая, с серыми крыльями, с тонкими длинными ногами, она разинула клюв и, запрокинув голову, хохотала в своем вольере: чайка-хохотунья, она же степная чайка, *Larus cachinnans*. Пошла к черту, дура. Напугала только.

* * * * *

“Пришлите судно и клизму”. Я отнесла телеграмму – никого – бланк в ящик – вернуться на почту. “Не надо судна и клизмы”. Так надо или уже не надо? Что у них там случилось? Я спросила у начальницы – она никогда не спала, сидела и смотрела воспаленными красными глазами на неуправляемый мир, – так мне относить эти вот телеграммы или нет? Одна ведь отменяет другую. И дома у них никого. Может, они катаются по Неве на кораблике? Может, ну их? “Неси! Инструкция говорит: неси! Мало ли что. С нас спросят!”

Я отнесла раз и два; и третий раз я отнесла загадочным держателям кружки Эсмарха взаимоисключающие просьбы. Я ходила взад-вперед до позднего вечера, но квартира молчала, никто мне не открыл, никто не перезвонил на почту, и назавтра никого не было, и послезавтра тоже. А потом мне все это надоело. И я уволилась.

Инвалид посмотрел мне вслед с осуждением: так он и знал, из меня не вышло солдата Почтовой Службы. Начальница уже с тревогой думала о следующем работнике – он только что вышел из тюрьмы, был белый как утопленник, и его водила за руку молодая красивая жена с огромным дутым золотым браслетом. “Как ты думаешь, ему доверять можно?” – спросила она меня, но не стала ждать ответа, ведь она разговаривала сама с собой.

Я уволилась, заработав целые тридцать пять рублей, прямо как стипендия отличника; наелась черносмородинного мороженого с сиропом и уехала на дачу: июль обещал быть таким же чудным, каким был июнь. Чудным он и был. Только мне долго потом казалось, что мир как-то неуловимо изменился. Как будто

шумы какие-то умолкли. Или я оглохла, что ли.

Данил Гурьянов
Диктатор и сумасшедшая

Знаменитая актриса *N* посмотрела по НТВ репортаж о Софии Ротару и решила ехать в Ялту, устраиваться к знаменитой певице домработницей. Взяв паспорт, взяв деньги из тайника, она успешно улизнула из квартиры. Как в молодости, она стремительно выбежала к дороге – вскинув руку, встряхивая волосами, улыбаясь, оглядываясь. Огненная комета ворвалась в ваш мир, люди! Дребезжащая грязная развалюха мгновенно подъехала к ней. Водитель-мигрант, неразговорчивый и с трудом понимавший ее речь, отвез пассажирку на Казанский вокзал.

Актриса побежала искать кассы. Она не знала, когда отходит поезд в Ялту, и боялась опоздать. Но внезапно ее пронзила мысль, что Украина теперь заграница! Актриса стала обращаться к окружающим: “Вы не знаете, чтобы уехать на Украину, нужен загранпаспорт или нет?!”

Люди реагировали недружелюбно, старались не смотреть на актрису и ускоряли шаг, как будто она источник опасности.

Актриса кинулась к сидевшей поблизости женщине с книгой. Женщина вздрогнула, оторвалась от чтения и, внимательно посмотрев на актрису, осторожно сообщила, что если нет загранпаспорта, то печать на таможне поставят во внутренний паспорт. Но (добавила) не все любят пачкать внутренний паспорт печатями. “Действительно, действительно! – согласилась актриса. – Что же делать?!” Она оглянулась, закусив губу. Снова посмотрела на женщину. “Вы меня узнали?!” Актриса представилась и перечислила легендарные фильмы, в которых снималась лет тридцать назад. Всегда в главных ролях. Женщина с книгой неотрывно смотрела на актрису, будто наблюдала стыковку двух космических кораблей. “Я еду к Софии Ротару. Я буду у нее домработницей. Что же делать?! – *N*, мучительно размышляя, оглянулась. – Нужно делать паспорт. Какие там документы нужны, вы не знаете?!”

Как молодая, выскочила она из здания вокзала, активная, полная жизни, бросилась к стоянке такси: “В паспортный стол!” Встряхнув волосами, стремительно села в машину, хлопнула дверцей. Тронулись!

Проехали не много. Когда стояли на светофоре, актриса смотрела в сторону Чистопрудного бульвара, на площадь перед вестибюлем метро, – там бурлила жизнь, все спешили, полным-полно молодежи, и день получился солнечный… “Сколько я вам

должна?!” – стремительно повернулась она к водителю. Водитель был внешне мурло, а внутрь лучше не заглядывать, – он спокойно озвучил сумму адекватную билету на самолет. Актрисе немного не хватило, он ее простил, и она, счастливая, рассыпаясь в благодарностях, выскочила на дорогу: посреди затопленного автомобилями перекрестка. Стала пробираться “к берегу”, тормозила водителей властным жестом! Беспокойно, возбужденно, радостно оглядываясь, шла сквозь это безумное море гудящих машин… она вспомнила эту свободу, смелость и самоуверенность кинозвезды. Кинозвезды наглой и шикарной!..

Около метро звучала зажигательная арабская музыка (здесь продавали диски), а у нее в руке почему-то была мелочь, она растерялась: что делать? Мимо прошел высокий молодой мужчина, она заметила его красивые ноги в джинсах, сразу же пошла за ним. Не отставая, она следовала за красивыми ногами весь бульвар, мужчина куда-то исчез – она сразу же пошла обратно, счастливая, подставляя лицо весеннему солнцу, жмурясь… На лице играла улыбка…

“Категорически! Ее нельзя трогать! Она плачет!” – закричал знаменитый эксцентричный режиссер *F*, когда журналисты сказали, что хотят делать у нее ремонт. Журналисты завершали подсъемку – одна знаменитость желала счастливого ремонта другой знаменитости (это для телешоу). Журналисты объяснили знаменитому режиссеру, что Первое Лицо скоро наградит знаменитую актрису *N* орденом. (Первое Лицо – то есть президент, его фамилию было не принято называть по телефону, а иногда и в обществе.) Так вот, он ее наградит, ее имя всплывет, почему бы ее не вспомнить?

“Вы видели, какая она сейчас? – многозначительно глядя в глаза тяжелой холеной журналистке, произнес режиссер. – Посмотрите!”

“Почему же это произошло с ней?” – спросил знаменитого режиссера молодой драматург, когда съемочная группа ушла из кабинета.

“Расплата за грехи…” – чуть отстраненно, словно завороженный воспоминаниями, произнес режиссер.

Молодой драматург, который сиял как самовар в присутствии знаменитого режиссера и был мрачнее тучи, когда шел по улице один, переночевал ночь и на следующий день вернулся с выводом: “В ней всегда это было. В ее игре всегда чувствовалось что-то пограничное – то ли безумие, то ли гениальность…”

Она была безумно красивая, безумно сексуальная, она стала звездой после своего первого же фильма. Она была умная, элегантная, с безупречным вкусом, она никогда не была

вульгарной. Женщины не любили ее, но и не могли злословить в ее адрес. Мужчины были ее рабами (может, поэтому в итоге ничего не получилось). Один молодой романтичный актер, похудевший, с красивыми страдающими глазами, несколько суток стоял перед ее дверью на коленях. Когда она выходила – кутаясь в легкую шубу, торопливая, резкая, – всегда раздраженно говорила: “Ой, ну не мешайте!” Уходила в лифт, а он, как лебедь, повернув шею, смотрел на нее преданным взором – впрочем, она этого не видела, так как копошилась в сумочке, и створки лифта закрывались. Ночью актриса возвращалась то с одним, то с другим мужчиной, красиво смеялась, а изможденного красавца на коленях просто не замечала, как что-то безусловное и естественное. Чем кончилась его история – неизвестно.

Если бы это была одна история…

Она вытирала ноги о мужчин. Может, она мстила им, может, это просто была ее натура. Когда какой-то стареющий, склонный к депрессиям военный застрелился из-за нее (в предсмертной записке было только ее имя, больше ничего, никаких объяснений, только имя женщины, ставшей роковым наваждением), она с гордостью, хохотом, восторгом часто рассказывала об этом – люди не знали, как реагировать…

Ей не было еще сорока, когда, как у всех, тело уже начало демонстрировать свой долгий путь умирания – эти морщинки, седые волосы, другие грустные изменения. Потихоньку менялась и уходила сексуальная привлекательность. Но – какое-то время – женщине помогают держаться краски и знания, мужчине – уверенность в себе. Жила она с дочерью – рыхлой девочкой-подростком, очень скрытной, – на которую то и дело срывалась, обзывала так, как, наверное, моряки обзывают последнюю портовую шлюху, попавшую в их распоряжение.

Девочка заболела, пришлось везти ее к врачу. Врач сказал, что девочка давно и успешно беременна, аборт делать поздно.

Но знаменитая актриса *N* не любила, когда ее загоняют в угол. Если вы бросали ей вызов, будьте уверены: она умрет, но не сделает того, что вы от нее требуете. Как только девочка родила (мальчика), была написана отказная, мать и дочь оставили ребенка в роддоме, уехали домой – восстанавливаться, забыть все это, как страшный сон. Но страшный сон только начинался.

“Эта история стала достоянием кинематографической общественности, – рассказывала молодому драматургу известная критикесса, когда они вместе обедали. – Последние давалки, последние алкашки подходили и плевали ей в лицо!”

На какое-то время актриса исчезла. А когда появилась, была уже другая. “Вы видели, как постарела *N*?” – шептались о ней.

Впрочем, постарела она не больше, чем остальные. Просто был сильный контраст с ее сногсшибательной красотой в молодости. А кроме того, природе-предательнице она ответила в своей непримиримой вызывающей манере: принципиально перестала следить за собой.

“Она книгочейка, – продолжала известная критикесса, – она всегда что-то читает. Читала. У нее в квартире одни книги. Есть только два актера, которые так начитанны: это знаменитый актер *G* и она”.

На телевидении началось время ток-шоу, интервью, все что-то говорили: о политике, о личной жизни, о домашних животных… Выяснилось, что брать интервью у знаменитой актрисы *N* — счастье. Она была умная, как ученый муж. Смелая. Не боялась говорить ничего. Участвовала только в общественно-политических передачах и только тет-а-тет с ведущим – никаких общих крикливых свалок. Расхристанная, неухоженная, стильная – по-прежнему страстная – вот какая она представала теперь перед зрителем. В кино практически не снималась – и слава богу! – кинематограф в стране деградировал быстрее, чем стареет человек. Она смело и обоснованно критиковала власть, зрители влюблялись в нее – нельзя не влюбиться в умницу. Актриса не любила общество и, наверное, людей. Она предпочитала одиночество. В личном общении была вежлива, закрыта, а иногда внезапно и шокирующе зла.

Но…

Государственные телеканалы постепенно превратились в площадку для развлекательных шоу. Впрочем, что в этом было развлекательного, недоумевала актриса. Это был какой-то силос для отупевшего народа, и она со злостью выключала телевизор. Оставались единичные радиостанции и газеты, ориентированные на интеллигенцию, на думающего небезразличного человека. Актриса была частым гостем в этих СМИ. Комментировала, призывала, возмущалась. Но… Был один недостаток. Темы, которые обсуждались (политика, общество), оставались настолько безысходными, что постоянная аудитория жила в состоянии постоянного негатива. Хотелось застрелиться.

На какое-то время актриса вдруг снова исчезла. А когда появилась (в “Ю-Тьюб” выложили кучу записей с телефонов, где она танцует с каким-то хохочущим парнем на Старом Арбате), когда появилась – была другая: располневшая, по-прежнему неухоженная, но уже не стильная, не сексуальная…

В комментариях развернулась дискуссия: она или не она? Кто эта старая неадекватная женщина? Люди не могли поверить, что это знаменитая актриса *N*, но в глубине души хотели этого.

Людям нравились развлекательные потрясения. Кто-то написал: “Я недавно видела *N*, она прекрасно выглядит, это не она”. Кажется, все поверили. Но это была она.

Желтая пресса почему-то ее не трогала. Кто знает, вдруг журналисты не управлялись с количеством звезд, скандалов, событий… Пришло время, когда значение слов обесценилось. Если на кафе или в супермаркете была надпись “Вкусно по-домашнему”, никто не придавал этому значения, все знали – это пустые слова. Звездой теперь называли любого, чье имя на слуху. А великими и гениальными – каждую знаменитость, которая дожила до старости. “Звезды” множились, чтобы заполнять эфиры телеканалов (телеканалы тоже множились), тысячи страниц газет и журналов… В общем, на фоне этого избытка актрису, к счастью, никто не трогал, не глумился над ней, о ней забыли.

Дочь жила отдельно. Она оплачивала матери сиделку, забирала пенсию, распределяла деньги.

Итак, дочь.

С годами она стала активная, вульгарная, превратилась в нимфоманку, неврастеничку, безуспешно и отчаянно сидела на диетах и в кабинетах психоаналитиков. Ее главный талант был в двуличии: она умела жаловаться, заискивать, принижаться, восхищаться, увлекательно поговорить о каких-то позитивных и парадоксальных психологических установках, расположить этим собеседника… А внутри четко двигалась к своей цели и выгоде, как летчик с холодным умом, сидящий за штурвалом и уверенно управляющий шпионским самолетом.

Она феноменально лицемерила и получала от этого наслаждение, как игрок. Или как дочь феноменальной актрисы.

Женщины относились к ней хорошо. У нее было много полезных знакомств.

Мужчины иногда покупались на ее телеса, а также на многообещающую сексуальную напористость в сочетании с тем, как она сюсюкалась-пресмыкалась перед ними. Но отношения всегда длились недолго, в финале мужчины бежали от нее, как от черта. Она приходила к матери пьяная и кричала: “А ты знаешь, тварь, что ты сломала мне жизнь?!” *N* безутешно плакала, ловила руки дочери, чтобы целовать их: “Доченька, милая моя, любимая моя…”

Дочь работала в какой-то околокиношной конторе и в качестве мелкой сошки-организатора летала на различные фестивали, мероприятия… Однажды в самолете она познакомилась с общительной, довольной жизнью чиновницей из какого-то комитета. Разговорились.

– А давайте вашей маме награду сделаем? – с искренним

энтузиазмом предложила благополучная чиновница (оказывается, награды делались именно так).

Награду?!

Какую именно? Какие льготы? Кто вручает? Где?

Что собирать, какие справки?!

О, началась дружба с чиновницей…

Это нонсенс: представить знаменитую актрису *N*, которая отправляется в Кремль за наградой из рук президента, против которого она выступала с момента его появления в политике… Дочь начала готовить мать: “Это такая высокая честь для нас, мама”. Но готовить актрису не надо было: “Конечно, доченька, конечно!”

Дочь перестраховывалась, ведь в принципе было ясно, что знаменитая актриса *N* стала миролюбивым существом.

“Впала в благостность!” – прокомментировала эту перемену знаменитая актриса *S*, известная оппозиционерка.

Раньше они очень дружили… Какое счастье – понимание! Как это сближает… Они одинаково смотрели на многое, но прежде всего на политику, эти две актрисы – знаменитая актриса *N* и знаменитая актриса *S*. Баррикады, митинги, стояния – это не обходилось без них! Они отправлялись туда не ради эмоций, они верили, что своим присутствием, своими знаменитыми именами усилят значимость происходящего, борьбы за правду. Приблизят справедливость, которая была их идеалом. Они были идеалистки! Прекрасные идеалистки…

Потом они потеряли друг друга. Актриса *S* много снималась, заболела, долго лечилась за границей, что удалось сохранить в тайне от прессы, но это обернулось выпадением из информационного поля. Ей никто не звонил, не было никаких предложений, как будто она не выздоровела, а умерла. Тогда *S* пошла на похороны суперкинозвезды, которую выставили в Доме литераторов, и, сказав со сцены несколько слов, стала так рыдать над гробом, что вокруг начался торопливый многоточечный треск – ее снимали фотографы… *S* не унималась, вскидывала руки, наклонялась над гробом, чуть ли не падала, треск усиливался, как будто нарастала мощность электрического разряда, – теперь *S* знала, что ее возвращение состоялось, ее фото будут во всех СМИ, ей снова начнут звонить, и позволила постепенно увести себя, сгорбленную от слез, со сцены. За кулисами, где было много знаменитостей, встреч, общения (даже шуток, пардон), она увидела свою подругу, нашу знаменитую актрису *N*, которая сидела на табуретке – неопрятная, растрепанная, обрюзгшая – и всем радостно улыбалась…

Знаменитая актриса *N* сбежала из дома, чтобы попасть на

похороны, но устроители не выпустили ее на сцену.

Знаменитая актриса *S* (плакавшая над гробом, оппозиционерка) осмысляла происходящее. (Она узнала, что знаменитая актриса *N* скоро отправится в Кремль, чтобы получить орден из рук своего гражданского врага.) *S* попыталась как-то встряхнуть *N*.

– Ты политическая проститутка! – крикнула она ей по телефону.

Знаменитая актриса *N* живо откликнулась, стала говорить о благодати.

– И не только политическая! – вопреки отчаянию не сдавалась *S*.

Снова о благодати…

S позвонила дочери *N* и с надрывом заявила:

– Как тебе не стыдно?!

Сначала язвительные, а затем героические, даже пафосные интонации звучали в эмоциональной отповеди дочери…

– Вам-то хорошо, бегаете с одной съемки на другую, деньги загребаете! Снимаетесь во всяком фуфле! А потом на всех углах интервью для простачков раздаете: какая вы несчастная актриса – про-тив-но! Купили себе “мазду” новую, думаете, я не знаю?! А мама моя целыми днями сидит взаперти! И плевала я на ваши принципы гражданские! Я за каждую радость для моей мамы буду бороться, понятно? Куда нас повезут – туда мы и пойдем! У меня только один принцип: чтобы ей было хорошо, ясно? Понятно?

– А где достоинство?! – кричала и перебивала *S*.

Дочь не слышала ее:

– Противно слушать!

– Где такие понятия, как честь, как моральный кодекс? – упрямо вопрошала уже дрожащим беззащитным голосом своих популярных киногероинь актриса *S*.

– В жопе! – рявкнула дочь.

И продолжала отповедь:

– Это для вас она исторический портрет, понятно?! Это для вас она репутация! А для меня она просто живой человек! Которому сегодня плохо, сегодня! И я сделаю все, чтобы она жила! И чувствовала себя – живой! Понятно?! Радость… – Она талантливо перевела дыхание. – Радость дороже, чем достоинство!

(Удачный финал этого монолога дочь взяла на вооружение и впоследствии не раз использовала – как шах и мат.)

S была обескуражена…

Тем временем предприимчивая дочь “разруливала” вопрос с

ремонтом. С “Первого канала” к ним все-таки обратились. Смысл телешоу заключался в том, что звезде бесплатно ремонтировали спальню (или кухню, или кабинет), а потом звезда входила и реагировала. Очень интересно.

Квартира знаменитой актрисы *N* была запущенная, постаревшая, соответствовала хозяйке. Телевизионщикам даже в голову не пришло, что когда-то здесь коротила (коротила!) сексуальная энергия – входили мужчины, голова билась о подушку, оргазмы выворачивались стонами… и скучные стены, которым всегда все равно, – это свидетельницы… Свидетельниц ободрали, выровняли и наклеили новые обои – красные, с золотыми узорами. В золотых рамах повесили портреты каких-то желтушных некрасивых дворян. Эти умершие люди в старинных богатых одеждах спокойно смотрели с полотен (репродукций) и выполняли функцию благородного декора. Хрустальная люстра, хрустальные бра… Подсвечники… Книги выкинуты. Актриса все равно теперь не читала. С нетерпением ждала шоу, где группа звезд пародировала других звезд, а комиссия (из избранных звезд) ставила оценки. Тонкий плазменный телевизор укрепили напротив высокой широкой кровати. Кровать – под тяжелым бархатным балдахином с опорой на четыре деревянные колонны. На покрывале и с каждой стороны балдахина золотой нитью вышиты крупные инициалы актрисы. Мини-диванчики, пуфики, белиберда в изящном эротичном стиле рококо также были расставлены где надо и не надо.

Эта стилизация под убранство французского замка была не случайна. Знаменитая актриса *N* стала знаменитой, блестяще исполнив роль графини де Монсоро в исторической картине. Авторы телевизионного выпуска решили обыграть сей факт ее биографии. Креативно вернули в прошлое. Мало того, кому-то из редакторов пришла в голову светлая мысль нарядить знаменитую актрису *N* в платье графини, и чтобы она в таком виде вошла в спальню принимать работу дизайнеров. Креативно, все креативно! Ярко! Это телевидение!

“Сейчас сюда войдет наша хозяйка… я очень волнуюсь, понравится ли ей комната после ремонта…” – доверительно произнесла ведущая в камеру.

В старинном бальном платье, с высокой прической, в которую были вплетены нити жемчуга, знаменитая актриса *N*, обмахиваясь веером, вразвалочку прошлась по комнате – она высоко держала подбородок, рот был приоткрыт, а нижняя губа чувственно оттопырена. “М-м-да-а-а… – тянула она, высокомерно оглядываясь. – М-м-да-а-а…” Ведущая, несмотря на растерянность, пыталась организовать диалог, но диалога не

могло быть. Знаменитая актриса *N*, когда слышала вопрос, вдруг начинала игриво хохотать, как хозяйка салона. Хохотала и хохотала, плюс кокетливый взгляд из-за веера. Съемку остановили.

Знаменитую актрису *N* переодели во что-то повседневное трикотажное. Волосы растрепали, жемчуг вытащили.

“Сейчас сюда войдет наша хозяйка… я очень волнуюсь, понравится ли ей комната после ремонта…” – ведущая с недружелюбным взглядом повернулась к двери.

Знаменитая актриса *N* вошла открытая, как ребенок. Она с удивлением и восхищением разглядывала комнату, улыбалась, на все вопросы отвечала примитивно, несколько возбужденно, но все-таки адекватно. Все время восторженно повторяла, как это прекрасно, с любовью смотрела в зрачки ведущей. Ведущая подарила ей пылесос.

“Огромное спасибо «Первому каналу»! Спасибо за все, что вы делаете!” – с отдачей сказала переполненная чувствами, счастливая знаменитая актриса *N* и низко поклонилась.

Дочь, когда телевизионщики свалили к черту, зло выдохнула. Во-первых, она устала от этого ремонта. Во-вторых, нервничала, потому что именно завтра нужно было везти мать в Кремль, а в-третьих, самое главное… дочь испытала черную неконтролируемую зависть. Она вдруг восприняла как несправедливость – то, что спальня матери теперь лучшая.

Она сказала, что в новой спальне пахнет лаком, это вредно, и запретила там находиться. Она осталась ночевать здесь – боялась, что мать убежит, сиделке не могла доверить эту ночь… Она легла в комнате сиделки, а сиделку заставила лечь с матерью на раскладном диване в гостиной. Но в комнате не ловился вайфай, а дочь не могла заснуть без “ВКонтакте”, поэтому вернулась, отправила сиделку обратно. Сиделка все это сносила с каменным выражением помятого лица, а знаменитая актриса *N* всякие пертурбации и суету воспринимала с радостью, как щенок. В полумраке она смотрела на ступни дочери (женщины легли валетом) и улыбалась улыбкой счастливчика.

Утром дочь орала матом, но вскоре дамы были идеально собраны и со спокойным достоинством ехали по солнечной набережной в Кремль. Знаменитая актриса *N* улыбалась и жмурилась – солнцу и ветру (она опустила стекло), а в салоне автомобиля тем временем состоялся политический диспут.

– Его будут судить! – агрессивно кричал знаменитый пожилой актер, он сидел впереди и не оборачивался. Прогноз касался действующего президента. Как и все в этой машине, актер ехал получать орден из его рук.

– Ну скажите, а что он такого сделал? – хохотала знаменитая пожилая профурсетка (поп-звезда), которая вела автомобиль.

Ее можно было причислить к тем женщинам, которые ничего не понимали и которым было все равно, а его – к тем мужчинам, которые все понимали, но боялись и приспосабливались.

Был еще один типаж награждаемых – актеры, верные власти. Им нравилось любить того, кто главный на территории. В этом было что-то женское, а точнее, ущербное. Эту ущербность можно увидеть еще в школе, когда мальчики дружат с агрессором, который бьет других, а их не трогает. Возможно, это был не только страх, но и компенсация… “Для меня горе, – серьезно начал знаменитый процветающий актер *R*, – для меня горе – это постаревшее лицо *Z*”. (*Z* — это имя и отчество президента.)“Остолоп!” – вырвалось у знаменитой критикессы, смотревшей телеинтервью актера.

– А-а-а!! – закричала, как будто ей всадили нож в сердце, знаменитая актриса-оппозиционерка, когда включила “Первый канал”.

На экране ее подруга, ее соратница, любовница ее души, знаменитая актриса *N* стояла, склонив голову перед президентом, а он, подняв над ней руки, надевал на счастливую актрису ленту с орденом.

Репортаж представлял собой нарезку: как любимые народом актеры выходили получать государственные награды. Старики выходили с откровенным подобострастием. Старая фурия, которая могла обматерить за то, что к ней посмели обратиться (легендарная кинозвезда), торопливо шла к президенту с отчаянно счастливой, отчаянно заискивающей улыбкой. Молодые актеры, еще сильные существа, современно мыслящие, выходили с подчеркнутым достоинством, сдержанностью – что здесь смотрелось даже как небрежность. Задницу не лизали. Но за наградами приехали.

Фотография, на которой знаменитая актриса *N* стоит, склонив голову перед президентом, открывала все новостные публикации на всех информационных сайтах в этот день.

“Она потеряла молодость, красоту, разум, талант… А теперь и честь”, – написала знаменитая актриса *S* в своем “ЖЖ” этим вечером.

Дочь уехала выпивать со своими подругами-продюсершами, сиделка помогла знаменитой актрисе *N* помыться и уложила ее по случаю праздника в новой спальне.

Сиделка дернула витой золотистый шнур с тяжелой ниточной кистью… бархатная ткань распрямилась, закрыв ложе с одной стороны. Знаменитая актриса *N* лежала в ситцевой ночнушке,

чуть подогнув сжатые коленки, прикрыв глаза и слабо улыбаясь. Сиделка подошла к другой колонне, дернула другой золотистый шнур.

Внутри стало темно.

Никогда, но где-то… она бежала на фоне голубого неба, молодая, босиком… подхватив широкую юбку – своего легкого красного платья… оборачиваясь против ветра, против гривы своих волос, смеясь… с этой радостью, энергией во взгляде… чистая…

Совершенная и зрелая, она полулежала на диванчике-рекамье, с легкой ироничной улыбкой неподвижно глядя на вас. Над ее головой, на темном небе, стремительно бежали кучевые облака, а в воздухе стоял ритмичный грохот, будто ступало бескрайнее войско… Она, глядя тебе в глаза, спокойно подняла руку, медленно почесала висок и взяла в рот большой палец, обнажив зубы, – сильно, с удовольствием прикусила его… замерла.

Бах!! Слепящая фотовспышка выжгла изображение.

Знаменитая актриса *N* резко села в кровати.

А как же София Ротару?..

Как же София Ротару?! Как Ялта?!

Нужно предупредить ее, что я не поеду!

Уже глубокая ночь…

Знаменитая актриса *N* медленно опустилась в постель…

Она лежала с открытыми глазами, с сосредоточенным жалким выражением лица.

Знаменитая комедийная актриса *D* однажды сказала в интервью: “Если мне не спится, я встаю и пеку блины. Зачем время терять?”

Знаменитая актриса *N* вскочила, суетливо выбралась на ощупь из тьмы балдахина. Нечего время терять. Да, ОВД закрыто, но там наверняка висят около входа листочки – на стендах, на двери, – на них написано, какие бумаги нужно собрать, какие справки… чтобы получить загранпаспорт. Нужно бежать.

Где расческа?! Где халат?!

– Где орден?! – закричала она и тут же зажала рот рукой, замерла, упав зачем-то на колени и испуганно обернувшись на дверь. Она была молодой дворянкой, ее держали в заточении, около дверей стоит безжалостная стража, ее шелковистые волосы рассыпались, она смотрит на витую ножку туалетного столика и шепчет себе что-то… Она выберется отсюда… Она совершит побег из Бастилии! Накинув капюшон, она бежит по переулкам промозглого ночного Парижа…

Тишина. Сиделка не проснулась. Можно убегать. Можно без

ордена.

На улице оказалось холодно. Забыла надеть куртку. Может, вернуться? Вернуться или не вернуться?!

Что же делать?!

Что делать?!

Оглядываясь, будто ее преследовали, – слыша стук копыт по мостовой, – она бежала темными безлюдными дворами…

Не безлюдными. Около глухой кирпичной стены убивали… Националисты убивали гастарбайтера.

– Мальчики, милые, вы что, с ума сошли?! – закричала она, стремглав бросившись к ним.

Мгновенно ее откинули, как тряпичную куклу, мгновенно от удара головой о стену она потеряла сознание и, уже не приходя в себя, в течение часа умерла. Ранним утром холодное тело обнаружил дворник и вызвал полицию.

Было затишье в стране, в политике, в жизни звезд было редкое затишье, поэтому смерть знаменитой актрисы *N* стала единственным питанием для прессы. Уже вечером на трех главных “неприличных” (как их называла критикесса) каналах показывали ток-шоу, где звезды вспоминали ее, а на “культурном” канале крутили ее лучшие фильмы и давние интервью. Главная желтая газета страны вышла с черной первой полосой, на которой большими буквами было написано: “УМЕРЛА ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО”.

Дочь лишила прессу главного лакомства – дочери удалось скрыть от общественности, что это было убийство. Куда она бежала среди ночи?.. Зачем?.. Как она жила?.. Вместо этого пусть лучше обсуждают другое. В различных ток-шоу бесконечно повторялось одно и то же: знаменитая актриса *N* умерла достойно – в своем будуаре. Великолепном будуаре, который послала ей судьба (передачу про ее ремонт смотрите в следующую субботу). И последнее, что с ней произошло, – это награда из рук Первого Лица. Ее последние кадры – как она склоняет голову в Кремле… Высшее признание. Высшая благодарность. Красиво. Грустно. Завораживающе…

“В этом есть что-то мистическое”, – сказала вдруг одна звезда, наученная опытным редактором. Опытная редактор (несколько вальяжная дама с тонкой сигаретой) понимала: сентиментальность быстро наскучит целевой аудитории, нужно переломить ход обсуждения. Теперь звезды под прицелом телекамер начали спорить: была ли мистика в жизни знаменитой актрисы *N*? Со встревоженными лицами звезды вспоминали, как роли влияют на судьбы актеров. И, наконец, какой-то идиот (тоже звезда) ляпнул, что награда из рук президента принесла

знаменитой актрисе *N* “плохую удачу”… Непонятным образом это попало в эфир. Опытная редактор запропастилась в служебном туалете – у нее началась медвежья болезнь…

И несмотря на то, что идиота немедленно подвергли остракизму, что-то произошло…

Еще вчера дочь звонила в Союз кинематографистов, требовала деньги на похороны, плакала, извинялась… Говорила: “У нас нет ни чулочков, ни трусиков – все рваное”, – в ответ была брезгливая холодная вежливость. Сегодня – ей звонили, ее искали, ей предлагали услуги и деньги.

В прессе поднялась истерия: ушла великая актриса, уходят последние великие, она была олицетворением своей страны (еще одной редакторше стало плохо), народ скорбит, приходят телеграммы, воздаяние судьбы – последний день она была счастлива (в очередном ток-шоу собрались звезды, которые подтвердили, что она была очень счастлива), как много она сделала для страны, как много сделала страна для нее, что все к лучшему, что светла наша печаль, что искусство все-таки объединяет нацию, великое искусство… великую нацию… В новостях поступательно сообщали: когда будут ее хоронить… где будут… куда прийти на гражданскую панихиду…

Выставили ее в Доме кино.

Пришли все. Все.

Звезды подъезжали, выходили с дорогими букетами из дорогих машин, по пути в зал отвечали на вопросы журналистов, а журналистов было не меньше, чем звезд.

– Сегодня такой день… Я счастлива! – заплаканная знаменитая актриса *Y* была окружена телекамерами. – Я счастлива, что общалась с этой великой женщиной, я счастлива, что работала с ней на одной площадке!

В числе выступающих со сцены был тот самый подвергшийся остракизму идиот, осунувшийся, небритый, который, поднявшись, не мог перестать плакать и говорил, как давно и тяжело она болела, как неминуем был этот уход, как хорошо, что власть успела сделать ее последний день счастливым…

Успешный солидный кинорежиссер стал рассказывать самоуверенно, что она была нормальным живым человеком, как и многие, порой заблуждалась – но! – ее отличала способность осознавать свои ошибки, смелость – публично признавать их, и ей везло в том, что она всегда успевала это сделать. (Многие старались не смотреть на него, когда он говорил это.)

Встряла бедно одетая пенсионерка (как оказалось, советская кинозвезда, которая недолго была знаменитой), стоя перед гробом, она веки вечные возилась с микрофоном (пока не

помогли наконец закрепить) и сказала в итоге, что знаменитая актриса *N* была всеми забыта и покинута. В неловкой напряженной тишине кивнула гробу и ушла.

Дочь сидела на сцене среди своих подруг и уважаемых кинематографистов – друзей матери из далекого прошлого. Она почувствовала на себе взгляды, когда белые розы положил угловатый стеснительный юноша, – сначала один фотограф, а вслед еще несколько сделали серию снимков, вызывая недоумение и любопытство у непосвященных. Дочь тоже не понимала, что происходит, и вдруг узнала его – это был ее сын. Однажды она разыскала его в “Вконтакте” и написала с фейковой страницы от лица парня – с предложением секса. Проверяла: гей он или нет. Мальчик даже не ответил. Удовлетворенная, что родила здорового ребенка, она снова потеряла к нему интерес.

Зачем он пришел?!

Она сидела покрасневшая и окаменевшая.

Зачем ставить ее в неловкое положение? Это неприлично!

В доме эта тема была табу, и только недавно мать сама нарушила его. После очередного побега она сбивчиво рассказывала, как увидела в подземном переходе свою несостоявшуюся родственницу. Которая вместе с угловатым юношей шла навстречу ей. Знаменитая актриса *N* остановилась, радостно глядя на них. Суровая женщина поджала губы и убыстрила шаг, увлекая за собой внука. “Мой мальчик! Милый мой!” – закричала знаменитая актриса *N* им вслед. И даже попыталась догнать, но растерялась, упустила.

Это была единственная встреча внука и знаменитой бабушки. Что за необходимость приходить на похороны?!

И вдруг дочь догадалась. В ужасе она даже забыла на мгновение, где находится… Сейчас наследница этой квартиры она, а кто ее наследник? Он.

А он – это они. Сволочи, которые разрушили ее жизнь. Подонок, от которого она родила (подонку тогда было четырнадцать, как и ей). И его родители, которые подняли этот губительный для нее шум, усыновили отказного мальчика. Теперь они почуяли добычу. Стая волков. Семья сволочей. Подбираются. Еще грохнут ее… Недвижимость все же… Москва… Она вдруг осознала, что осталась совершенно одна в этом мире.

Ей уже столько лет, но она до сих пор несчастна. Неужели счастья нет на этом пути? Но почему у других есть? Почему у матери было? Ведь это она ее заставила! Это она сломала ее! Она во всем виновата!

Дочь вдруг впервые начала рыдать, ее тут же, с готовностью и как будто с радостью, принялись успокаивать, затрещали затворы

фотоаппаратов.

Она не поняла: ей сделали укол или нет, – но все ей вдруг стало безразлично, с безучастным видом уже шла она, опираясь на чьи-то руки, вяло думала о том, что будуар в этой запущенной квартире, как седло на корове… Нужно всю квартиру ремонтировать в таком стиле. А у нее нет ни денег, ни сил…

Прошли похороны.

Заканчивались поминки. Но, несмотря на привычную московскую занятость, никто не расходился. Ресторан был модный, узбекский, с изумительной кухней. Настолько качественная еда – наверное, может вылечить за полчаса от депрессии. В зале – все, кто нужен. С удовольствием общались, решали деловые вопросы, просто отдыхали. О знаменитой актрисе *N* почти не вспоминали – сколько можно?

Еще несколько дней выходили толстые спецвыпуски желтых изданий – с роскошными фотоотчетами об этих похоронах.

Еще несколько дней созванивались старые незанятые актрисы, которые так тепло пообщались на поминках.

Еще несколько дней стояла хорошая погода.

Александр Кабаков
Маленькая слабость Л

На старых участках метались под ночным ветром тени гигантских сосен – проклятый ветер вдруг поднялся такой, что раскачал эти деревья, в два обхвата на уровне человеческого роста, и они двигались, скрипя и вздыхая, как шекспировский лес.

Когда поселок начинали строить, сосны уже были старыми, и их пощадили, не вырубили, хотя вообще стариков не щадили. За семидесятилетним Ш. приехали даже не ночью, а в сумерках. Другим будет наука… Б., стоя на своем крыльце в полосатой атласной пижаме, так и сказал: “Поделом старой сволочи. И некоторым подобным белогвардейским блядям пора следом… То-то, господа хорошие, пожалте-с бриться”. Пузо Б. под пижамой выпирало, будто он был на восьмом месяце. Говорил Б. – да и писал, к отчаянию редакторов, – на собственного изобретения смеси матерного и старорежимного, мог себе позволить. Слова его разнеслись над пустой улицей, поскольку жильцы еще недостроенных по большей части дач попрятались на всякий случай. “Эмка” захлопала дверями, рыкнула мотором и, оседая колесами в мелкой пыли, тяжело покатила к шоссе.

И тогда ночью тоже поднялся ветер, вспомнила она. И сейчас так же пусто на улице, хотя ни за кем не приедут. Но время позднее. Пьяницы местные по домам приканчивают кто вторую, а кто бессчетную бутылку. Разве что какой-нибудь вовсе пропащий Т. встретится, бредет на станцию в ларек, торгующий для своих круглые сутки, – не хватило… Но к утру Т. о встрече забудет.

Она заплакала.

Если бы кто-нибудь из сотен, знавших Л. за бесконечную ее жизнь, мог видеть ее сейчас и разглядеть слезы в темноте, он решил бы, что они выбиты ветром, подумала она. Тем более правдоподобно, что ветер поднимал и нес вечную здешнюю пыль, мелкую и жгучую.

Если бы кто-нибудь знал, из-за чего действительно плачет Л., подумала она.

Уже очень давно, со времен тщеславной и бессильной юности, она думала, а иногда и говорила о себе в третьем лице. Назло своей чужой фамилии…

Л. плакала на ходу.

В конце концов, Л. имеет право плакать ветреной ночью, подумала Л. В конце концов, она может иметь слабость, маленькую, пусть даже постыдную слабость, а кто не имеет таких

слабостей, тот упрекни ее, брось в нее камень… Конечно, все равно найдется много желающих упрекнуть Л., но как бы не так, вы никогда не узнаете о ее маленькой слабости. А если и узнаете, то не решитесь наехать – как теперь говорят молодые люди. Те, кто сменил последних великих в ее гостиной. Вам дорого обойдется такой наезд. Все ее великие, все их знаменитые тени заслонят ее.

Л. продолжала плакать на ходу.

Она скорбела о жизни, потраченной на обретение того, что должно было принадлежать ей по праву ее существования. Жизнь много взяла у нее в долг и не спешила отдавать долги. Огромные эти долги приходилось взыскивать с мужчин, иногда даже с женщин, а это опять был труд, тяжкий ежедневный труд соответствия между самой Л. и собственной ее ролью, главной ролью, от начала до конца прописанной ею самой.

Л. уже плакала в голос. Тут заплачешь, думала Л.

Все можно поправить, все можно закрасить, запудрить, скрыть. Но сияние глаз, которое никуда не делось, не соответственное цифрам в паспорте… Но багровая тень страсти, мерцающая в сумерках обычного дня… Но маленькая постыдная слабость…

Л. дошла до конца улицы, носившей то же, что и она, имя – вернее, фамилию – и повернула за угол, после которого старые участки кончались, и кончалась ее прежняя жизнь.

* * * * *

Как обычно, в мыслях она оценивала себя сухо, даже беспощадно.

Она признавалась себе в том, что ей никогда и ничего не приходилось решать, это очень облегчало жизнь. Решения без ее участия принимали жадность и жестокость, такие же естественные для нее, как для младенца, вырывающего чужую игрушку и, в обиде от неисполненного желания, колотящего мать пухлым кулачком по лицу. В сущности, она представляла собой идеально налаженный механизм для захвата любых крепостей, думала Л. К концу любого сражения она просто оказывалась в лагере победителей. При этом самым поразительным было то, что прирожденная перебежчица имела репутацию безгранично преданной жены, символа преданности. И победитель, которому она доставалась – вернее, который в силу безошибочного ее инстинкта доставался ей – верил в эту преданность и утешался ею до самого своего, когда приходил срок, поражения.

Следует признать, думала Л., иногда этим поражением бывала просто смерть.

И еще одно, необходимое для справедливости, дополнение, думала Л.: ее темперамент терзал не только ее жертву, но и ее самоё, особенно в начале каждого романа. Некоторые этот недолгий период буйства называют любовью, Л. избегала этого слова…

А потом начиналось освоение захваченной территории, колонизация завоеванного.

Еще почти девочкой она поняла, что жизнь полностью подчинена мужчинам, они устраивают мир по своим представлениям о правильном и неправильном, хорошем и плохом, полезном и вредном. Изменить это невозможно, эти вздорные, суетливые, мелочные существа будут властвовать всегда, а те женщины, которые смогут отвоевать среди них место для себя, докажут лишний раз, что окончательная победа все же остается за мужчинами. Потому что женщины могут победить, только присвоив и освоив все мужское, став, в сущности, мужчинами. Она знала нескольких таких, с тяжелыми подбородками и глубокими крупными складками от носа к углам рта. Одна, старая партийка с генеральским чекистским званием, все же затащила ее в постель, это было не то что бы отвратительно, но ужасно однообразно и скучно – как с настоящим солдатом…

Мысли засуетились, налетая одна на другую, обычно это ощущение приходило вместе с одиночеством – будто в голове у нее шумит толпа, как в метро или на оживленной улице, шум нарастает, раздаются неразборчивые крики, становится страшно… Оставшись одна и расслышав этот нарастающий шум, почувствовав приближение толпы, она начинала петь, или включала радио, или просто громко, во весь голос читала стихи.

Читала обыкновенно стихи того, чью фамилию носили она и эта улица.

И на этот раз начала со знаменитой поэмы, которую до сих пор учат в школе.

И тут же прервала чтение.

Потому что из тьмы всплыла и уставилась на нее мертвыми глазами его голова.

Она выругалась, как грузчик. Голова М. исчезла.

В свое время все было ею сделано правильно. Когда утихло бешенство страсти, помутившее рассудок обоим, она принялась за М. планомерно и спокойно. Этот непредсказуемый холерик, готовый в любую минуту впасть в истерику, простодушный и коварный, наивный и расчетливый за год их жизни под одной

крышей был ею совершенно подчинен – для этого хватило нескольких самых простых приемов, известных любой девице из простых. Буйная страсть, рваные простыни – и на третий день абсолютная холодность, удивленный взгляд: “Что вы хотите от меня, как вам в голову это пришло?!” Нежные прикосновения, старательно приготовленный обед, домашний уютный вечер с чтением вслух – и светские развлечения сутками напролет, бег с вечеринки на вечеринку, оголтелое кокетство со всеми подряд, а особенно с его литературными конкурентами… Беззвучные слезы – и неудержимая истерика с битьем хрусталя и с острым осколком в запястье, впрочем, воткнутым тут же, в соседней комнате, не слишком глубоко…

Но, перекрывая всю эту глупую и пошлую суету – постоянная, неутомимая, искренняя забота о его таланте. Нет, не о таланте – о гении, о его несравненном даре, о его сиюминутных успехах и безусловности его заслуг перед вечностью.

И он верил в эту преданность его таланту… нет, гению, великому дару.

Верилось тем более просто, что дар действительно был, хотя расходовался быстро – водка размывала.

* * * * *

М. забрали на улице, напротив дома – на ступеньках телеграфа.

Когда впихивали в машину, один из гэпэушников нечаянно наступил на его шарф, стащил с шеи М., отбросил ногой в сторону. Шарф остался лежать на ступенях, извивающаяся пестрая лента.

Принесла знакомая официантка из кафе на углу.

“Я шла на смену, смотрю, твоего потянули…”

Л. не сразу поняла, что произошло.

* * * * *

По короткой улице, обсаженной уже в новые времена густым кустарником, Л. дошла до пруда и повернула направо – на дорожку, огибающую пруд. Предстояло идти по ней в почти полной темноте, только под отблеском дальнего городского зарева, отражавшегося в ночных облаках, минут двадцать. Она сама удивлялась своему бесстрашию, но не боялась совершенно. Объяснить это можно было только истерическим состоянием, когда все внутри дрожит и не вполне отдаешь отчет в происходящем.

А тогда, в том июне, она боялась, смертельно боялась. Жен брали по-разному – некоторых сразу следом за мужьями, некоторых через полгода или даже год. Закономерность уловить было нельзя, от этого было еще страшнее. Именно от страха она и додумалась, поняла: все зависело от мужа. Если он сразу признавал, что жена тоже участвовала в троцкистско-зиновьевской банде, ее и брали сразу. Если же упорствовал, – говорили, что упорствующих сильно бьют, так что запираться было вдвойне бессмысленно, – то жену арестовывали тогда, когда муж, наконец, подписывал показания…

– И кому будет лучше от его правды? – спрашивала неизвестно у кого Л. – Кому поможет его правда?

Тем более, что он правды не знал и не хотел знать.

Но М. нашел третий вариант финала – драматургическая его изобретательность не уступала поэтической. Как ему удалось в набитой битком камере разодрать на ленты свою рубаху и привязать петлю из этой ленты к внутренней оконной решетке – неизвестно. “Я не вынесу допроса, – сказал он ей беззвучно, одними губами, наутро после ареста, во время первого свидания, ставшего и последним. – У меня только один выход…”

Она посмотрела ему прямо в глаза и согласно кивнула. Это был выход и для нее, во всяком случае, шанс отделиться и уцелеть.

И даже фамилию ей не пришлось возвращать свою, местечковую. Начальство оценило ее деликатность и готовность сотрудничать в решении проблемы, называвшейся “выдающийся поэт М.”. В газетах сообщили о “трагической гибели”, в то же время почти официально, на всех углах говорили о белой горячке и самоубийстве. Правдоподобная эта версия ползла из кабинетов и дежурок бывшего страхового общества “Россія”, едва ли не из-за кремлевской стены… И про Л. будто забыли, никуда не вызывали, но никуда и не приглашали, ни на какие вечера памяти. Впрочем, отчисления от мгновенно изданного двухтомника пришли исправно, она получила деньги, как получала всегда, по доверенности, и никто слова не сказал – мол, доверитель-то… того… Все молча согласились считать переданную из камеры, непонятно кому адресованную невнятную записку официальным завещанием. Следовательно, она была признана вдовой.

И она боялась непереносимо, как и следовало вдове, и чем дольше продолжалась спокойная жизнь, тем она больше боялась.

В начале третьего месяца, не выдержав страха, она пришла к человеку, от которого зависели и сами писатели, живые и мертвые, и их жены или вдовы, – к Ф. Пришла, как к старому знакомому и человеку своего круга – когда-то на каком-то

торжестве в Кремле М. их познакомил…

* * * * *

Костлявая мымра в круглой глубокой шляпке, из-под которой торчал клок желтых, как у клоуна, паклеобразных волос, – такая внешность секретарши исключала любые слухи, – загородила рукой телефонную трубку и что-то в нее пробормотала. Выслушав ответ, она мотнула головой в сторону двери с латунной дощечкой, на которой не было ни должности, ни званий – только имя и фамилия.

Кабинет Ф. был весь, до потолка, обшит лакированным деревом. Гигантская шкатулка, туго заполненная тошнотворно сладким запахом трубочного табака и еле уловимым едким дуновением какой-то химии…

Потом она узнала о его больных почках и диабете, и научилась сама впрыскивать ему инсулин, когда лицо его делалось зеленовато-желтым, и даже наловчилась стимулировать массажем испускание мочи. Для этой цели оборудовали специальный чулан за кабинетом, и оба очень опасались, что кто-нибудь доложит об этой роскоши наверх – объясняй потом насчет болезней. Больных там, на самом верху, вообще не любили, они напоминали о человеческой смертной природе. А уж такое неприличие, как особое отхожее место, которое посещается в компании любовницы, ему точно было не по чину…

Он ни разу не посмотрел на нее за полчаса разговора – занимался трубкой. Постукивал ею о край стола, выковыривал какой-то специальной лопаткой пепел, протягивал витую проволоку с вплетенной щетиной сквозь узкое отверстие мундштука… Потом начал сосредоточенно трубку набивать, утаптывать табак широким большим пальцем с плоским ногтем…

Она еще не знала, что он давно стал совершенно бессильным в постели, что, кроме всех прочих болезней, у него тяжелый, безнадежный алкоголизм, и в запое он обязательно развлекается русской рулеткой, крутит барабан наградного кольта с перламутровыми щечками рукоятки, щелкает спуском. А потом она узнала секреты, хранящиеся еще глубже… Что мужское бессилие у него не от возраста и не от водки, а с молодости. Что даже в самом отчаянном запое он всегда отдает себе отчет в поступках и не делает ничего, что могло бы вызвать кремлевское неудовольствие. И что патрона в барабане нет ни одного.

Но даже себе самой она никогда не признавалась в том, что живет с Ф. из страха и корысти – просто потому, что это было бы неправдой. На самом деле была любовь, она чувствовала

настоящую, необъяснимую и непреодолимую тягу к этому монстру, в ранней юности патологическому садисту – чего стоила служба в истребительном отряде ЧОНа, а сейчас вершителю судеб, откровенно наслаждавшемуся властью над слабыми, полностью от него зависимыми… И несмотря на отвратительный запах, не перебивавшийся ни голландским табаком, который ящиками привозили ему дипломаты, ни крепким мужским одеколоном, который при каждой поездке в Европу покупал сам; несмотря на абсолютное скопчество, которое он преодолевал после долгих стараний, вовсе не волнуясь о ее удовлетворении; несмотря на невыносимые кошмары запоев – она жаждала его телесно, и отвратительные детали физической близости с ним возбуждали ее особенно…

– Вам что, деньги нужны? – спросил он, довольно долго помолчав после того, как она закончила свою до последнего слова подготовленную и заученную речь.

– Мне нужно полное собрание сочинений М.! – довольно натурально закричала она, но тут же, испугавшись, сбавила тон. – И стране оно нужно…

Ф. поморщился – впрочем, почти незаметно, сильно затягиваясь и выпуская из трубки голубой с рыжими прослойками дым.

– Вы только мне не врите, – сказал он.

И с той минуты раз и навсегда она перестала ему врать так прямолинейно, ему можно было врать только всем своим существом.

– Не врите, я сам такой… вроде вас… скрытый враг.

* * * * *

Почти год даже он не мог пробить полное собрание, договор с ней Худлит заключил только зимой, назначили составителя, комментаторов, автора предисловия – все мерзавцы.

За год многое изменилось. Обычным для нее образом безумный период первоначальной, жадной страсти сменился долгим временем укрощения – ее методика подчинения мужчины осталась прежней, только сменился объект. При абсолютном внешнем несходстве между М. и Ф. она нашла много общего. Например, оба оказались склонны к укреплению и углублению отношений, к быстрому сближению и полному уничтожению какой бы то ни было отдельности, свободы. И этот – так же, как прежде тот – не просто впускал ее в самые тайные уголки своей жизни – он тащил ее в эти уголки. Собственно, этим она и пользовалась.

Правда, и сам лип, лез во всё. Выдерживать дистанцию, оставлять между собой и им зазор было почти невозможно.

Пренебрегая вероятным осуждением кремлевских моралистов, – один бесчинствовал с гибкими балетными примами, другой отдыхал душой и телом с грудастыми оперными дивами, для третьего просто ловили рано созревших старшеклассниц на улице, но на Ф. привилегии этого круга не распространялись – он взял ее с собой на совнаркомовский прием. Собрали около тысячи избранных, – командующие округами и командармы, секретари республиканских комитетов и наркомы, академики, народные артисты, писатели-орденоносцы…

Во главе стола толпа как бы сгущалась, хотя, конечно, все гости сидели на приличном для правительственного приема расстоянии друг от друга. Но там клубилась какая-то мгла, фиолетового оттенка слоистая мгла. И на мгновение ей показалось, что эта мгла плывет, летит к ней…

Тут же официант выдвинул из-за ее плеча поднос, посреди которого одиноко стоял большой бокал, на две трети налитый темно-красным вином.

– Вам приказали подать, – тихо, но не шепотом сказал официант.

Она обернулась, близко увидела лицо официанта и очень удивилась: лица не было совсем.

– Кто приказал? – спросила и она не шепотом, но тихо.

Но ответа не было, как не было лица у официанта, и самого официанта, и подноса… Только бокал чуть вздрагивал в ее руке, и вздрагивала в бокале фиолетовая слоистая мгла.

Я напилась, подумала она, как неловко, я напилась на приеме. И неприятности могут быть, подумала она.

* * * * *

На следующий день телефон звонил, не переставая. Никто не говорил о вчерашнем происшествии, о том, как она уронила бокал, полный красного вина, на скатерть, как суетились, оставаясь невидимыми, официанты… Обсуждали всякую ерунду – премьеры, грядущий дачный сезон, давно всем надоевшие измены и сожительства никого не интересовавших людей… Среди звонивших были и такие, кто прежде обращался к Ф. только в случае крайней нужды, а тут принимались болтать о всякой ерунде, как близкие приятели. И что не могло остаться не замеченным Л. – если трубку брала она, никто не звал к телефону Ф., беседовали с ней, хотя в последнее время ее избегали еще очевидней, чем самого Ф. Общая подлость ситуации бесила даже

ее, вообще-то терпимую к любым естественным проявлениям человеческого ничтожества.

На очередной звонок ответила нелюбезным “да!”.

– Комиссар госбезопасности А., – услышала она знакомую фамилию. – Нам надо встретиться… В ресторане “Савой” завтра, в два часа дня…

– У меня нет никакой нужды с вами встречаться, – начала она и тут же замолчала, опомнившись, но А. будто не расслышал ее наглых слов.

– В два часа дня, – повторил он и добавил: – Только Ф. ничего не говорите о встрече. Слышите? Ни слова. Если скажете, мы это будем считать изменой Родине…

Она вернулась в комнату, распахнула шкаф и принялась выбирать платье на завтра. Более всего подходило для важного обеда в “Савое” темно-синее плотного китайского шелка, в белый горох и с белым репсовым поясом. Но его надо было по новой моде отпустить не меньше, чем на ладонь, да еще отгладить сгиб, который наверняка останется на подоле… И что-то надо придумать с сумочкой… Хорошо хотя бы, что белые танкетки есть, почти не ношеные…

* * * * *

Война не слишком сказалась на ее жизни. Эвакуировали ее в Куйбышев, А. хотел, чтобы она была под рукой. Было скучно, но не так голодно, как в Азии, где знакомые действительно страдали. Вскоре Л. вернулась в Москву и поселилась в квартире Ф., приезжавшего с фронта на день-два раз в месяц. Немытый, истерически оживленный, он в эти приезды бывал способен даже на скромные постельные подвиги. Во всех театрах страны шла его пьеса “Западное направление”, он вновь приобрел репутацию настоящего драматурга, а не только литературного начальника. Понемногу писал и большой военный роман…

После спектакля шли к кому-нибудь в номер, в гостиницу, где жили все знаменитости, даже имевшие в Москве квартиру, – в гостинице было удобней, к тому же укреплялись репутации государственных людей, которым следовало постоянно быть рядом с Кремлем. Пили отдающее самогоном союзническое виски из гостиничного буфета, закусывали жирной рыбой, привезенной из богатой Сибири для разнообразия начальнического стола… И старательно угощали бледных, неуверенно державшихся на ногах, недавно вывезенных ленинградцев.

Л. нравились старые знакомые, даже некогда близкие друзья, надевшие военную форму. Некоторым она так шла, будто они

родились офицерами.

В те два-три года военной бесшабашной жизни она, не испытав никаких мучений и даже просто трудностей, резко постарела, но не замечала этого, привычно вела себя, как положено красавице. Между тем ее рыжие тугие кудри сделались тонкими, посекшиеся их концы летали в воздухе, как весенняя паутина… И ее круглое личико дорогой куклы оплыло, короткий вострый носик сплюснулся, все вместе стало похоже на морду маленького льва… Такие лица, как известно, бывают у прокаженных больных и бездомных пьяниц. К тому же Л. очень отяжелела, крупные и прежде – не пропорционально общей мелкости – зад и бедра выглядели постаментом узкогрудого и узкоплечего верха.

* * * * *

Они прожили с Ф. восемнадцать лет. Упрекнуть его было не в чем. Собрание сочинений М. вышло, она исполнила данный себе самой обет – искренне считала М. гением – и получила приличные деньги.

В пятьдесят втором году Ф. не отказался от нее, не бросил космополитку, как сделал кое-кто из имевших даже неплохую репутацию. А ведь они и зарегистрированы-то не были…

В середине пятидесятых она начала ездить по всему миру, делилась воспоминаниями о жизни с гениальным поэтом. Одежду и обувь привозила гигантскими чемоданами, под которыми гнулись носильщики на Белорусском и Киевском. А ведь достаточно было одного его звонка в выездную комиссию – и кончились бы эти ее сомнительные поездки за покупками…

Когда же он ездил бороться за мир в Париже или Риме, ее включали в делегацию как “общественного деятеля и близкого друга поэта М.”, даже не дожидаясь указания Ф. В гостинице, если их номера оказывались не рядом, старший группы похабным шепотом извинялся и предлагал поменять комнаты…

Словом, жизнь сделалась удобной. Вероятно, еще через пару лет они поженились бы.

Но в пятьдесят шестом, когда все вокруг стало и без того шататься и сыпаться, у него совсем отказали почки. Ф. слег, наиболее важные проблемы решал, не вылезая из постели, которую приходилось перестилать дважды в день – недержание усилилось. Она безропотно выносила все, работала больше прислуги, исхитряясь при этом безотлучно сидеть рядом с больным, читала вслух документы и помогала, надписав резолюцию, поставить не изменившуюся твердую, разборчивую

подпись.

Его похоронили на том же начальническом кладбище, где М., в соседней аллее. Ей было удобно навещать их, и цветы на могилах всегда лежали одинаковые.

* * * * *

Два завистника в это время гуляли по кладбищу.

– Да, цветы у них одинаковые, зато всегда свежие, – признал один.

– Вон оно, переходящее знамя отечественной литературы, – ответил расхожей шуткой второй, указывая на Л., спешащую по центральной дорожке к воротам и роющуюся на ходу в сумке, где лежали ключи от известной всей Москве кремовой “победы”-кабриолета. С этой тяжелозадой, как и ее хозяйка, машины была писана знаменитая картина роскошной советской жизни, украшение современного зала государственной галереи. И для картины остряки придумали обидное название: “Коммунизм, вид сзади”…

Тяжело вздыхая, завистники отправились в популярную близ кладбища пивную.

* * * * *

Ветер кончился так же внезапно, как начался.

Она уже обогнула пруд и толкнула дверь на веранду странного маленького домика, стоявшего у самого берегового среза. Позади него светилась ночным свечением вода, с трех других сторон его окружал покосившийся, волной полегший штакетник.

Сооружение это нельзя было даже назвать домом, скорее это была будка вроде тех, в каких на городских бульварах хранят лопаты, грабли и метлы озеленители, толстые тетки в брезентовых штанах. От обычной такой будки домик отличался непропорционально большой верандой, словно пересаженной от настоящей дачи. Через эту веранду она и вошла. Когда она закрывала за собой дверь, ветер снова подул так, что с деревьев посыпались сухие ветки.

Она оступилась в темноте и упала.

* * * * *

Поздней осенью, зимой и ранней весной в квартире на Усиевича, полученной от Союза уже после смерти Ф., было тесно,

но пусто, – Л. неустанно набивала две маленькие комнаты и шестиметровую кухню антикварной мебелью, бронзой, картинами – было время, когда в комиссионках на Арбате и на Фрунзенской ее хорошо знали. Но ощущение пустоты в городской квартире возникало оттого, что маленькая женщина, опираясь на тонкую трость, бродила здесь одиноко, словно случайный посетитель в музее. Соседи по литературно-художественной резервации – между Красноармейской и Ленинградкой – сторонились Л., осуждая ее прежнее беспутство и нынешнюю расчетливость, видные всем, кроме ее оголтелых поклонников. Среди этих мужчин количество Лауреатов и Героев Труда за выдающиеся художественные или научные достижения было больше, чем среди депутатов Верховного Совета… Впрочем, в гости к ней они не ходили, опасаясь неизбежных сплетен.

Зато весь дачный сезон в оставшемся ей от Ф. загородном особняке народ толпился постоянно, полсотни и больше гостей одновременно. Пили, но не только пили – прежде всего демонстрировали свое положение друзей этого знаменитого дома, завсегдатаев главного столичного салона, прибежища социалистической богемы…

Теплая погода будто бы смягчала нравы и снимала запреты. В гостиной стояли вплотную, как в трамвае. Тем, кто не расслышал, пересказывали мо, пущенные Л. Бродили по комнатам общеизвестные знаменитости и неведомые люди, просто затесавшиеся с улицы. Дамы пили не переводившееся у Л. дефицитное шампанское “Новый Свет”, но некоторые вполне по-боевому наливали в фужеры водку. Сильный пол налегал на дорогие коньяки с красивыми грузинскими названиями “Греми” и “Энисели”, но был и молодой человек из здешних завсегдатаев, имени которого никто не знал, эстет и гурман – он пил специально для него подаваемый шартрез, держа узкий бокал за высокую ножку.

Л. сидела в кресле на колесах.

Той ветреной ночью она сломала шейку бедра, что часто бывает со старухами. Кость не срасталась, плед укрывал перекошенное тело. Клоунский грим не скрывал общее омертвение лица. Однако себе она казалась той же красавицей, какой была и пятьдесят, и шестьдесят лет назад. И, как всегда, сколько себя помнила, непрестанно размышляла о телесных радостях, бредила ими – это было до сих пор единственное, что интересовало ее по-настоящему. А огорчали только огромные черно-коричневые родинки в декольте…

К. появился на одном из таких суаре, когда она еще принимала гостей на ногах – на прекрасных, что называется

“точеных” ногах, до круглых коленей открытых новым платьем. Она размышляла как раз о последней моде на неприлично короткие юбки – состояние ее ног все еще позволяло Л. открывать их хоть до самой задницы, ни варикозных узлов, ни багровой сосудистой сеточки, ни даже подагрических отеков… Но не в одном же виде дело. Мужской контингент ее поклонников и по возрасту, и по положению в обществе склонен был к вкусам консервативным. Мужчины ее окружения не приняли “мини” из соображений моральной сомнительности.

К. на фоне этих “носорогов” – пьеса только что вышла в “Иностранке”, и в вольнодумных разговорах образованные люди принялись честить “носорогами” партийных функционеров и вообще конформистов – выглядел одновременно суровым инсургентом и легкомысленным франтом. Непременная косынка под распахнутым воротом рубахи, обязательный толстый свитер грубой прибалтийской вязки, сумка *KLM*… И едва ли не единственные на всю компанию джинсы. И прекрасный торс не спортсмена даже, а просто огромного, мощного от природы мужика. И умение любой разговор вывести из серьезного пространства напряженной мысли на поле изящной болтовни.

И страсть, неутолимая страсть в каждом слове и каждом жесте…

К. и Л. совпали.

* * * * *

Он был младше ее на тридцать шесть лет.

Чем К. занимался профессионально, Л. за все время так и не смогла понять. Вдруг за его подписью вышла целая полоса в “Литературке”, острая и бездоказательная, обозначившая словами то, что уже носилось в воздухе. Все принялись обсуждать публикацию и поздравлять автора, а он, принимая поздравления, вручал каждому экземпляр “Огонька”, в котором опубликовали интервью с ним. Интервьюер называл К. молодым ученым, но само интервью вызывало большие сомнения в учености их обоих…

Вскоре К. был представлен в каком-то нудном теледиспуте как литературовед и профессор. С коллегой из Бостона он говорил на свободном английском и в два счета разгромил американца, робко тосковавшего по свободе творчества.

Он снял домик на берегу пруда, жил там один и появлялся только у Л., зато к нему в домик шло паломничество одиноких женщин гуманитарного склада. Иногда интеллектуальная беседа длилась меньше часа, после чего сменялась общением сугубо

лирическим, в ходе которого туго свернутое белье гостья на время прятала под сложенной в стопочку верхней одеждой… А еще через полтора-два часа дама робко протискивалась из двери веранды наружу и припускалась едва ли не бегом в обход пруда, в сторону знаменитого поселка Малая Правка… Если бы какой-нибудь наблюдатель еженощно следил за упомянутой верандой, он обязательно зафиксировал бы и несколько случаев, когда дамские визиты были нанесены вдвоем.

Л. поначалу бегала в маленький дом у пруда на общих основаниях, что было противно ее натуре – во все времена она была среди тех, кто не ждал очереди. Правда, возраст давал ей некоторое преимущество перед прочими посетительницами маленького дома – с самого начала ей было точно известно, что К. интересуется женщинами только после их сорока.

* * * * *

Теперь она обычно вызывала такси на половину первого или час ночи. Отбегалась…

Опираясь на палку, Л. из последних сил взбиралась на крыльцо, вступала во тьму, ежесекундно боясь снова споткнуться…

Он ждал ее, стоя в дверях единственной в доме комнаты, но не помогал…

Она минут пятнадцать стояла неподвижно, глаза привыкали к темноте. Потом она садилась на стул, уже вытащенный им в центр пространства.

Тьма плыла вокруг, слоистая фиолетовая тьма…

Тьма изливалась из нее…

* * * * *

Собственно, ей уже было около девяноста лет, так что смерть проще всего было признать естественной…

* * * * *

Да и то сказать: что может быть естественней смерти?

Павловская Слобода, август, 2015

Михаил Шишкин
Пальто с хлястиком

Есть известная полицейская фотография Роберта Вальзера, сделанная на месте его смерти: зима, белый косогор, следы в глубоком снегу, человек, упавший навзничь, разбросав руки. Стариковская шляпа отскочила в сторону. Таким его нашли дети на рождественской прогулке.

Он описал собственную смерть в рассказе, опубликованном за полвека до своего последнего Рождества. Герой коротенькой истории – неприметный, неприкаянный, никому ненужный, к пущему несчастью впридачу еще и гений, властелин мира. Он устает быть ненужным и уходит от забот так: заваливает мир снегопадом и ложится в сугроб.

Знание собственной смерти все же не привилегия писателя. Просто его легко поймать за руку – в прямом смысле слова – рука записывает то, что ему в какой-то миг открывается. В жизни каждого человека есть такие прорывы. Дырки в материи. Пункты передачи. В такие моменты композитор получает мелодию, поэт – строчки, любящий – любовь, пророк – Бога.

В этот миг встречается то, что в обыденном не пересекается, живет порознь, видимое и невидимое, суетное и сокровенное.

Начинаешь дышать в такт с пространством, в котором все происходит одновременно – и бывшее, и еще не наступившее.

Сущее играло с тобой в прятки, пряталось за прошлым и будущим, как ребенок, который в прихожей втиснулся под шубы на вешалке, а теперь выскочил, потный, счастливый, заливается смехом, мол, вот он я! Как же ты так – ходил мимо и не видел! Теперь тебе водить!

В такую минуту увидеть собственную смерть – пустяк, потому что предстает в своей восхитительной очевидности знание, что я никогда не рождался, а был всегда. Вдруг приходит понимание: не нужно цепляться за жизнь, потому что я и есть жизнь. И это не я чувствую, что у леса прелый запах изо рта, а это вселенная принюхивается к себе моими ноздрями.

Наверно, если чем-то можно измерить прожитую жизнь – то количеством этих отпущенных тебе встреч.

Очень хорошо помню, как я испытал это в первый раз. Мне одиннадцать. Запах горящих под Москвой торфяников. Мглистые дачные утра семьдесят второго. Привкус гари у всего, даже у горячей клубники с грядки. Мама едет в отпуск в дом отдыха на верхней Волге и берет меня с собой. Одно из моих первых

путешествий.

Шли дожди, мы жили в отсыревшем комарином домике, и сначала было скучно, несмотря на то, что каждый вечер крутили кино, но потом погода наладилась, в столовой у нас появился новый сосед, дядя Витя, и жизнь наша преобразилась. Мы с ним купались, катались по Волге на моторке, ходили в лес. Дядя Витя был жилист, златозуб, без конца смешил маму своими историями, из его шуток я половину не понимал, но рассказывал он так, что не смеяться было невозможно. Мамин новый знакомый мне очень нравился. Еще меня сразило, что он работал в тонвагене. Наверно, уже тогда меня завораживали слова.

Ну вот, без спроса называю того подростка мной, хотя совсем не уверен, что он согласился бы признать себя во мне нынешнем, седом, прожившим жизнь, болезненном зануде с выпершим бесстыжим брюхом. Он очень удивился бы: какой же это я? Не знаю, нашелся бы я, что ему ответить. Вряд ли. Меня зовут, как его – ну и что?

Из историй дяди Вити почему-то запомнилось, как в детстве, катаясь на коньках по реке, он с мальчишками находил иногда вмёрзших в лёд лягушек. Если на них пописать, они оживали и начинали шевелиться. А еще про войну. Он рассказывал про штрафников, которых могло спасти только ранение. Смыл свою вину кровью – возвращают награды и звание. И вот они устраивали самострелы – в руку или ногу через буханку хлеба, чтобы не оставался пороховой нагар.

Мне в голову не приходило, что мама любила танцевать, а теперь она каждый вечер ходила с дядей Витей на танцы.

Однажды мама заговорила со мной каким-то непривычным голосом. Она попросила, если дядя Витя спросит меня о папе, ответить, что он умер.

Я удивился:

– Но ведь он не умер. Он просто переехал.

Она прижала мою голову к груди:

– Но ты же у меня умница и все понимаешь.

Я ничего не понимал, но кивнул.

И стал ждать, когда дядя Витя спросит меня о папе.

Странно было смотреть, как мама румянилась, пудрилась, подводила глаза, красила губы, прыскала себе на шею духами, делала маникюр – в нос бил острый запах лака. Я такой ее не знал раньше.

Мама была учительницей, преподавала русский и литературу, к тому времени она стала уже директором нашей 59-й на Арбате. Я ездил вместе с ней с первого класса через весь город – сперва с Пресни, где мы жили в коммуналке, потом из

Матвеевской, где получили двухкомнатную в новостройке.

Понятно, она хотела, чтобы ребенок был под боком, в ее школе, но мне это сильно осложняло жизнь. Ее идеалом был какой-то учитель, преподаваший математику и уже ушедший на пенсию. У того в классе учился сын, знавший этот предмет лучше всех, но когда отец вызывал сына к доске, то даже на правильное решение задачи всегда говорил: “Садись, три”. Что-то подобное мне, например, пришлось испытать, когда наш класс делили, кому изучать английский, а кому немецкий. Я хотел пойти в английскую группу – и имел на это все основания, потому что немецким как бы наказывали тех, кто плохо учится – мол, будешь плохо учиться, пойдешь в немецкую группу. Я учился хорошо, но мама записала меня именно туда, куда я не хотел. Чтобы никто из родителей ее не смог ни в чем упрекнуть. На первом месте у нее была школа, а все личное, семейное – на втором.

Ее поколение выросло под плакатом “Родина мать зовет!”

Может, она и в Афганистан меня отправила бы не только с болью, но и чувством исполненного долга матери перед отечеством, если бы я не поступил после школы в институт с военной кафедрой. Не знаю. Кстати, очевидно, я до сих пор офицер запаса той несуществующей армии несуществующей страны. Принес ведь когда-то в военных лагерях под Ковровым клятву защищать до последней капли крови разбежавшуюся вскоре отчизну. Помню, нужно было поцеловать красное знамя, поднес к губам, а оно на меня пахнуло копченой рыбой. Наверно, наши начальники пили пиво с рыбкой и вытирали о бархатное полотно руки.

Тогда, в школе, я, конечно, не осознавал, как тяжело было маме и всем нашим учителям: перед ними стояла задача без решения – учить говорить детей правду, вводя их в мир лжи. По писаному закону нужно говорить правду, а по неписаному: скажешь правду, потом не расхлебаешь.

Они нас учили лжи, в которую сами не верили, потому что любили и хотели спасти. Конечно, они боялись неправильно сказанных слов, но еще больше, чем за себя, они боялись за нас. Ведь в стране шла смертельная игра в слова. Нужно говорить правильные и не говорить неправильные. Границу никто не проводил, но каждый в себе этот рубеж чувствовал. Учителя пытались спасти правдолюбивых юношей от глупости, сделать им живительную прививку страха. Пусть сейчас будет немножко больно, но зато потом иммунитет на всю жизнь.

Может, нас плохо учили химии или английскому, но зато мы получали показательные уроки в трудном искусстве выживания – говорить одно, а думать и делать другое.

Боги взрослых давно умерли, но на камланиях нужно было поклоняться им. Школа учила детей рабов смирению. Если хочешь чего-то добиться, нужно научиться произносить мертвые слова на мертвом языке, в котором застаивалась и гнила та мертвая жизнь.

Вообще, что значит быть хорошим учителем?

Очевидно, что хороший учитель при любом режиме должен развивать в детях качества, которые помогут им дальше в жизни, и не будет учить детей идти против течения, потому что им пригодятся совсем другие знания: знания дорожного движения по этой конкретной жизни. Выехал на встречную полосу – попадешь в аварию. Надо развернуться и влиться в общий поток. Хочешь чего-то достичь в этой жизни, зарабатывать прилично, обеспечивать семью, детей – надо влиться в общий поток: ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак, трудом праведным не построишь палат каменных, с волками жить – по волчьи выть.

А плохой учитель будет учить жить по другому закону, закону сохранения человеческого достоинства. И это чаще всего путь в лучшем случае в маргиналы, в худшем – к тюрьме или самоубийству. А то и просто пристрелят.

Значит, плохие учителя были хорошими, а хорошие – плохими? Впрочем в России всегда так: правые – слева, левые – справа. Сколько веков выясняли, так и не выяснили: если любишь Родину, то нужно желать ей победы или поражения? Осталось до конца непроясненным, где кончается Отчизна, и где начинается режим – так все срослось.

Взять хотя бы тот же хоккей. По обе стороны колючей проволоки матчи СССР-Канада воспринимались как символическая битва двух систем. К концу советской власти мы болели за канадцев против советов. А в 72-м, когда состоялась эпохальная суперсерия, тот подросток, которого я упорно называю мной, еще жил в светлом мире до грехопадения и болел “за наших”.

Это была все-таки странная держава. Хоккейные победы продлевали жизнь режиму, а поражения сокращали. Вблизи было не рассмотреть, что тот самый гол Пола Хендерсона, забитый с пятачка за 34 секунды до конца последнего матча, перевернул не только исход той серии, но стал point of no return для всей мировой империи, созданной усатым богдыханом. Ее разложение оставалось с той минуты только делом времени.

Забавно, что человек, поразивший мою страну в самое сердце, принял свою судьбу как-то совсем по-русски: сперва запил, бросив хоккей, а потом стал проповедником.

Хоккей попал на эти страницы, потому что наша школа

находилась как раз напротив канадского посольства. Перед ним парковались нездешние, невероятные лимузины, завернувшие в наш Староконнюшенный переулок прямо из американских фильмов. Можно было прильнуть к стеклу и разглядывать доску приборов, особенно впечатляла цифра 220 на спидометре, и мы, мальчики в мышиных серых костюмчиках, с жаром спорили о преимуществах “мустанга” перед “кадиллаком” или “шевроле” перед “фордом”, пока из будки у дверей посольства не выскакивал милиционер, чтобы шугануть нас.

Для канадских хоккеистов в посольстве был устроен прием. Весть о том, что к нам приехали канадцы, разлетелась мгновенно, и мы толпились на противоположном тротуаре, пытаясь разглядеть кумиров. Это были наши боги, сошедшие с ледовой площадки телевизора, и было странно видеть их в пиджаках и галстуках. В окнах второго этажа арбатского особняка, распахнутых в теплый сентябрь семьдесят второго года, мелькали Фил Эспозито и “Задира” Кэшман, братья Фрэнк и Пит Маховличи. На наши восторженные вопли они выглядывали из окон, улыбались, махали, показывали большие пальцы кверху, мол, жизнь – классная штука, ребята!

Столько лет прошло, а как сейчас вижу беззубую улыбку Бобби Кларка, который высунулся в окно и бросил нам значок. Другие хоккеисты тоже стали бросать значки и пластинки жвачки. Даже какие-то печенья. Что тут началось! Как я ни пытался поймать хоть что-нибудь, меня отпихивали более удачливые. Так бы и остался ни с чем. Но тут произошло чудо. Бобби Кларк, почти лежа на подоконнике, стал тыкать в мою сторону пальцем. Я не верил своим глазам. Он смотрел именно на меня, и кинул жвачку именно мне. Я поймал ее! Он рассмеялся и снова показал мне большой палец – молодец! Тут нас разогнала милиция. Жвачку мы поделили с друзьями, а обертку от нее я долго хранил. Нужно ли говорить, что это была самая вкусная жвачка, которую я когда-либо пробовал в жизни?

На следующий день к нам в класс пришла мама. У нее было строгое лицо. Мама умела быть строгой, и тогда ее боялась вся школа.

Она стала говорить, что наше поведение – это стыд и позор и для школы, и для всей страны. Нас фотографировали иностранные корреспонденты, и теперь весь мир увидит, как мы унижались, устроили драку из-за их жвачки.

Все молчали. Я чувствовал в этих обвинениях несправедливость. И вдруг неожиданно для самого себя заявил:

– А почему в нашей стране нет жвачки?

Мама ответила:

– В нашей стране много чего нет. Но это не значит, что нужно терять человеческое достоинство.

Я это запомнил.

Мама как директор была в школе представителем той тюремной системы, и ей приходилось трудно. Знаю, что она многих спасала, прикрывала. Старалась делать возможное: кесарю – кесарево, а детям – Пушкина. Пушкин на несколько поколений стал тайным кодом, ключом к сохранению человеческого в замордованной стране. Тогда уже многим казалось, что чем хуже, тем лучше, тем скорее все, наконец, развалится, но такие, как она, старались придать бесчеловечной жизни человечность. Самой ей спастись не удалось – получила свое по полной.

В мои семнадцать лет наши отношения дошли до того, что я перестал с ней разговаривать. Вообще. Жили в одной квартире, но я с ней даже не здоровался. Не мог простить ей, что она в партии, что в школе нам задавали писать сочинения по “Целине” и “Малой земле”. Мне казалось, что борьбу с ненавистной системой нужно вести бескомпромиссно и начинать с себя, с семьи, с самых близких. Мне хотелось жить не по лжи, но я не понимал тогда, что я не герой, а сопляк. Думаю, то мое молчание тоже сократило ей жизнь.

Вот написал, что перестал тогда с мамой разговаривать, и сразу почувствовал, что написал не всю правду, поэтому получилась ложь.

Действительно, я с ней даже не здоровался, но не только потому, что прочитал “Колымские рассказы” и “Архипелаг”, которые неисповедимыми путями попали тогда мне в руки и многое изменили в юношеской картине мира. Нет, конечно. Конфликт возник из-за моей первой любви. Маме не нравилась та девушка. Совсем не нравилась.

В школе она была всесильным директором, одним взглядом могла привести в оцепенение разбушевавшийся у неопытного учителя класс, но дома, в отношениях с собственным сыном оказалась совершенно беспомощной. Разумеется, мать хотела сыну добра. Но не умела. И разумеется, мама была по поводу той девушки совершенно права. Но это я понял позже.

Катастрофа у мамы в школе случилась, когда к власти пришел Андропов. Никто не знал, что он уже смертельно болен. Все снова испугались своего страха.

Старшеклассники хотели провести вечер памяти Высоцкого. Коллеги маму отговаривали, но она разрешила. Вечер состоялся. Ребята пели его песни, читали стихи, слушали записи. На директора написали донос.

Школе устроили показательную порку, чтобы другим было неповадно.

Я уже жил тогда отдельно. Помню, как приехал домой, и мама рассказывала, как ее вызывали, как по-хамски разговаривали, как орали на нее. Она пыталась защищаться, объяснить что-то. Никто не собирался ее слушать.

Она хотела прожить свою жизнь, не теряя человеческого достоинства. За это ее просто растоптали.

Мама расплакалась, кажется, впервые при мне. Я не знал, что сказать, сидел рядом и гладил ее по плечу.

Вдруг захотелось попросить у нее прощения, что я тогда с ней почти год не разговаривал, но так и не попросил.

Маму выгнали с работы. Перенести этот удар она так и не смогла. Школа была всей ее жизнью.

Она тяжело заболела. Сначала сердце. Потом у нее обнаружили рак. Начались больницы, операции.

Я уже сам к этому времени работал в школе, в 444-й на Первомайской, после уроков приезжал к ней, часами сидел в больничной палате, проверяя тетрадки и подавая маме то попить, то судно, читал ей из газет, стриг ногти, просто был рядом. Если говорили о чем-то, то о каких-то пустяках. Вернее, о том, что казалось тогда важным, а теперь, через столько лет, кажется неважным. Я все хотел попросить у нее прощения, но как-то не получалось.

Потом я описал это во “Взятии Измаила”: ее соседку в больнице, лысую от химиотерапии и не снимавшую беретку, отчего она была похожа на художника с карикатур; как разлетались по палате обрезки ее ногтей, отросшие на скрюченных пальцах ног, когда я неуклюже пытался их постричь; как я принес ей доски на кровать, потому что мама не могла заснуть на больничной продавленной сетке.

Роман, написанный через несколько лет после маминой смерти, начинался в русской литературе, в нем было много цитат, связей, переплетений, а к концу я просто описывал то, что было в моей жизни. От сложного к простому. От книжного, начитанного – к маминому лифчику, набитому поролоном, который она надевала после того, как ей отрезали грудь. От старославянских центонов – к ее тихой смерти, которую она так ждала, чтобы отпустили боли.

На ее похоронах было очень много людей, собрались учителя, с которыми она вместе работала, бывшие ученики. У нее за долгие годы набралось много учеников. По-настоящему чему-то главному научить можно только своей жизнью.

Меня поразило, что в гробу она лежала с православным

венчиком на лбу. Не знаю, откуда он взялся, мама была совсем не церковным человеком. В Бога мама не верила совершенно искренне. Она так выросла. И меня, когда родился, не хотела крестить. И не потому что боялась неприятностей – она была в начале 61-го, когда Сталина еще покоился в Мавзолее, школьным парторгом. Просто искренне не понимала – зачем? Бабушка тайком от нее крестила меня в церкви в Удельной, где мы летом жили на даче.

Да и мне в детстве было ясно, что в церковь ходят только необразованные бабушки, вроде моей, с тремя классами приходской школы.

А потом думал, будто старики ходят в церковь, потому что они больше, чем молодые, боятся смерти. И не знал тогда еще, что наоборот, молодые больше боятся смерти.

Только после того, как мамы не стало, я остро почувствовал, как необходимо, чтобы между близкими людьми состоялся один самый важный разговор. Обычно такой разговор откладывают, потому что не так просто за завтраком или где-нибудь в метро заговорить о самом главном. Всегда что-то мешает. Мне нужно было попросить у мамы прощения, а я так и за все эти годы и не успел. Когда начал “Взятие Измаила”, мне казалось, что это роман об истории, о стране, о судьбе, о слове, а оказалось, что это тот самый разговор.

При жизни такой разговор, наверно, и не может состояться. Важно, чтобы он произошел, а до или после – какая разница? Главное, что она услышала меня и простила.

Между операциями, когда проводила какое-то время не в больницах, а дома, мама разбирала накопившиеся за жизнь фотографии. Попросила купить альбомы и вклеивала в них карточки, каждую подписывала, кто на ней изображен, и иногда записывала на широких полях связанные с этими людьми истории. Получился семейный архив – для внуков.

После ее смерти я перевез альбомы к себе. А когда уезжал в Швейцарию, оставил все это у брата. Альбомы хранились у него в подмосковном доме.

Дом подожгли. Все наши фотографии сгорели.

У меня осталось только несколько детских карточек.

На одной из них я снят, наверно, отцом, еще на Пресне, но в тот же год мы переехали в Матвеевскую. Я в четвертом классе. На мне пальто с невидимым для объектива хлястиком. Очень хорошо помню то пальто, которое донашивал за братом. Мне все приходилось за ним донашивать. А пальто запомнилось вот почему. Мама часто рассказывала эту историю. Она очень короткая.

Из Матвеевской мы ездили в школу на 77-м автобусе до Дорогомиловской, а там пересаживались на троллейбус до Арбата, или можно было доехать на том же автобусе в другую сторону до железнодорожной станции и оттуда до Киевского вокзала. В то утро мы поехали на станцию. Ночью выпал первый снег. Тысячи ног утоптали платформу в ледяной каток. Когда подошла электричка, все ринулись к дверям. Вагоны, и так переполненные, нужно было штурмовать, втискиваться в битком набитые тамбуры. Между краем платформы и дверью была огромная щель, в которую я, поскользнувшись, и устремился. Мама, к счастью, удержала меня за хлястик.

Вот, собственно, и вся история, ничего особенного. Но для мамы этот случай был так важен, что она вспоминала его и незадолго перед смертью. Улыбалась и шептала чуть слышно – голос тогда она уже потеряла, могла только шептать:

– Тяну за хлястик и одна мысль в голове – вдруг сейчас оборвется?

И “Венерин волос”, написанный в Цюрихе и Риме, начинался на самом деле с мамы, вернее, с ее дневника, который она мне дала перед своей последней операцией. Толстая тетрадь в клеенчатом переплете. Пожелтевшие страницы, исписанные карандашом, причем не тем “медицинским” почерком, который я знал, а каким-то уютным, девичьим. Мама начала записи в выпускном классе школы и вела несколько лет, когда уже была студенткой. Конец 40-х – самое начало 50-х.

Помню, что она мне рассказывала про гонения на “космополитов” у них в институте, когда исчезали самые хорошие профессора. Но в той тетрадке ничего этого нет. Самый обыкновенный дневник девушки: хочется кого-то любить, тревожные прислушивания к своему сердцу, пришло ли уже то самое чувство, настоящее ли? И очень много счастья. От прочитанных книг, от подруг, от солнца за окном, от дождя. Страницы, из которых перехлестывает бездумная юная уверенность в том, что жизнь даст больше, чем просишь.

Никаких следов страха, сковавшего страну. Будто не было никаких доносов, лагерей, арестов, очередей, нищеты.

Читал тогда и поражался наивности той слепой, не видевшей, куда она попала, девочки.

Эта девочка родилась в стране-тюрьме, во мраке, а все равно воспринимала свою жизнь как дар, как возможность осуществиться в любви, дать любовь, поделиться с миром своим счастьем.

Когда я узнал, что в подмосковном пожаре погиб и мамин дневник, почувствовал, что он меня не отпускает. И в какой-то

момент пришло понимание: нет, это была не наивность и глупость юной дурочки, не осознававшей, что творится вокруг, это была мудрость того, кто посылал, посылает и будет всегда посылать девочек в этот мир, в какой бы ад мы его ни превратили.

Мир кругом холоден и темен, но в него послана девочка, чтобы своей потребностью в любви освещать, как свеча, окружающую человечью тьму.

Мама очень любила петь, но знала, что голоса у нее нет, и стеснялась. Пела, когда оставалась одна. Пела чаще всего то, что слушала в детстве. Одна из ее любимых певиц была Изабелла Юрьева. У отца были старые пластинки с ее романсами, и он часто заводил их, когда мы еще жили вместе в подвале на Староконюшенном и на Пресне.

Я тогда был уверен, что все эти голоса со старых пластинок – давно умерших людей. Для меня тогда был что Сталин, что Иван Грозный – далекое прошлое. Потом вдруг выяснилось, что Изабелла Юрьева жива, снова стали выпускать пластинки, показывать ее по телевизору. При желании можно было даже попасть на встречу с ней в Доме Актера. Я так никогда с ней живой и не встретился.

Когда певица умерла, поразило, что она прожила 100 лет, родилась в 1899-м и умерла в 2000-м – весь чудовищный проклятый русский двадцатый век.

Я хотел написать книгу о том, что почувствовал и понял, благодаря маминому дневнику. Я стал писать о Белле. Получился роман “Венерин волос”.

От жизни певицы мало что осталось – ни дневников, ни мемуаров, известна только общая жизненная канва. В те годы люди боялись своего прошлого – неизвестно было, что из прожитого может оказаться в будущем смертельно опасным. Опасным могло оказаться все: прошедшие встречи, слова, письма. Прошлое уничтожали, старались избавиться от него.

Мне хотелось вернуть ей уничтоженную жизнь. Я стал писать ее воспоминания и дневники.

Мне важно было, по возможности, ничего не выдумывать. Например, взять из мемуаров людей, живших в том дореволюционном Ростове, непридуманное и вернуть моей Белле ее реальных учителей в гимназии Билинской на Таганрогском проспекте в доме Хахладжева, приказчика в писчебумажном магазине Иосифа Покорного на Садовой, где она покупала тетрадки и перья, того гимназического швейцара, который, прочитав “Холстомера”, завещал свой скелет в анатомический кабинет.

Я по деталям возвращал ей прожитое, исчезнувшее.

Она ничего никогда не делала, кроме того, что пела – как та стрекоза из басни. Только в реальной жизни для муравьев, строивших вавилонскую кучу до небес и превращавшихся в лагерную пыль, ее пение было не менее важным для выживания, чем запасы на зиму. Она была той самой свечкой, что хоть немного освещала их мрак. Она пела рабам о любви. Она помогала им сохранять человеческое достоинство.

Мне очень хотелось вернуть ей жизнь, хотя бы в книге – а другого способа и не существует.

Многое в жизни Изабеллы Юрьевой было, конечно, не так, как у моей Беллы.

Но знаю, когда мы с ней, наконец, встретимся, Изабелла Даниловна простит меня и скажет:

– Не переживай! Все хорошо. Спасибо тебе!

И вот теперь я возвращаюсь в дом отдыха на Волге, где в лесу полно земляники и все еще живы.

Вижу те картинки:

Кирпичная дорожка в столовую, выложенная елочкой.

Загаженный ближний лес, везде бумажки, бутылки, промасленные газеты.

Волга под ливнем, белая от пузырчатой пены, будто стирка.

Мы собирали грибы в дальнем лесу и возвращаемся проселком, а глаза все не могут остановиться – рыщут по обочине.

А вот мы с мамой ходили с утра на Волгу купаться, возвращаемся к нашему домику. Идем босиком по мокрому мху, и между пальцами проступает роса. Поднимаемся на ступеньки крыльца, уже нагревшиеся на солнце, и мама обращает мое внимание на наши быстро исчезающие следы:

– Видишь, у меня плоскостопие!

Наша комната в жаркий день: грибная сырость, шторы заколоты булавкой, обои заворачиваются, вспучиваются, мама закрывает скрипучую дверцу шкафчика, сунув в щель кусочек картона, чтобы не раскрывалась.

А теперь вижу пивную в ближайшем городке, в которую дядя Витя заскочил на минутку, и вот мы с мамой стоим на жаре уже полчаса, а он все не выходит.

Я все ждал, когда дядя Витя спросит меня о папе, но он до самого последнего дня так и не спросил.

В последнюю ночь перед отъездом я проснулся от мысли, что мама когда-нибудь умрет. Лежал в темноте, слушал, как она сопит во сне и, всхрапнув, просыпается, потом долго ворочается и снова принимается сопеть. Помню это острое чувство жалости,

которое не давало мне уснуть. Получалось как-то странно – она лежала на соседней кровати совершенно живая и в то же время она уже будто умерла. Еще очень хотелось в уборную. Туалетов в домиках не было. Днем приходилось бегать в малоприятное заведение, смердящее хлоркой, но ночью я просто устраивался где-нибудь недалеко от крыльца.

Я тихо встал и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Сырость, туман, ночной холод. Вот-вот будет светать.

Я остановился у ближайшего куста. От струи шел пар.

И вдруг со мной что-то произошло. Будто я попал из ненастоящего в настоящее. Будто все чувства, как объектив, навели на резкость. Будто у всего мира кругом оказалась моя кожа, продрогшая от августовского утренника.

Оглядывался и не понимал, что происходит, ведь проходил здесь столько раз – и не замечал, а теперь увидел, будто впервые, и этот куст жимолости, и рябину, и полотенце, забытое на протянутой веревке.

Из тумана в тишине доносились звуки: далекий гул моторки с реки, лай собак из деревни на том берегу, тревожный крик ночной птицы, гудок поезда со станции, от шоссейки долетал чей-то хриплый мат и девичий пьяный хохот.

Еще я услышал свое дыхание, как мои легкие захватывали жизнь.

Вдруг ощутил себя не у куста посреди тумана, а посреди мироздания. Да я и был мирозданием. В первый раз я тогда испытал это удивительное чувство. И это было не только предвосхищение всей будущей жизни. Тогда впервые все замкнулось, стало единым целым. Дымок от невидимого костра и мокрое шуршание в траве у меня под ногами. Неумерший папа и ничего не спросивший дядя Витя. Что было и что будет.

Все еще неназвано, внесловесно, потому что таких слов не бывает.

И Волга где-то тут, в тумане течет, плещется, но ни в какое Каспийское море не впадает.

И мама умерла и живет одновременно. Лежит в гробу с православным бумажным венчиком на лбу и сопит во сне в том доме отдыха.

И все сливается в единое целое: и пальто с хлястиком, и беззубая улыбка Бобби Кларка, и сугроб Роберта Вальзера, и тот раздолбанный 77-й, который когда-то не дотянул до Дорогомиловской, и пришлось топать по лужам. И я, печатающий сейчас на моем ноутбуке эти слова. И тот или та я, кто читает сейчас эту строчку.

И единственная возможность умереть – это задохнуться от

счастья.

Наши авторы

Диана Арбенина – певица, поэт, лидер группы “Ночные снайперы”. Автор поэтического сборника “Аутодафе”. Живет в Москве. Рассказ “Конец прекрасной эпохи, или Как закалялась сталь” был впервые напечатан в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

Ричард Бартон *(Richard Burton)* – британский актер, сделавший блистательную карьеру в Голливуде. Несмотря на свои пять браков, в общественном сознании его до сих пор связывают с его второй женой, американской кинозвездой Элизабет Тейлор. Фрагменты из его дневников были впервые напечатаны на русском языке в переводе Веры Пророковой в журнале “Сноб” (февраль 2013).

Мария Голованивская – писатель, ученый, переводчик, доктор филологических наук. Автор сборников рассказов “Знакомство. Частная коллекция”, “Состояние. Московский роман”, “Числа одиннадцатого месяца. Разговор”, романов “Двадцать писем Господу Богу”, “Нора Баржес”, “Пангея”. Живет в Москве. Рассказ “Укус Софы” был впервые напечатан в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

Данил Гурьянов – писатель, драматург. Автор повести “Глупая улитка”, а также сборника “Запах лёгкого загара”. Живет в Москве. Рассказ “Диктатор и сумасшедшая” был впервые напечатан в журнале “Сноб” (сентябрь 2015).

Алла Демидова – народная артистка РФ, литератор, исследователь творчества А.Ахматовой. Автор книг “Вторая реальность”, “А скажите, Иннокентий Михайлович…”, “Владимир Высоцкий”, “Тени зазеркалья”, “Бегущая строка памяти”, “Письма к Тому”, “Ахматовские зеркала” и другие. Живет в Москве. Эссе “Таинственный и новый” было впервые напечатано в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

Александр Кабаков – прозаик, драматург, журналист. Автор романов “Невозвращенец”, “Все поправимо”, “Беглец, “Старик и ангел”, книги рассказов «Московские сказки» и «Камера хранения» и др. Живет в Москве. Рассказ “Маленькая слабость Л” был впервые напечатан в журнале “Сноб” (октябрь 2015).

Рената Литвинова – киносценарист, актриса, режиссер. Автор

сценариев к фильмам “Нелюбовь”, “Трактористы 2”, “Увлеченья”, “Принципиальный и жалостливый взгляд ”, “Страна глухих”, “Небо. Самолет. Девушка”, “Богиня: как я полюбила”, “Два в одном”, “Жестокость”, “Последняя сказка Риты”. Многие из этих сценариев вошли в книгу “Обладать и принадлежать” (Амфора, Сеанс, 2007). Живет в Москве и в Париже. Рассказ “Все о Венере” был впервые напечатан в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

Андрей Макаревич – музыкант, певец, поэт, композитор, лидер рок-группы “Машина времени”. Автор книг “Занимательная наркология”, “Сам овца”, “Мужская кулинария”, “Живые истории” и других. Живет в Москве. Рассказ “О балерине” был написан специально для этого сборника.

Сергей Николаевич – журналист, литератор, театральный критик, главный редактор журнала “Сноб”. Автор идеи и составитель сборников “Все о моем отце”, “Все о Еве”, “Красная стрела”, “Сноб: герои”, “Все о моем доме”, “Лондон: время московское”, “Стоп-кадр. Ностальгия”. Живет в Москве. Эссе “Майя навсегда” было впервые опубликовано в журнале “Сноб” (октябрь, 2015).

Игорь Оболенский – журналист, литератор, исследователь биографий Анны Павловой, Татьяны Окуневской, Любови Орловой. Автор книг “Мемуары матери Сталина”, “Истории грузинских жен”. “Портреты Старого Тифлиса: грузинские красавицы”, “Святейший. Диалоги” и других. Живет в Тбилиси и Москве. Очерк “Тимоша”, посвященный Надежде Пешковой (глава из новой книги), написан на основе бесед с ее дочерью Марфой Максимовной Пешковой. Впервые опубликован в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

Людмила Петрушевская – писатель, драматург, исполнительница песен собственного сочинения. Автор романов “Время ночь”, “Номер Один, или в Садах других возможностей”, пьес “Московский хор”, “Три девушки в голубом”, “Уроки музыки” и многих других. Живет в Москве. Рассказ “Санаториум” был впервые напечатан в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

Симона Синьоре *(Simone Signoret)* – французская актриса кино и театра. Автор воспоминаний “Ностальгия уже не та”, “Будет ли завтра радостным” и романа “Прощай, Володя!”. Фрагмент из книги “Ностальгия уже не та” в переводе Маши Зониной был впервые напечатан в журнале “Сноб” (октябрь 2015).

Маша Слоним – российская и британская журналистка, работала корреспондентом *BBC* в Москве. Живет в Дэвон (Великобритания). Очерк “Гамак жизни”, посвященный матери, художнице и известной правозащитнице Татьяне Литвиновой, был написан специально для этого сборника.

Марина Степнова – писатель. Автор романов “Хирург”, “Женщины Лазаря”, “Безбожный переулок” и рассказов, многие из которых впервые увидели свет в журнале “Сноб”. Рассказ “Покорми, пожалуйста, Гитлера” был впервые напечатан в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

Виктория Токарева – прозаик, киносценарист. Автор множества книг рассказов, среди которых “Я есть, ты есть”, “Так плохо, как сегодня”, “Муля, кого ты привез”, “Мои мужчины”. Рассказ “Я надеюсь…” впервые был напечатан в журнале “Сноб” (октябрь 2010).

Татьяна Толстая – прозаик, публицист, телеведущая. Автор романа “Кысь”, сборников рассказов “Невидимая дева», “Легкие миры”, “Девушка в цвету”. Одноименный рассказ был впервые напечатан в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

Майя Туровская – театровед, культуролог, писатель, кинокритик. Автор книг “Герои безгеройного времени”, “Бабанова: легенда и биография”, “На границе искусств: Брехт и кино”, “Памяти текущего момента”, “Зубы дракона” и других. Очерк “Казус Ольги Чеховой” был впервые напечатан в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

Эрик Ханут *(Eryk Hanut)* – французский писатель, фотограф, театральный художник. Автор книг “Руми”, “Дорога на Гвадалупу”, “Анархист от Бога”. Живет в Сан Франциско. Фрагменты из его книги “I wish you love. Разговоры с Марлен Дитрих” были впервые напечатаны в переводе Андрея Куприна в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

Михаил Шишкин – прозаик, эссеист. Автор романов “Взятие Измаила”, “Записки Ларионова”, “Венерин волос”, “Письмовник”, “Русская Швейцария”. Рассказ «Пальто с хлястиком был впервые напечатан в журнале «Сноб» (июль-август 2010)

Юта Якоби *(Jutta Jacobi)* – немецкий историк, журналист,

литератор. Живет в Гамбурге и Стокгольме. Глава из ее первой книги “Цара Леандер. Жизнь дивы” в переводе Ольги фон Лорингховен была опубликована в журнале “Сноб” (декабрь 2014).

notes

Примечания

1

The Richard Burton Diaries, edited by Chris Williams. Yale University Press, 2012.

2

Витторио Де Сика (1901–1974) – актер, режиссер, один из основоположников итальянского неореализма. В его последнем фильме “Поездка” (1974) главную роль сыграл Ричард Бартон. *Здесь и далее примеч. переводчика.*

3

“Укрощение строптивой” (1967) – один из самых известных фильмов по пьесе У. Шекспира, гда Бартон и Тейлор продемонстрировали замечательный комедийный дуэт.

4

“Убийство Троцкого” (1972) – фильм Джозефа Лоузи, где главную роль исполнил Ричард Бартон. Его партнерами стали Ален Делон, сыгравший убийцу Троцкого Рамона Меркадера, и Роми Шнайдер в роли Гиты Сэмюэльс.

5

Речь о фильме “Блумфилд” (1971) – режиссеры Ричард Харрис и Ури Зохар.

6

Ричард Харрис (1930–2002) – выдающийся английский актер. Всемирную известность ему принес фильм “Такова спортивная жизнь” (1963). Один из главных соперников Ричарда Бартона в кино шестидесятых-семидесятых годов.

7

Джордж Рафт (1901–1980) – актер Голливуда. Его самый известный фильм – “В джазе только девушки” (1959).

8

Стэнли Бейкер (1928–1976) – популярный актер шестидесятых-семидесятых годов, родом из Уэльса, земляк Ричарда Бартона.

9

Рок Хадсон (1925–1985) – голливудский актер, друг и партнер Элизабет Тейлор по фильму “Гигант” (1956).

10

“Я хочу, чтобы ты любил”, – название песни Шарля Трене, входившей в репертуар Марлен Дитрих; *Eryk Hanut. I Wish You Love: Conversations With Marlene Dietrich. Berkeley, California: Frog Ltd.* 1996.

11

“Ад”, V, 121–123. Перевод Михаила Лозинского.

12

Рильке, “Дуинские элегии”, № 1, перевод Владимира Микушевича.

13

Jutta Jacobi. Zarah Leander. Das Leben einer Diva. Taschenbuch, 2014.

14

Слова песни Цары Леандер “*Yes, Sir*” из фильма “К новым берегам” (1937).

15

Simone Signoret. La nostalgie n'est plus ce qu'elle ŭtait. Editions du Seuil, 1978.

16

Мистер Миллер из Дублина (*англ.*).

17

Я плохая, я плохая, я плохая, я больше так не буду, обещаю (*англ.*).

18

Удачи! Я знаю! Я знаю! Ты его получишь! (*англ.*)

19

“Манифест 121-го” – декларация, подписанная французскими интеллектуалами (всего 121 подпись) и опубликованная в журнале “Верите-Либерте” 6 сентября 1960 г. Была направлена против войны в Алжире и отстаивала право алжирцев на освободительное движение.

Pavel and Anatoli Sudoplatov with Jerrold L. and Leona P. Schecter. Special Tasks. Boston, New-York, Toronto, London: Little, Brown and Company, 1994.

21

Берия С. Л. Мой отец – Лаврентий Берия. М.: Современник, 1994..

Antony Beevor. The Mystery of Olga Chekhova. London: Penguin Books, 2004.

23

Соратник Сталина, до 1958 года член Политбюро и председатель Совета министров СССР.

24

Из передачи “Поверх барьеров” на “Радио Свобода”.

25

Чуковский К. И. Дневник 1936–1969 гг. Москва, ПРОЗАиК. 2011. С. 143–144.

26

Ша2хтинское дело – дело 1928 года в Шахтинском районе Донбасса по обвинению большой группы руководителей и специалистов угольной промышленности из ВСНХ, треста “Донуголь” и шахт во вредительстве и саботаже. Официально называлось “Дело об экономической контрреволюции в Донбассе”. Слушания проводились в Москве в Доме Союзов с 18 мая по 6 июля. Обвиняемым вменялась в вину не только вредительская деятельность, но и создание подпольной организации, установление конспиративной связи с московскими вредителями и с зарубежными антисоветскими центрами.

27

Из интервью Ярославу Могутину, журнал “Собеседник”. 1993 год.

28

Из передачи “Поверх барьеров”.

29

История самой прекрасной проблемной женщины во вселенной (*англ.*).